



Н. НАУМОВ

БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...





**ВОЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
СССР**





 ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. НАУМОВ

Бои продолжаются...

Р О М А Н

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР · МОСКВА

1 9 6 4

Николай Федорович Наумов родился в 1921 году в Сибири. В 1939 году закончил десятилетку и был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны воевал на Орловщине, в Брянских лесах, с боями прошел Белоруссию, Литву, Латвию.

В 1950 году Н. Ф. Наумов закончил Военную академию. Три года спустя защитил кандидатскую диссертацию.

В 1958 году Военное издательство выпустило первое художественное произведение полковника Н. Ф. Наумова — повесть «В строю». Повесть была посвящена послевоенной жизни советских воинов. В ней рассказывалось о делах и людях стрелкового полка, находящегося далеко в Сибири.

Действие нового произведения Н. Ф. Наумова — романа «Бои продолжаются...» — разворачивается в одной из наших военных академий.

Основу произведения составляет борьба за новое в развитии советской военной науки. На столкновении характеров в ходе этой борьбы построен сюжет романа. Большое достоинство книги состоит в том, что автор не пытается изобразить какие-то особые обстоятельства, а берет будничную жизнь высшего военного учебного заведения и раскрывает всю ее сложность, динамичность, насыщенность.

Наряду с проблемами военной теории в книге ставятся острые вопросы этики и семейного быта. Роман с интересом будет прочитан широкими кругами читателей.



1

По центральной лестнице дежурный по академии поднялся на шестой этаж. Стометровый коридор, освещенный тремя сферическими светильниками, был погружен в мягкий полумрак. Лишь в самом дальнем конце его на пол падала широкая полоса света. Офицер подошел к полуоткрытой двери.

За столом, обхватив широкими ладонями крупную голову, в глубокой задумчивости сидел тактический руководитель группы подполковник Кучар.

Дежурный хотел было уже произнести: «Разрешите», но, подумав, молча отступил в полумрак коридора. Вопрос, с которым он пришел, мог прервать раздумье преподавателя. Пока они будут говорить, нужная мысль, может быть, итог решения какой-то проблемы, ускользнет из памяти подполковника.

Чтобы оградить руководителя группы от любопытных взглядов, дежурный попробовал прикрыть дверь. Та вдруг визгливо скрипнула. Капитан замер, но преподаватель даже не пошевелился. Только пальцы, смяв слегка вьющиеся мягкие волосы, впились в череп, а

вся его массивная, как у борца-тяжеловеса, фигура еще плотнее припала к маленькому, почти детскому по сравнению с ним столу.

Капитан, ступая на цыпочках, удалился.

Через некоторое время подполковник встал, скомкал исписанный лист бумаги и подошел к открытому окну.

Там, усыпанная огнями, сверкала ночная Москва. Света было так много, что он выплеснулся через края улиц, забрызгал все небо, отчего звезды поблекли, едва угадывались.

Прохладный воздух немного освежил подполковника.

Картины прошлых сражений, которые, казалось, навечно оставила в памяти давно минувшая война, стали стусевываться. И когда они совсем померкли, перед мысленным взором Кучара возникло другое: клубящиеся, с черным подпалом, огненные шары; натуженно дыбящиеся к небу конусообразные горы пыли; мечущиеся низко над землей кольца смерчей, которые, расширяясь, рушили на своем пути все — города, селения...

Но вот в небе все как будто остановилось, не в силах больше ничего ни разрушить, ни уничтожить. Шары сплюснулись, раскосматились; горы пыли, частью осев на почву, а частью оторвавшись от земли, превратились в черные тучи и потянулись куда-то в даль, высевая по пути смертоносные осадки, несущие уничтожение всему живому.

Своим воображением подполковник попытался еще раз охватить опустошения, которые могут причинить сотни ядерных зарядов целому театру войны и его ближней границе, где возможно первое столкновение наземных войск. Ему нужно было окончательно определить новую связь и взаимозависимость между боем и операцией и их реальные возможности. И в тот момент, когда он, казалось, нашел их, все опять сменилось: перед его глазами вдруг появились охваченные страхом женщины и дети, на которых рушилась высокая стена каменного дома...

Кучар отшатнулся от окна и круто повернулся к свету. Прошло немало минут, пока он собрался с силами и снова подошел к окну.

С бульвара тянуло прохладой, пряным запахом тополей. Где-то, укрытые деревьями и тьмою, смеялись девушки.

Прогрохотал трамвай, донесся еле слышный гудок электрички, и опять — мирная тишина, нарушаемая лишь шуршанием автомобильных шин по асфальту. Не верилось, что год назад у Суэцкого канала шли настоящие бои и до большой войны было ближе, чем до этого, дремлющего напротив, бульвара.

Подполковник снова мысленно вернулся к самому истоку своих исследований — к тысяча девятьсот сорок первому году, к последней мирной субботе и взорванному бомбами воскресному утру, когда он с товарищами возвращался с университетского вечера.

Спустя три дня он уже шагал по дорогам Белоруссии: сначала несколько десятков километров на запад — впереди взвода, а затем сотни километров на восток — обычно позади тех людей, которые составляли взвод, роту и даже батальон, хотя численность их почти никогда не превышала численности того взвода, в составе которого он начал войну.

Всякий раз, когда подполковник вспоминал о минувшей войне, тысячи павших, искалеченных и обездоленных вставали перед ним. Они не упрекали, не требовали, только в глубине их озабоченных глаз можно было прочесть вопрос: «Сорок первый — не повторится?» Немой, короткий, он много лет уже не давал покоя Кучару, заставлял искать причины прошлых неудач, а еще больше добиваться решения задачи, как избежать огромных утрат, которые возможны в ядерной войне, уже не раз приходившей на порог человеческого жилья.

Зазвонил телефон.

Кучар подошел к столу, поднял трубку.

Звонила жена.

— Игнат, ты скоро придешь?

— К одиннадцати.

— Дочь скоро забудет, что у нее есть отец...

Жена еще что-то говорила, но он уже не слышал... В его уставшей голове снова всплыло то, что он так мучительно искал. Кучар отвел от уха трубку, стараясь не спугнуть нужную ему мысль. Рука с растопыренными пальцами медленно поднялась к виску. Когда мысль

окончательно прояснилась, подполковник, туго сжав пальцы в кулак, будто боясь выпустить ее, шагнул к рабочей тетради.

Через несколько минут Кучар вернулся к телефону, взял трубку — в ней монотонно повторялись гудки. Игнат вспомнил лицо, с каким жена провожала его на работу, и понял, как надоело ей одиночество, виной которому была его поздняя работа и постоянные раздумья о том, что было так мало понятно ей. Сложив книги и тетради в сейф, он направился домой.

К остановке шел медленно. Найденная мысль радовала, обещала новые, интересные решения. Хотелось остановиться, чтобы они без помех сложились в сознании в точные, четкие положения. Но дома ждут...

Игнат снова подумал о жене, о ее возможном упреке, и радость померкла, ему стало немного досадно. Прошло десять лет, как он, приехав в родную деревню на каникулы, нечаянно воспользовался доверчивостью Лизы и... не смог уехать без нее в Москву. А в душе была другая. Годы затянули рану, но она давала о себе знать всегда, когда жена поступала опрометчиво.

Вот и сейчас вспомнилась та, которая не согласилась стать его женой. Захотелось узнать, как сложилась ее жизнь. Лучше или хуже, чем у него? Наверное, лучше — она же вышла замуж по любви.

Диктор уже говорил о погоде, когда Кучар вернулся домой.

В прихожую вышел сосед. Одет он был легко: в ярко-красную клетчатую рубашу и узкие цвета морской волны брюки. Его можно было бы принять за юношу, хилого и тихого, если бы не порозовевшая от загара лысина, уже перевалившая за макушку. Он взглянул на Кучара сквозь очки в тонкой стальной оправе и скупой улыбнулся.

— Жду тебя, Игнат Петрович. Кажется, нашел решение той задачи, о которой мы говорили.

В это время отворилась дверь, ведущая в комнату Кучара, и на пороге в выжидательной позе остановилась миниатюрная молодая женщина. Сосед умолк и с укором посмотрел на нее. Она махнула рукой, как бы отгоняя его недовольство, и весело заговорила:

— Ладно, ладно, наговоритесь еще. Пусть Игнат сначала поужинает. А лучше всего — пойдите после ужина да погуляйте. Оба желтые, смотреть тошно.

Возвращаясь домой, Кучар ждал совсем другой встречи. Но Лиза была приветлива и будто вовсе не помнила так неожиданно прерванного им телефонного разговора.

Подобревшими глазами Игнат взглянул на соседа.

— Давай-ка так и сделаем, — проговорил он, уходя в комнату.

Игнат осторожно подошел к кроватке дочери, поправил сбившееся одеяло. Минуту постоял, дивясь, как сон чудесно преобразил лицо девочки, укротив ее своенравный характер.

— Садись ешь, — пригласила Лиза.

Игнат уже выпил кефир и пододвинул к себе тарелку с тушеной капустой и сосисками, когда Лиза спросила:

— Говорят, академия получила пятнадцать квартир?

— Говорят...

— Может, ты похлопочешь? Ведь ты же кандидат наук...

— Не я один.

— Не будешь беспокоиться — не дадут.

— Придет время — дадут.

— Стыдишься? Тогда я сама найду способ, как получить квартиру.

— Не понимаю, как это тебе удастся?

— Отгадай...

— Не мастер.

— Гулять-то ты не раздумал? — круто переменяла тему разговора жена. — Может, парочки влюбленных надумают тебя.

После ужина Игнат и Евгений вышли на уже опустевшую улицу. Лишь снизу, от Ленинского проспекта, налегке мчался автобус, да такси, высадив пассажиров, подкатило к своим зеленоглазым близнецам, сонно стоявшим у тротуара.

— Ну, что у тебя? — спросил Игнат, проводив глазами почти пустой автобус.

— Машину, которая бы собирала самые различные данные обстановки, мы имеем. В несложных условиях, когда информация достоверная, она дает удовлетворительный результат. Но на войне, как и на охоте, говорят, много врут.

— Врут, когда рассказывают, а не тогда, когда охотятся, а тем более воюют.

— Но все же точность данных относительная.

— Да.

— Насколько?

— Слишком много слагаемых, чтобы дать тебе более или менее точный ответ. Человек допускает ошибки по разным причинам: неверно сориентировался, неточно определил силы противника... К тому же человек — существо живое: опасность понуждает преувеличивать силы противника, легко одержанная победа — преуменьшать их.

— Как же вы, тактики, приходите к истине?

— Анализ, сопоставление, восполнение пробелов более или менее достоверным предположением...

— Это благозвучные слова. Ты мне раскрой схему мышления командира.

— Думаю, мои беглые пояснения мало что тебе сейчас дадут. Зайди как-нибудь в академию, на одной из задач мы тебе ее продемонстрируем.

— Хорошо. Завтра-послезавтра я закончу разработку, на мой взгляд, интересного алгоритма. Надеюсь, он поможет из огромного потока информации исключать все лишнее, несущественное и даже ложное. Кроме прямой функции он выполнит побочную — поможет некоторым отрешиться от их охотничьих привычек.

— Если счетно-аналитическая машина станет такой, штабники объявят тебя своим апостолом.

2

Начальник кафедры общей тактики и оперативного искусства генерал Дубков прилег после обеда в своем кабинете и неожиданно для себя крепко уснул. Его разбудил осторожный стук в дверь. Генерал поднялся, накинул китель, сел за стол и только тогда произнес густым басом:

— Да.

Широко распахнулась дверь. Держась за её ручку, в проходе стоял, слегка согнувшись, полковник Монаков.

— Разрешите?

— Да, да, — несколько смущенно проговорил генерал, потирая ладонью левой руки исчерченный морщинами высокий лоб.

Полковник выпрямился и, поблескивая лысиной, солидно прошел к столу.

— С задачей?

— Так точно, Кирилл Платонович, — ответил Монаков, сохраняя спокойную серьезность на своем полном, холеном лице.

— Присаживайтесь, — кивнул генерал.

Монаков открыл папку и, вытащив бумаги, подал их генералу. Как только начальник кафедры углубился в чтение будущей тактической задачи, полковник, бесшумно развернув на столе карту, сел, сложил на выпуклом животе руки и скосил глаза на генерала.

Худощавое лицо Дубкова с крупными складками кожи, свободно свисающими по краям нижней челюсти, было сосредоточенно и оттого казалось суровым. Монаков осторожно приподнял голову и заглянул в текст: генерал читал восьмую страницу.

— Дальше, Кирилл Платонович, детали. Разрешите доложить по карте? — приподнявшись, нарушил полковник молчание.

— Для слушателя детали важнее, чем мировые масштабы. По ним он учится организовывать и вести бой, — сухо вато возразил генерал, собрав на лбу крупные морщины. — Садитесь. Я дочитаю до конца.

По-армейски прямое возражение, особенно слово «садитесь», обидело Монакова. Потупя голову, он опустился на стул. Потом исподлобья кинул на генерала снисходительный взгляд.

Когда генерал прочитал последнюю страницу, Монаков снова встал, медленно, неохотно. Поднялся и Дубков. Закурив, не спеша подошел к карте, всмотрелся в нее. Она была рассечена синими, эффектно изогнутыми стрелами, указывавшими направления ударов противника. Кривые красные линии пересекали их на нескольких рубежах, обозначая возможные положения наших войск.

Генерал прикинул расстояние от первого красного рубежа до последнего. Порядочно, несколько десятков километров. Значит, задача предусматривает возможность отхода на такое расстояние. На карте — это всего два метра, а каких жертв они, эти два метра, потребуют в настоящем сражении! И хотя мощная красная рассекающая стрела показывала победоносное завершение всей оборонительной операции, генерал усомнился в успехе этого сокрушительного удара: ох как тяжело наносить обозначенные такими изящными стрелами удары непосредственно в бою, на местности, забитой войсками.

— Так, слушаю вас, — произнес Дубков, медленно выпуская дым из рта.

Монаков кашлянул и, стараясь говорить как можно убедительнее, начал свой доклад:

— Для наиболее четкой отработки темы мною создана, товарищ генерал, обстановка, на мой взгляд, характерная для начального периода будущей войны. Поэтому, несколько отойдя от прежних задач, я позволил противнику вклиниться на столь значительное расстояние.

Монаков сделал паузу, но, не услышав возражения генерала, продолжал свой доклад с еще большей убежденностью:

— Мощная группировка противника, сосредоточившись под видом маневров вот в этих районах, — полковник карандашом обвел на карте синие круги, — наносит удар сразу в трех направлениях, одно из которых проходит через полосу нашей армии...

— Все это хорошо, — раздумчиво произнес Дубков, когда Монаков закончил свои объяснения. — Но!.. Следует учесть и некоторые «но». Согласен, мы учим слушателя организовывать и осуществлять армейскую оборонительную операцию. Попутно знакомим с фронтовой. Но не надо забывать, кого мы готовим. А готовим мы в основном небольших начальников.

— Наши офицеры работают во всех инстанциях — от дивизии до генерального штаба, — возразил Монаков.

— Работают те, которые закончили академию лет десять назад. А теперешний слушатель пойдет в основном в гости, а то и в соединения. Вы же были на войне, знаете: искусство маленьких начальников — в умении

стоять насмерть, держать позиции. Этому их и надо учить в первую очередь.

— Я это имею в виду, товарищ генерал...

— Вижу. Но общий оперативный фон таков, что он невольно наводит слушателя на мысль: отступить можно, оставлять позиции можно, все можно... А от этого один шаг до бегства. Мало в вашей задаче упорства.

Монаков молчал. Он считал, что задачу разработал правильно. Столько времени потратил на изучение появившихся в печати новых теоретических выкладок, и вдруг такой отзыв! Он обиженно поджал губы.

— Учебные вопросы программы, товарищ генерал, требуют отработки и отхода и даже возможного отступления.

— Да, но армия обязана выполнить свою задачу, удержать назначенную ей полосу. А вы вон куда ее отбросили. Поправьте. — И, смягчив тон, одобрительно заключил: — А так, задача интересная. Думаю, начальник академии одобрит ее. Или не согласны с моим замечанием?

— В основу замысла, товарищ генерал, — уклонился от прямого ответа Монаков, — я положил известное мне сражение сорок первого года. Если бы не предательство, имевшее место в те дни, наша армия наверняка выполнила бы свою задачу. В пределах, конечно, той стратегической и оперативной обстановки, в которой ей пришлось действовать. Мне казалось, что именно опыт сорок первого года, то есть начального периода войны, нам нужно наиболее полно использовать для обучения слушателей.

— Сорок первый... — с горечью в голосе тихо произнес Дубков и задумался.

Всегда, когда генерал вспоминал об этом тяжелом годе, перед ним вставали картины отступления к Киеву, к Днепру. Сколько надежд возлагалось тогда на этот оборонительный рубеж! Шли к нему с верой, что там враг будет остановлен, а затем и выброшен с родной земли. И... все рухнуло. Киев и Днепр были отданы, тысячи наших солдат оказались в плену. «Почему?» — задал он сейчас себе этот вопрос, как задавал его и тогда, когда был еще командиром полка. Причин было много. В прошлом году одну из них вскрыли — просчеты Сталина в начале войны. А сколько других?

— Сорок первый, — повторил он медленно и так глубоко втянул в себя дым папиросы, что на впалых щеках образовались воронки. В сердце болью отозвалась гибель старшего сына, ушедшего на фронт с первого курса военного училища.

— Надо, чтоб такого года больше не было в войне, если нам попытаются ее навязать, — сказал он вслух. — Неудачи в начале войны... ох как дорого они обходятся. А немного написано о начальном периоде.

— Да, товарищ генерал. Разрабатывая задачу, я собрал всю научную литературу о нем. В основном тощие книжечки и статейки, а фундаментального — ничего.

— Знаю, слежу. Как вы думаете, не взяться ли кафедрой за такой труд? А?

— Мысль прекрасная, Кирилл Платонович. Но время... Лекции, задачи — засасывают, не дают дышать.

— Время можно найти. Справимся ли? Плановые работы ведь с кафедры не снимут.

— Если подобрать небольшой, но работоспособный коллектив, солидный и по объему и по содержанию труд можно написать довольно быстро, — ободренный доверительным тоном генерала, заговорил Монаков с преувеличенной солидностью. — Быстро потому, что у каждого из нас сорок первый что-то отнял, чем-то больно обидел... Злые мы на него.

— Да. Под Киевом остался мой старший сын. Не знаю, где могила.

— И потом, Кирилл Платонович... времена становятся все беспокойнее. В пятьдесят пятом чуть не началась война из-за Вьетнама, в прошлом — из-за Суэца, сейчас одна иностранная держава подталкивает другую на Сирию.

— Надо писать. И как можно быстрее. Кладите первый кирпич вы — набросайте структуру монографии. Взгляните на мои записки, может, пригодятся. — Дубков достал из сейфа толстую тетрадь и подал ее Монакову. — Обменяемся мнениями и во время доклада задачи поставим вопрос перед начальником академии. Думаю, поддержит.

— Конечно, Кирилл Платонович. Я не раз разрабатывал задачи для проведения игр; свежую мысль он всегда поддерживал.

В дверь постучали, коротко, решительно. Не дожи-

даясь ответа, посетитель смело вошел в кабинет. Дубков нахмурил морщинистый лоб. Но когда узнал вошедшего, широко улыбнулся и протянул ему свою по-мужички крепкую руку.

Монаков, видя, что генерал забыл или не намерен знакомить его с вошедшим, попросил разрешения уйти. Дубков кивнул головой, и Монаков, потупившись, удалился.

— Откуда и куда? — спросил Дубков, любуясь молодым стройным подполковником в отлично подогнанном новом кителе.

— Из столицы в столицу, — весело ответил подполковник.

— Столиц много.

— Из самой дальней, из Алма-Аты.

— Что ты там делал?

— Преподавал в медицинском институте.

— Ты — в институте?! — Генерал удивленно приподнял редкие белесые брови. — Молодой, талантливый — и в богоугодном заведении. Ты что?

— Так получилось.

— И отец не проклял тебя?

— Держусь на волоске. Вот вам письмо.

Дубков разорвал конверт, стал читать. Веселость на лице подполковника угасла.

— Да, — протяжно произнес Дубков, свертывая письмо. — Наследник генерала Алова, солдата гражданской и героя Отечественной... Попасть из гражданского института в адъюнктуру — дело сложное.

— Мне всего на год. Кандидатский у меня сдан, написано две главы — это примерно половина диссертации...

— Видно, взялся за ум, — проговорил Дубков, добрея.

— Пора. Скоро тридцать три, — ответил Алов серьезно.

— Что ж, замолвлю словечко перед начальством. Только смотри...

— Кирилл Платонович, жилы вытяну из себя, но диссертацию напишу. Учился я всегда неплохо. Золотая медаль — случайно из рук выскользнула.

— А служба не пошла.

— Схватился с одним ну и... оказался в Алма-Ате.

— Да, перспективы там не вижу. Хорошо защитишь, попробуем оставить на кафедре.

— Постараюсь.

— Мой адрес знаешь? Сегодня жду. Ты один или с женой?

— Один.

Зазвонил телефон. Дубков медленно, не глядя, протянул руку к трубке.

— Генерал Дубков. Кто? Звездин? Звездин? — повторил Дубков. — Иван, что ли? Ну, так бы и говорил сразу. Надолго в Москву? Преподавателем в академию?.. Знаешь что, заходи сегодня ко мне. Садовое кольцо, пятнадцать, квартира сто семьдесят три. Ну, к двадцати.

Вечером, в половине восьмого, Алов был у Дубковых. Когда на голос отца в комнату вошла Светлана, удивленный Алов по-юношески легко встал и восхищенными глазами уставился на нее. Он не видел Светлану много лет. В прошлом нескладная дурнушка стала красивой девушкой. Особенно привлекательными казались ее светло-карие глаза, тонкий прямой нос, строго сжатые губы. Ростом она вышла в мать, выше среднего. Только волосы у Марии Петровны, как помнил Алов, синеватые от проседи и короткие, а у дочери темно-каштановые, заплетенные в косы и увязанные в тугой узел на затылке.

Любопытство гостя девушке показалось чрезмерным. Подав руку, она коротко и холодно посмотрела в его глаза. Алов не заметил упрека. Пожимая руку, с веселой непринужденностью он спросил:

— Вы, видимо, меня не помните? Когда после войны Мария Петровна приехала с вами к нам, фронтовикам, в Лейпциг, вам было не больше десяти-одиннадцати лет.

— Немного помню. Вы очень мало изменились.

— Это звучит почти комплиментом.

Светлана промолчала, брови ее недовольно сблизились.

— А ты бы хотел, — вмешался в разговор отец, — не почти, а комплимент услышать? Комплимент, Витенька, надо заработать.

В дверях показалась Мария Петровна, уже не с проседью в волосах, как двенадцать лет назад, а совершенно белая. Лишь глаза остались прежние — добрые и чуть-чуть усталые.

— Ваша дочь нашла, что я почти не изменился, а

вы? — обратился Алов к Марии Петровне после взаимных приветствий.

— Не знаю в чем, но вы изменились, Витя. Видно, в жизни у вас были большие неприятности.

— Они сделали меня лучше или хуже?

— Не знаю, что и сказать. После войны вы были совсем мальчик.

— Я был уже капитаном.

— Для меня это не имело никакого значения. Вы чем-то походили на моего старшего сына. Сейчас вы взрослый, а взрослые дети всегда кажутся немного чужими.

— Для вас я прежний, Мария Петровна.

Зазвенел звонок. Дубков быстро вышел. В коридоре послышались поцелуи, оживленный смех, возгласы. Вскоре открылась дверь. Вместе с Дубковым вошел низенький генерал-майор с круглым рябоватым лицом. Радостно улыбаясь, он устремился к Марии Петровне, взял ее руку в свои, приложил к губам.

— Иван Васильевич, когда вы научились целовать дамам руки? — спросила вдруг оживившаяся Мария Петровна.

— Кто знает вас, Мария Петровна, и давно вас не видел, делает это без всякой учебы. Надюша шлет вам вот такой привет. — Звездин во всю ширь развел руки. — И тысячу поцелуев.

— Как она?

— Отпустила с надеждой, что больше уж никуда от семьи не уеду.

— Ну, присаживайся, — проронил Дубков, обнимая товарища за плечи. — Откуда в Москву?

— С берегов Великого, или Тихого.

— О, в какую даль тебя занесло! Скажи, куда ты запропастился после академии?

— В Китай.

— С какой миссией?

— Рядовой — советником.

— Когда же вернулся домой?

— В канун войны. День побыл дома и опять на четыре года:

— И я все четыре отшагал по дорогам войны, если не считать трех госпитальных отпусков. Начал под Львовом, побывал в Крыму, на Кавказе, оттуда через

Ташкент под Демянск, в сорок третьем вернулся на Украину и далее через Польшу до Лейпцига.

— У меня путь был короче: Минск — Москва, затем Москва — Минск — Кенигсберг — Штеттин.

— Поседел, друг. — Дубков с участием дотронулся до головы Звезды пальцами.

— Давно. А тебя время не берет, оправдываешь свою фамилию.

— Военному дряхлым быть нельзя. Или стоять штыком, или лежать на одре. Маша, как там у нас? — обратился Дубков к жене. — Гость с дороги.

— Не торопись, — возразил Звездин.

— Двадцать лет не виделись, а ты — не торопись. Снимай китель, будь как дома. Приобрел штабной моль? — Дубков кивком показал на округлившийся живот Звезды.

— Немного есть — сердце пошаливает.

— Все равно. Регулярная зарядка, холодная вода — и будешь прежним комсомольцем.

— Если ты опять возьмешь надо мной шефство... Помнишь, как ты толкнул меня с вышки в Нару?

— Чтоб люди не увидели, как у комиссара группы дрогнули поджилки. Ну садись. Виктор, откупоривай коньяк. Я вас познакомил? Нет? Извини. Сын Алова, моего фронтового учителя.

После ужина Звездин подошел к книжным полкам. Верхние, по-видимому, принадлежали генералу — они были заставлены военными книгами; нижние — дочери: здесь стояли собрания сочинений, сборники стихотворений, учебники.

— Из-за путешествий по белому свету порядочной библиотеки не могу собрать, — пояснил Дубков. — Как только переезд, так для моих книг обязательно не хватает места. И приходится сдавать их в библиотеку или оставлять своему преемнику.

— Кочуем много. После войны я сменил уже шесть мест жительства. Последние пять лет мотался один: детям надо учиться на одном месте.

— Скажи, Иван, почему ты пошел в академию? — спросил Дубков тоном, в котором Звездин услышал неодобрение.

— Но ведь ты работаешь. Почему же мне не поработать?

— Да, но рядовым преподавателем...

— Ну и что же?

— Поработаешь, думаю, заскучаешь.

— А ты скучаешь?

— Откровенно — да. Нет здесь полевого простора, тысяч людей, машин, которые по твоей команде идут туда, куда ты им указал.

— А мне как раз хочется повозиться с десятком людей: в тысячах трудно увидеть, что, собственно, ты вложил в их души.

— В академии далеко не все работают с людьми: одних засадят писать, и они года два-три не вылезают из кабинетов; другие — преподаватели-передаватели. Смотри, не стань ты ни писарем, ни петухом — откукарекал, а там хоть не рассветай.

— Это уж от тебя будет зависеть. Думаю, друга ты не засадишь в бумажную крепость.

— Вот об этом я и думаю. Ты в войсках занимался начальным периодом войны?

— Немного, провели два учения.

— А как ты думаешь, нужна войскам хорошая книга по способам действий в начале войны?

— Позарез.

— Вот такой мне человек и нужен. Задумал я на кафедре создать солидный труд по начальному периоду войны. Такой, чтоб каждая фраза в нем была пудовая, как в уставе. Писучих в академии много, но нет таких, которые бы крепко знали войсковой опыт и нутром понимали, до чего нужна такая книга, особенно там, в войсках. Подумай — и с корабля практики прямо в науку. А?

— С корабля на бал — дело нетрудное, а в науку... Дай осмотреться.

— Ну, если с корабля на бал не хочешь, давай по-военному: в атаку с ходу.

3

Спустя две недели, когда задача была переработана и написан план-проспект будущего труда, Монаков вторично направился на прием к генералу Дубкову.

— Уже? — вопросом встретил его генерал.

— Да, товарищ генерал.

— Вот и хорошо. Завтра доложим начальнику академии. Дайте карту, я еще раз взгляну.

Монаков расстелил карту. Дубков, слегка опершись обеими руками на стол, внимательно сличил текст оперативного замысла с обстановкой на карте. Каждая страница убеждала генерала в том, что Монаков правильно понял его и сделал необходимые поправки.

— Хорошо, — сказал он, закончив читать. — Сегодня занесите задачу адъютанту начальника академии и подготовьтесь к докладу.

— Слушаюсь, — проговорил Монаков тем тоном, смысл которого значил: у начальника академии я был не один раз, и предупреждать меня излишне. Свернув карту, он достал разработанный им план-проспект будущего труда и подал его начальнику кафедры. Дубков бегло пробежал страницу-другую, на третьей задержался несколько дольше, а потом уже внимательно читал все до конца.

— Что ж... — с остановками заговорил он. — Мы, кажется, одинаково понимаем проблемы начального периода войны. Тем лучше для дела. Сколько, вы думаете, надо привлечь авторов, чтоб написать эту работу?

— Чем меньше, товарищ генерал, тем лучше. В маленьком коллективе легче найти единство взглядов.

— Хоть мы и понимаем друг друга, но двоим нам не написать. Вас, Семен Семенович, еще можно освободить от текущих занятий. А вот самого себя освободить от исполнения обязанностей начальника кафедры я не могу.

— Написать, Кирилл Платонович, нетрудно. Было бы что писать.

— Нет. Коллектив есть коллектив. Надо подобрать таких, чтоб через год, не более, мы могли положить труд начальнику академии на стол.

«Генералу, видно, хочется возглавить коллектив побольше», — подумал Монаков. Сам же полковник считал, что в науке более, чем на войне, успех достигается не числом, а умением.

— Четыре-пять человек вполне достаточно, — после небольшой паузы уверенно произнес он.

— А я рассчитывал на десяток.

— Столько для одного труда?.. На каждого автора по сорок — пятьдесят страниц?

— Ну и что же?

— Читатели могут подумать, что на кафедре да и в академии нет серьезных авторов: одну книгу пишут ротой. Как вам известно, у «Общей теории тактики» было столько авторов, что имена их на труде не решились обозначить.

— Имена — второстепенный вопрос, — недовольно проговорил генерал. — Главное — написать труд.

Уверенно, стараясь сохранить молодцеватую выправку, шел Дубков на прием к начальнику академии. Рядом семенил полный, низенький Монаков. Кивнув адъютанту, круглолицему, улыбающемуся капитану, Дубков постучал в дверь.

Начальник академии, высокий сухой генерал, как всегда при входе посетителей, встал и вышел из-за стола. Седая, несколько подавшаяся вперед голова с прямым пробором, потерявший упругость короткий шаг, замедленное движение руки, которую он подал Дубкову и Монакову, — все говорило о его преклонных годах и трудно прожитой жизни.

Пока адъютант разворачивал карту, начальник академии просмотрел свои пометки на полях текста. Но вот адъютант ушел, и генерал утомленным голосом обратился к Дубкову и Монакову.

— Общий оперативный фон вами избран, можно сказать, удачно, особенно если учесть, что начальному периоду войны до этого года мы уделяли не очень много внимания.

— Да, товарищ генерал, — согласился Дубков.

— Видимо, еще не все понимают, что в нем больше всего неясностей и бед.

— Участников боев горького сорок первого года осталось немного.

— Опыт сорок первого, конечно, важен. Но сейчас одного этого опыта уже недостаточно.

— Нужен, товарищ генерал, фундаментальный теоретический труд по начальному периоду войны. То, что у нас сейчас есть, — конспекты, не более.

— Ценность работы определяется не объемом. — Начальник академии устремил пытливый взгляд на Дубкова.

— Согласен, — кивнул Дубков. — Но все же... в маленькой книге много практических советов не изложишь. Кафедра, товарищ генерал, решила своими силами разработать обстоятельную монографию по начальному периоду войны.

— Не возражаю. Теорию начального периода войны надо расширять и углублять. Только на основе чего? В вашем плане-проспекте нет ничего об оперативных и стратегических, межконтинентальных ракетах.

Дубков покосился на Монакова. Тот, запнувшись, проговорил:

— Нам о них... мало что известно.

— Как? Два года назад ракета поднялась на четыреста километров. По параболе — это вся тысяча. Потом... разве вы не слышали, что в этом году на орбиту выйдут искусственные спутники земли?

— Читал, но как-то...

— Не верится?

— Слишком необычно, — с восторженной улыбкой ответил Монаков.

— Да. И все же искусственный спутник будет летать. Именно его появление заставляет нас по-новому взглянуть на очень многие общие и частные явления.

Помолчав, начальник академии добавил:

— Прежде чем приступить к работе над таким серьезным научным трудом, поделитесь с преподавателями своими мыслями. Подберите коллектив и через год-два дайте военному читателю хорошую книгу.

— Слушаюсь, — ответил Дубков, довольный, что его предложение получило одобрение.

Начальник академии подошел к карте.

— В задаче есть одна несогласованность, — задумчиво сказал он. — События развиваются в начальный период войны, а состав армии полный. Потом построение обороны, ее ведение мало чем отличается от того, что у нас было под Курском. Понимаете меня? Оборона у вас статична.

— Да, товарищ генерал, — глухо ответил Дубков. — Но...

— Говорите.

— Надо вырабатывать упорство в обороне, а также ряд других элементов, без которых невозможна устойчивая оборона в любой войне.

— Согласен с вами. Но цель, характер перехода к обороне и ее ведение будут совсем иные. — Помолчав, начальник академии добавил: — Подумайте еще. Свяжите разработку задачи с тем, к чему будете идти в процессе теоретического исследования. Кстати, не бойтесь дать противнику побольше простора, пустите его в глубину. Пусть слушатели поломают голову, как выйти из трудного положения. Может быть, своими решениями они кое-что вам подскажут...

В свой кабинет Дубков возвратился не в духе. Его немного злил просчет, который он допустил в задаче. Монаков довольный, что его мнение почти совпало с мнением начальника академии, стоял у стола, ожидая распоряжений Дубкова.

— Вот что, — произнес генерал, жадно затянувшись папирсой. — Вы слышали замечания? Поработайте еще.

4

Капитан Стрельцов, щеголеватый, быстрый в движениях, подошел к преподавательской комнате без пяти шесть. У двери стоял капитан немецкой народной армии Вольфганг Майер. Офицеры переглянулись, посмотрели на часы. Пора входить. Но кому первому? Немецкий офицер хотел, чтобы первым вошел советский коллега: войти в преподавательскую, где на тебя с любопытством посмотрят сразу четыре или пять полковников, а может, и генерал, ему было несколько боязно. Стрельцов же, не замечая смущения гостя, хотел пропустить его первым. Наконец догадавшись, что немецкий офицер не решается постучать в дверь, вежливо спросил его:

— Вы к кому?

— Подполковник Кучар.

— И я к нему. Насчет дипломной?

— Да.

— Тогда пошли вместе, — предложил Стрельцов и открыл дверь.

Кучар неподвижно стоял у окна, наполовину заслонив его широкой спиной. Только после того, как Стрельцов громко произнес: «Разрешите?» — Кучар обернулся.

— Входите, — пригласил он, все еще думая о чем-то своем.

Офицеры представились. Подполковник указал им на стулья. Пока вошедшие усаживались, Кучар успел рассмотреть и сравнить их. Оба капитана были одного роста. У Майера высокий с глубокими узкими залысинами лоб, короткий чуть вздернутый нос, мягкие губы; но подбородок — твердый, налитой. У Стрельцова, которого Кучар знал хорошо, он заметил новое в выражении красивого волевого лица — самоуверенность и нетерпение взяться за дело, которое должно широко открыть ему дверь в будущее.

— Вы познакомились?

— Не успели, — с улыбкой ответил Стрельцов.

— Знакомьтесь.

Офицеры представились друг другу.

— Когда вы уезжаете в лагерь?

— Через неделю, товарищ подполковник, — ответил Стрельцов.

— Потом у вас стажировка и отпуск. Как вы посмотрите, если я предложу вам небольшое задание? Лагерь, куда вы поедете, находится там, где в сорок первом году развернулись очень напряженные бои. — При этом Кучар взглянул на Майера. Ни один мускул не дрогнул на лице немецкого офицера. Оно только несколько напряглось. — Думаю, вам будет полезно изучить район этих боев.

— Было бы хорошо, товарищ подполковник, внимательно изучить и ход боев, — ответил Стрельцов. — О нем я, например, знаю понаслышке. Историю Отечественной войны мы же изучаем в стратегических масштабах.

— Я дам вам некоторые материалы. Подробности узнаете у местных жителей.

— Едва ли у них можно многое узнать, товарищ подполковник. Они больше слышали, чем видели.

— Нередко фраза стоит толстой книги, особенно если речь идет о сорок первом, когда люди думали не об истории, а о том, жить им или нет.

Разговаривая со Стрельцовым, Кучар то и дело поглядывал на Майера. Он не знал, как подступить к молчавшему капитану, форма которого напоминала ему тех, с кем он воевал немногим более десяти лет назад.

Кучар не раз задумывался о том, как ему руководить учебой немецкого офицера. Было бы легче, если бы тема его дипломной работы не так тесно и болезненно соприкасалась с прошлым. Начальный период войны — это первые скорые победы, вскружившие немцам головы. Это и нападение на СССР. Какие чувства они рождают теперь в этом капитане? Ненависть? Сожаление? Или скрытую гордость?

— Вы почему взяли себе такую тему? — осторожно спросил Майера Кучар.

Капитан ответил не сразу. Он знал, русские не любят шумных фраз, и поэтому сказал так, чтобы его объяснение прозвучало не слишком громко.

— Моя страна дальше всех социалистических стран выдвинута на запад. Когда будет начинаться война, нам, советским войскам и чехам придется первыми воевать с противником, пока не подойдут главные силы. Поэтому для нашей совсем молодой армии имеет большое значение, как вести оборону в начале войны. Я был у военного атташе. Он согласился со мной.

— Вы давно изучаете эту тему? — спросил Кучар.

— Полгода.

— Что прочитали?

Майер назвал несколько журнальных статей.

— А немецких авторов?

— Немного генерал Гудериан, — замаявшись, ответил Майер и, как бы отмежевываясь от прусского служаки, тут же добавил: — В русском переводе.

— А на немецком не читали?

— Нет.

— Почему?

— В библиотеке академии нет на немецком, а в отпуске... не успел.

Кучар видел, что Майер сторонится тех немцев, которые с оружием ходили на восток. Это хорошо, но в этом же есть и отрицательная сторона. Те, кто в сорок первом шагали на восток, а сейчас мечтают о реванше — враги Майера, ибо их пути лежат через его, новую, Германию. А от врагов нельзя ни прятаться, ни сторониться. Их надо изучать, а когда надо — бить. Кучар воздержался высказать эти мысли: сейчас они прозвучали бы преждевременным требованием или даже упреком. А ему хотелось сблизиться с этим офицером, чтобы

лучше понять его мысли и чувства. Он лишь заметил:

— Немцы умели воевать и писать о войне. Их книги надо читать.

Без стука, легкой походкой в преподавательскую вошел подполковник Алов. Он бросил любопытный взгляд на Майера и устало протянул свою небольшую руку Кучару.

— Посиди. Я сейчас кончу.

Алов уселся на диван, закинув ногу на ногу.

С приходом Алова Кучар заговорил тише, а когда стал объяснять возможный характер начала войны, перешел почти на лекторский тон.

В прищуренных глазах Алова мелькнула затаенная усмешка. Для кого, говорили они, ты напускаешь на себя такую строгость? Для этих птенцов? Или для меня, чтоб чувствовал дистанцию между научным руководителем и диссертантом? Неумно. И тут же мелькнула догадка: «А может, он все еще зол на меня, помнит Асю?».

Алов внимательно посмотрел на Игната, пытаясь проникнуть в его мысли. Но сосредоточенное лицо подполковника ничего не выражало, кроме заинтересованности в беседе со слушателями. И поскольку Алов не хотел верить, что причиной отчужденности Кучара может служить давняя любовь к его, Алова, жене, он решил, что подполковник пытается установить с ним чисто служебные отношения, чтобы начальство, не дай бог, не заподозрило его в панибратстве с подчиненным.

Но вот слушатели ушли. Широкое лицо Кучара прояснилось, но глаза сузились, и Алов не мог разглядеть, что в них скрыто.

Неясность поведения Игната насторожила Алова. В Кучаре, вместе с которым он учился в академии, Алов знал одну опасную для себя черту — ортодоксальную прямолинейность: заспорит на защите и обеспечит провал.

— Ты чего сидишь после шести? Жить надоело? — шутливо упрекнул Алов.

— Надо. Дай закурить. Хотя ты не куришь... Как с диссертацией?

— Сижу в архиве. Еще кое-где побывал.

— Где же? В верхах? — Губы Кучара чуть заметно дрогнули в улыбке.

— Сверху видно все, поют летчики. — Алов засмеялся.

— Смотри не разорвись: ногами тебе надо на земле стоять:

— На земле я настоялся. После академии пять лет в строю был. Теперь можно попарить. Без фантазии, говорят, науку создать нельзя. Ладно, хватит о науке. Как живешь? Собирался навестить тебя, но...

Игнат понял: Виктор набивался на приглашение в гости. Но Кучар избегал этого. Он хорошо знал взгляды и вкусы Алова. Лиза, в его представлении, — деревенская бабенка. Скажет она что-нибудь невпопад, Виктор усмехнется, при случае сострит, расскажет Асе. А Кучару не хотелось, чтобы Ася знала, с кем свела его жизнь. Поэтому, приподняв свои тяжелые плечи, ответил уклончиво:

— Работать много приходится.

— Не надоело все время одно и то же?

— Преподавать? Нет.

— С твоей комплекцией в войсках служить. Там любят дородных.

— У тебя было больше данных.

— Данных, может быть, но не тех, что у меня. Знаешь, что в войсках приносит успех? Немного ума, луженое горло и лошадиные ноги. Ты помнишь Степку Зайца? Кончил академию так себе. Сейчас — генерал, на прямой выстрел не подходит. А Пашка Белов?.. Инвалидом стал и получил генерала.

— Пашка во время войны два года полком командовал.

— И командовал бы до сих пор.

— Нет. Когда такие получают генералов, у меня спокойнее на душе.

Беседа велась в дружеском тоне, но она не сближала бывших друзей. Виктор это почувствовал, когда Игнат не согласился с его мнением о Павле Белове. Прямота Игната снова заставила его насторожиться. «Не допустил ли я промаха, взяв его своим консультантом?» — досадливо подумал он.

— Ты один в Москве? — сменил разговор Игнат.

— Один.

— Почему?

— Надо же осмотреться, устроиться, угол, так сказать, найти, — ответил Алов.

— Можно мобилизовать мою жену. Она быстро найдет.

— Знаешь, Аська такой стала... Будет только мешать. А мне надо, как говорят у вас, диссертацию выстрелить. Иначе понимаешь...

Откровенность Виктора понравилась Игнату. Оживившись, друзья начали вспоминать годы учебы, которые всегда кажутся необыкновенно веселыми и счастливыми.

И Кучар пригласил Алова к себе домой.

Лиза, предупрежденная Игнатом о госте, постаралась как можно лучше накрыть стол. Она знала, что до женитьбы Игнат был влюблен в Асю и что Ася стала женой Алова. Сейчас ей представлялась возможность доказать мужу и Виктору, что она, Лиза, ничем не хуже Аси.

Но, заслышав в коридоре незнакомый голос, она вздрогнула, вилки выскользнули у нее из рук и с тревожным звоном рассыпались по тарелке. «А... если Игнат вспомнит ее?» — спросила себя Лиза, и ей представились первые годы их жизни, когда Игнат ночью бредил Асей, а утром виновато отводил от нее взгляд, в котором тлел обжигающий упрек.

Испуганную и растерянную, застали ее мужчины. Принужденно улыбнувшись гостю, Лиза ушла на кухню.

— Смотри, какую нашел, — проводил Виктор ее взглядом. — Будешь долго засиживаться в академии, ей может надоесть одиночество.

Игнат настолько был уверен в порядочности жены, что подобные мысли у него даже и не возникали. Считая ее заурядной, он не предполагал, что она может кому-либо понравиться. Фраза Виктора впервые вызвала в нем нечто похожее на беспокойство. Он ощутил близость Лизы, как что-то такое, без чего он не мог уже себя представить, как, например, без военного кителя и погон.

— Белорусы — народ лесной, одиночества не боятся, — попытался отшутиться он.

— Где же твое наследство?

— Наверное, во дворе.

— Сколько ей?

— Шесть.

— Рановато становится самостоятельной — скоро девять часов.

Действительно, за окном уже сгущались сумерки.

— Ты посиди, — озабоченно попросил Игнат товарища, — я пойду приведу ее.

Виктор остался один. От нечего делать он стал осматривать комнату. Светлая деревянная кровать, орехового дерева стеллаж с книгами, в углу телевизор, на нем гипсовый бюст Льва Толстого, электрическая бритва и зеркало. Выше — эстамп «Утро года». В книгах та же пестрота. Особенно бросался в глаза разноречивой тематики в специальной литературе. Несколько мемуарных книг из истории второй мировой войны, три тома «Всемирной истории», а далее книги по атомной энергии, радиотехнике, ракетам, современной строительной технике, экономике, партизанскому движению, шпионажу и подрывной деятельности, о современных самолетах, кибернетике...

Виктор не успел прочитать всех названий книг: вошел Игнат, ведя за руку упиравшуюся дочь.

— Ну, что надо сказать дяде? — Игнат нагнулся к девочке.

Но дочь, повернув худенькие плечи, сказала:

— Раздень.

— А кто будет здороваться с дядей?

Девочка засмеялась и капризно повторила:

— Раздень.

Зная упрямство дочери, Игнат не стал настаивать. Едва он снял с нее пальто, она потянулась к столу за едой.

— Сначала надо вымыть руки, ты же на улице была.

Но дочь как будто и не слышала слов отца.

Вошла Лиза. Увидев, как Игнат уговаривает дочь, она крепко сжала ее руку и без разговоров повела в коридор. Девочка, откинувшись назад, молча шла за ней. А в двери она даже улыбнулась Алову.

— Не солдат, воинские приемы воспитания не подходят? — спросил Виктор.

— Не говори. Наука сложная. А у тебя кто?

— Был сын — умер. А сейчас...

Алов хотел сказать, что сейчас его жена — настоящая мегера: упрекает, ревнует, изводит за каждый свободный шаг, но воздержался. Винить только Асю — Игнат не поверит, рассказать о своих вольностях — боялся: друг не из тех, от кого можно получить за них похвалу.

Лиза поставила на стол тарелку с грибами и сняла фартук. Игнат понял, что все готово, и обратился к Виктору:

— Извини. Я на минуту.

— Куда ты?

— Соседей приглашу.

— Может, втроем?

— Нельзя. У нас так заведено. Сосед — начальник лаборатории в вычислительном центре, интересный человек, тебе бесполезно с ним познакомиться.

Через минуту Игнат открыл дверь и пропустил в комнату молодую полную женщину в выпуклых очках и Евгения. Познакомился Виктор с ними сдержанно, полагая, что сосед Игната, видимо, не от мира сего.

Ужин начался с маленькой заминки. Евгений налил себе венгерского токая. Виктор не сдержался, заметил:

— Мужчинам полагается нечто более крепкое.

Сосед не спеша отпил два глотка, поставил рюмку на стол и только тогда ответил:

— Это зависит от того, что является главным в содержании мужчины.

Холодное спокойствие Евгения обескуражило Алова. Сразу он не нашелся, что ответить, а минуту спустя было уже поздно.

Чтобы сгладить возникшую неловкость, Игнат, смеясь глазами, сказал Алову:

— Из жильцов нашей квартиры крепко-горькое разрешено только мне.

Дальше все пошло хорошо. Виктор оживился и начал рассказывать различные истории и новости, которых за месяц жизни в Москве он узнал больше, чем Игнат за несколько лет. Мимоходом хвалил стол и довольно пристально смотрел на женщин, особенно на Лизу. В честь ее — хозяйки — произнес тост.

Сначала Лизе это было приятно. Как женщина, она была рада вниманию, которым Игнат ее не очень-то баловал. Но когда Виктор после нескольких рюмок коньяка стал особенно пристально посматривать на нее, Лиза насторожилась и теми же глазами, которые недавно доверчиво улыбались, дала понять, что добрая улыбка — это все, на что может рассчитывать друг мужа. Сосед, предупредив Игната, вышел покурить и больше не вернулся. Вскоре ушла и его жена.

Согретый встречей, вином и вообще всем сегодняшним вечером, Игнат не замечал ни пристальных взглядов Виктора, ни настороженно-веселых ответов жены. Он был доволен, что Лиза за весь вечер не сделала ни одной оплошности. Слушая веселые рассказы Виктора, она не забывала и его, Игната.

В двенадцатом часу Виктор собрался домой. Хозяин не стал его удерживать: завтра рабочий день, а Виктор заметно охмелел. Кучар пошел его провожать.

Когда он вернулся, со стола уже почти все было убрано. Игнат взял книгу и лег в постель. Но тут же встал, на цыпочках прошел к детской кроватке, снял с дочери лифчик, укрыл ее одеялом. Подошла Лиза, прижалась, вздохнула:

— Что с ней делать, ума не приложу. Становится непослушной, дерзкой. — Помолчав, ласково добавила: — А ты только уговариваешь.

Игнат понял намек жены и подумал: «Скоро сорок, пора обзавестись вторым ребенком. Единственный редко вырастает хорошим», — вспомнил он слова Макаренко.

5

За окном серело сентябрьское пасмурное небо, когда Семен Семенович Монаков открыл глаза. Вставать не хотелось. Он повернулся на спину и снова задремал. Но вскоре зазвенел будильник. Монаков осторожно слез с кровати, надел пижаму. На кухне несколько раз развел руками, присел, придерживаясь за стол, и пошел умываться.

С порозовевшими гладко выбритыми щеками он вышел из ванной. Неслышно подойдя к кровати, тихо позвал:

— Кира, Кира! Пора! — И зажег ночник.

Жена лениво открыла глаза.

— Поставь чайник.

— Эдит дома? — спросил Монаков за завтраком.

— Где ж ей быть?! — удивленно ответила жена.

— Я не слышал, когда она вернулась.

— Сразу как только ты заснул. Разбудить тебя не легко.

До конца завтрака разговор не возобновлялся.

— Как она, занимается? — спросил Монаков, надевая плащ-пальто.

— Самым усердным образом.

— А не лучше ли устроить ее на работу? С производства в институт принимают охотнее.

— А ее здоровье! Нет, нет. На следующий год обязательно поступит. Конечно, если бы устроить ее в академию — в библиотеку или в читальный зал...

— Не знаю, это сложно. И неудобно.

— Для родного ребенка — неудобно?!

— Хорошо. Я узнаю.

Поцеловав жену в щеку, Монаков ушел.

На автобусной остановке он встретился с полковником Дукой, высоким и тучным, но все еще по-кавалерийски подвижным. Монакова всегда раздражала его снисходительная усмешка и манера со всеми вести себя, как с равными. Он попытался не заметить Дуку, но тот, положив огромную руку ему на плечо, спросил:

— Как моральный дух?

— Как всегда. Ему нет причины падать.

— Думаешь, обсуждение пройдет гладко?

— Чем острее, тем лучше. Когда люди говорят с воодушевлением, очень часто высказывают полезные мысли.

— Что ж, посмотрим, послушаем и тоже кой-что скажем, — многозначительно сказал Дука, поглядывая на приближающийся автобус.

К приходу Дубкова в его кабинете собралось более десятка человек. Генерал внимательно выслушал доклад Монакова и, помедлив, разрешил офицерам сесть.

— Думаю, достаточно такого количества оппонентов. Начнем. Разъяснения к плану нужны?

— План, товарищ генерал, можно сказать, эскиз будущей военно-научной работы, — заметил Алов, сдерживая радостное волнение оттого, что его, только что вступившего на научное поприще офицера, пригласили на важное заседание и дадут возможность высказать свое мнение. — У художников, например, не принято давать пояснения. Картина сама должна сказать, что на ней изображено.

— Ну... сравнил, — мягко упрекнул его Дубков. — Но если всем все ясно, начнем обсуждение.

Наступило молчание. Никто не решался выступать первым.

Полковник Дука, окинув всех вопрошающим, немного насмешливым взглядом, приподнял руку.

— Позвольте? — спросил он.

— Да, Илларион Матвеевич.

Дука подался всем корпусом вперед и только тогда встал.

— Не люблю говорить много, потому начну без похвал и прочего, что полагается вначале. Три раза прочел план-проспект и не схватил, так сказать, не нащупал того главного, что хочет сказать автор в новом труде...

Дука выставил вперед руки, как бы прося положить ему на огромные ладони вещь, которую он смог бы как следует помнить, чтобы определить ее годность.

— Авторы будет много, — вставил Монаков.

— Не знаю. Обсуждаем план, который писали вы. Слов в плане много, как комаров над лошадыю в теплый летний вечер, а попробуй составь из них что-нибудь — не получается. Возьмем первую главу. Исследовать то, се, показать закономерности и прочее. Когда я слышу такие красивые слова, как «исследовать», «проанализировать», и не нахожу главного — причины наших неудач, мне так и представляется, что собираются показать не то, что было, а что приятно для души. А без правды мы никого ничему не научим.

По кабинету пробежал смешок. Он мог относиться и к автору плана и к самому Дуке, его грубовато-резкой манере говорить. Но смех не смутил Дуку. Все, что ему не нравилось, он продолжал осуждать.

Дубков долго крепился. Но бездоказательное, как он считал, опорочивание плана, в котором было много и его мыслей, заставило генерала прервать Дуку.

— Илларион Матвеевич, конечно, критика вещь хорошая, но, отвергая чужое, надо что-то предлагать свое.

— Предложу, Кирилл Платонович, все будет в свое время.

— Мы сейчас обсуждаем не конкретные положения труда, а его архитеконику и основное направление.

Недовольный тон начальника кафедры ничуть не поколебал полковника. Независимым тоном он ответил:

— Что — архитектоника? В любую архитектонику можно вложить что надо и что не надо.

Как бывший командир кавалерийской дивизии, Дука легко усвоил, какую свободу для быстрого проникновения в глубину и широкого маневра дают бреши, образуемые в обороне ядерными ударами. Обе эти возможности позволяли расчленять силы противника, наносить удары по уязвимым местам и в конечном итоге равными силами громить обороняющиеся войска. Ему попытались возразить, что наступление только через бреши приведет к движению по направлениям, а значит, к распылению сил. Ударами с флангов противник отрежет проникшие в глубину войска, и наступление заглохнет.

Дука, подняв кверху мясистую ладонь, ответил:

— Оборону противника надо рубить, как лед, на такие куски, чтобы они легко сносились потоком наступления.

Выступление полковника Дуки застопорило заседание. Чтобы заполнить возникшую паузу, Алов попросил слова.

— Хотя в доводах товарища полковника есть определенная логика, нельзя согласиться с ним, что структура труда — вещь второстепенная. Структура — форма. И чем она совершенней, тем лучше будет выражено содержание.

О структуре и содержании труда Алов говорил немного. Почувствовав, что у присутствующих рассеялось недоброе впечатление, произведенное полковником Дукой, Алов поспешил закончить свое выступление. После него обсуждение оживилось, приняло деловито-спокойный тон.

Генерал Звездин внимательно слушал всех ораторов и в каждом выступлении отмечал что-то новое для себя. Но самым интересным для него было рождение новых взглядов, которое происходило на его глазах. Сколько разного, порой противоположного и все же на первый взгляд правильного, говорили люди, уясняя для себя ту роль, которую сыграют новые средства ведения военных действий. Звездину и самому захотелось высказать что-то значительное. Но то, что приходило ему в голову, казалось не особенно интересным. Поэтому, когда к нему обратился генерал Дубков, не хочет ли он высказаться, Звездин только развел руками, давая понять, что сказать ему нечего.

Кучар внешне был безучастен к происходившему.

Лишь карандаш, исчертивший разными стрелами и знаками второй лист бумаги, выдавал его внутреннее волнение. Он третий год исследовал условия борьбы в начале войны. Многое знал, многое ему было значительно яснее, чем большинству выступавших. Поэтому он хорошо представлял, насколько будет тесен предложенный план-проспект для разработки темы. Но обсуждение складывалось так, что с некоторыми изменениями и дополнениями этот план, вероятно, будет принят.

Долго крепился Кучар, стараясь выслушать больше мнений и тем самым лучше проверить свои выводы. Заговорив, он, однако, сразу сбился с установившегося на заседании спокойного тона.

— Я совершенно согласен с подполковником Аловым в том, что форма, в которую мы должны будем вложить определенное, видимо, новое содержание, очень важна. Но я не могу согласиться с его мнением, что предложенная форма монографии наилучшая. По-моему, в нее вообще нельзя вместить очень многих вопросов исследуемой темы. Она, как прокрустово ложе, коротка. Имеет старую, ставшую, так сказать, «классической» от частого употребления структуру: общие положения, организация боевых действий, их ведение.

Присутствующие притихли, насторожились. Для многих выступавших начало речи Кучара не предвещало ничего хорошего. Склонившийся над тетрадью Монаков повернул голову и, как на надвигающуюся грозу, смотрел на Кучара с тревогой и опаской. Дубков, наоборот, откинувшись на спинку стула, с любопытством разглядывал подполковника с головы до ног.

А Кучар поочередно обращался к каждому из выступавших, стараясь убедить их, в чем и почему они неправы, не замечая, как горячность и прямолинейность его суждений вызывали порой обиду у сослуживцев. В конце он коснулся выступления полковника Дуки.

— У некоторых товарищей выступление полковника Дуки вызвало усмешку. Если вдуматься в то, что он сказал, то, мне кажется, он подметил один существенный недостаток плана и вообще организационного начала разработки труда. Кто из будущих авторов может уверенно сказать, в чем состоит главное направление труда, каковы его основные проблемы и пути их решения? Каков метод исследования? В плане этого нет.

— Позвольте, — с заметным раздражением обратился к нему Монаков. — Как же, не исследовав темы, мы можем говорить о ее конкретном содержании?

— А как я должен писать свою главу, если не знаю основных положений труда? Где гарантия того, что все мы понимаем их одинаково? — отпарировал Кучар.

— Что же вы предлагаете? — холодно спросил Дубков.

— Наряду с разработкой нового плана выделить два-три человека для написания научного сообщения, в котором изложить все принципиальные положения. И только после его обсуждения приступить к написанию труда.

Мне бы хотелось высказать замечание и по методу исследования. Поскольку в плане нет о нем ни слова, можно подумать, что исследование предполагается вести умозрительным путем. Он был приемлем в прошлом. Сейчас, когда нужно оценивать множество быстро меняющихся факторов, методы исследования должны быть другие, математические, на основе достижений кибернетики...

Как и после выступления полковника Дуки, наступило молчание. Люди задумались, кое-кто с любопытством поглядывал на начальника кафедры.

Дубков, почувствовав на себе взгляды, недовольно приподнял редкие белесые брови и вопросительно посмотрел на Монакова, приглашая его ответить на выступление Кучара.

Монаков медленно встал, продолжая думать над тем, что сказал Кучар.

— На протяжении веков военные, исключая артиллеристов и инженеров, при выработке решений пользовались только простой арифметикой, сопоставляя силы, расстояния, время их преодоления войсками. Военная наука, возникшая на основе обобщения искусства военачальников, оперировала теми же приемами расчетов. Ее методы исследования такие же, как у всякой неточной науки. Возможно ли пользоваться методами кибернетики в военном исследовании? Об этом поговаривают. Практически еще мало что сделано. Потом, умозрительная оценка фактов не так уж плоха в военном исследовании. Она не давала абсолютной точности, но к приближенным к истине выводам приводила. Остальное до-

вершало искусство полководцев. Пока нет совершенных военных кибернетических машин, результативнее вести исследование привычными методами. Они хорошо знакомы всем и будут понятны тем, кто станет читать труд.

В подтверждение своей мысли Монаков коснулся методов исследования Клаузевица, Жомини, Драгомирова. Из советских теоретиков — Фрунзе, Триандафиллова. Углубившись в историю, он показал, что в военном исследовании (ведь для каждой эпохи существовали новые средства борьбы) далеко не обязательны приемы точных наук. Даже простейшую математику полководец не всегда использует при анализе обстановки и принятии решения. Очень часто блестящие решения принимались молниеносно. Почему? Пока трудно ответить на этот вопрос. Наука раскрыла еще далеко не все тайны человеческого мозга.

Военный исследователь может проникнуть в сущность будущих боевых событий на основании умозрительной оценки фактов прошлого и настоящего — войсковых учений. Никаких опытов он провести не может. Никто не будет для него разыгрывать настоящий бой. Да и мало что бой ему даст, поскольку на него оказывают сейчас огромное влияние оперативные и стратегические средства борьбы — ракеты, ядерные средства.

Заканчивая, Монаков, как бы вскользь, заметил:

— Может быть, уважаемый подполковник Кучар, предлагая новый метод исследования, так сказать математический, имеет хорошие намерения. Не склонен спорить. Может быть, он им овладел. Но не всем он сейчас под силу. Потребуется года два-три, чтобы разобраться в математических расчетах. А время не ждет.

Кучар с места возразил:

— Всем и не обязательно владеть высшей математикой. Многие расчеты могут провести в вычислительных центрах.

В разговор ввязался Дубков.

— Вас слушали, товарищ Кучар, послушайте и вы — не торопитесь все старое сдавать в утиль, может пригодиться.

Слова генерала несколько подбодрили тех, кто был согласен с мнением Монакова. Предложенный Кучаром метод исследования был взят под плотный обстрел. Приостановил его полковник Саблин.

Получив разрешение, он легко для своих пятидесяти пяти лет встал и устремил взгляд в угол, будто именно оттуда должно было выйти то неожиданное и интересное, что он хотел сказать. Помолчав, он резко вскинул худое вытянутое вперед лицо и убежденно начал:

— И все же, коллеги, со многими костившими здесь подполковника Кучара я согласиться не могу. Подполковник Кучар высказал много разумных мыслей и предложений. Действительно, почему бы авторам такого, можно сказать, программного труда не изложить свое кредо? А мы бы послушали и поспорили, так или не так они представляют себе будущую войну и боевые действия соединений, частей и подразделений. Почему бы не вынести одновременно на широкое обсуждение и план труда, а еще лучше — планы, то есть несколько их вариантов...

По молчанию присутствующих генерал определил, что уверенность многих в правоте Монакова поколеблена. Он прищурил глаза, как бы еще раз оценивая сидящих перед ним.

— Хватит на сегодня, наговорились. Давайте решать. Подправим план?.. — Дубков сделал долгую паузу, во время которой прислушался к настроению присутствующих. И, не уловив уверенной поддержки, вяло закончил: — Или сначала обсудим научное сообщение?

Большинство склонилось ко второму предложению. На этом и закончилось заседание.

6

Стрельцов и Майер встретились в гардеробной.

— Куда держите путь?

Майер замялся. Ему хотелось пойти в клуб. Он надеялся там встретить девушку, которую вот уже год провожал взглядом, когда она проходила мимо его окон.

— В клуб? Так пойдемте вместе.

Танцевальный зал походил на водоворот, усыпанный яркой осенней листвой. Стрельцов ястребиным взглядом окинул танцующих: молодежь, зеленая, узкобрюкая. Офицеров совсем немного.

В прошлом Стрельцов любил танцевать. И сейчас — только услышал за дверью вальс — ноги сами зашевелились в зал. А увидел танцующих, и желание прошло. Не

шел танцевать и Майер. Его печальные глаза кого-то искали и не находили. Вдруг они замерцали радостью. Стрельцов посмотрел в ту сторону, куда был устремлен взгляд Вольфганга. На противоположной стороне зала стояла высокая девушка с косами, увязанными в тугий узел. Стрельцов подождал минуту и решительно направился к ней.

Трижды он провел ее в танце совсем близко от Майера. Случайно или умышленно, но танец закончил совсем рядом с Майером и непринужденно, будто давнюю знакомую, подвел девушку к нему.

— Прошу познакомиться с моим товарищем.

С настороженным любопытством девушка взглянула на немецкого офицера. Таких ярких синих глаз она никогда не видела и все же, казалось ей, где-то встречала их грустно-встревоженный взгляд.

Стрельцов улыбнулся. Давно-давно он пережил то, что волновало сейчас Вольфганга. Руфь тогда не пошла за ним, осталась с мужем и надеждой хоть когда-нибудь, но насовсем вернуться в Москву. С тех пор прошли годы. В первое время он ни на кого не смотрел, теперь поглядывает, только ни один девичий взгляд не заставил еще взволнованно забиться его сердце.

Когда девушка назвала свое имя — Светлана, Стрельцов, отбросив тоскливые размышления, шутливо спросил:

— А как ваша фамилия? Нам нужны полные социологические данные.

Светлана замялась: она не решалась назвать свою фамилию — офицеры могли спросить, не дочь ли она начальника кафедры генерала Дубкова. Ответить на этот вопрос словом «нет» — солгать — она не могла; сказать же им: «Да, я дочь генерала», ей не хотелось — молодые офицеры, как было уже не раз, зная крутой характер ее отца, могли тут же измениться — или лишиться оживления, или, наоборот, начать слишком усердно проявлять к ней внимание. Таким ей показался Стрельцов. Чтобы сразу дать ему понять, что расчетливое внимание ей не нужно, Светлана со скрытым вызовом назвала свою фамилию.

— Крепкая фамилия. Постойте, постойте... А не родственница ли вы нашего генерала?

— Дочь.

— О! — насмешливо вытаращив глаза, воскликнул Стрельцов.

Тон Стрельцова задел Светлану, она нахмурилась. Георгий уловил перемену в девушке и осекся: выглядеть в ее глазах легкомысленным говоруном он не хотел.

Оркестр заиграл танго. Стараясь дать понять Светлане, что он далеко не такой, каким мог показаться ей минуту назад, Георгий, чуть улыбнувшись одними губами, обратился к девушке:

— Прошу извинить, мне нужно подойти к знакомым. Вам составит пару мой товарищ. Не возражаете?

Вольфганг и Светлана медленно пошли по залу. Молча, не зная, с чего начать разговор, прошли полкруга. Светлана видела, что партнер несколько раз намеревался завязать разговор и все не решался. Тогда она сама пришла ему на помощь:

— Вы давно в академии?

— Да, давно, четыре год, — ответил он и тут же смешался, поняв, что речь его получилась не совсем правильной.

— Кажется, последний?

— Да, последний.

— Вам нравится в академии?

— О, конечно! В России я получил среднее образование. За первый год. Через год я кончу академию. Это очень, очень много! — восторженно проговорил юноша.

— А Москва вам нравится?

— Да, нравится.

— Но в Москве еще много старых районов.

Юноша смешался, не зная, как сказать о старых, деревянных домах, которых еще немало в Москве, чтобы не обидеть девушку. И все же он ответил так, как чувствовал, думал, когда в первый раз увидел Москву.

— Видите ли, когда рабочий человек едет в страну социализма, он хочет видеть ее очень, очень красивой, как любимую девочку. А красивую девочку...

— Девушку, — поправила его Светлана.

— Да, да. А красивую девушку обязательно хочешь смотреть в хорошем платье, туфлях. Москва — столица социализма. Такой ее и видишь, когда смотришь районы, застроенные новыми домами. А старые дома, узкие маленькие улицы... Как их называют?

— Переулки.

— Да, переулки. Когда видишь некоторые переулки, делается немножко нехорошо. Социализм — и старый дом. Но... именно тогда начинаешь хорошо понимать, как тяжело было строить социализм одному.

Стрельцов успел потанцевать с тремя девушками, но ни одна из них не вызвала у него желания повторить приглашение. Вскоре все это веселье, когда-то очень увлекательное, ему наскучило. Он подошел к Вольфгангу и Светлане и, улучив момент, предложил подняться в зрительный зал. Они согласились.

Спустя двадцать минут они смотрели фильм о Великой Отечественной войне.

Хотя уже само название фильма говорило о том, что в нем будут показаны и немцы, ни Светлане, ни Стрельцову не пришло в голову, что лучше было бы им все же пойти в другое место. Это они поняли лишь после того, как на экране разорвались первые артиллерийские снаряды и обезумевшие от страха жители деревни с детишками устремились к лесу.

Суровая правда фильма породила у Светланы и Георгия неловкость и беспокойство. Им хотелось что-то сделать, чтобы Вольфганг без обиды воспринял картину. Но единственное, что они смогли, — это сидеть на шевелясь, не проявляя своего отношения к происходящему на экране.

Молча молодые люди вышли из клуба и направились по Оружейному переулку. Чтобы прервать затянувшееся молчание, Стрельцов спросил:

— А куда мы шагаем?

— Домой, — ответила Светлана.

— Это куда же?

— Мне к площади Восстания.

— Вольфгангу тоже туда.

— Да. Мы живем в одном дворе, — ответил Вольфганг ровно, и Стрельцов понял, что товарищ не обиделся или по меньшей мере очень хотел, чтобы новые друзья не заметили волновавших его чувств.

— Ну, а мне в противоположную сторону, — улыбнулся Георгий. — Думаю, не заблудитесь, если я вас оставлю.

Светлана вздрогнула. Остаться одной с немецким офицером! Она хотела удержать Стрельцова, но тот, пожав им руки, уже отошел. Через несколько шагов он

обернулся. В Светлане было что-то такое, что он давно искал. Он долго смотрел ей вслед. Но вот она начала теряться между прохожими. Еще десяток шагов, и она скроется за углом. «Может, вернуться? — подумал Стрельцов и сам себе ответил: — Нет, гостей счастья не лишают».

— Вам очень понравилась картина? — спросил Вольфганг Светлану, когда они остались одни.

— Ничего, — уклончиво ответила девушка. — А вам?

— Когда я скажу — понравилась, это будет неправда. Не понравилась — тоже неправда. Не знаю, как сказать. В кино все немцы не разные... Не то слово, да?

— Одинаковые.

— Да, одинаковые: покорные, скупые, жестокие... Это неправильно. Немцы совсем разные: и покорные, и скупые, и жестокие, и очень непокорные, твердые, как Тельман. Я читал одну книгу русского писателя — «Дом на площади». Он много говорит о том, какой немец скупой, экономный. Берет деньги с отца за чай. — Вольфганг грустно улыбнулся. — Такой характер у нас есть. А знаете почему? Тридцатилетнюю войну вы знаете?

— Немного.

— До начала войны в Германии было восемнадцать миллионов человек, осталось — шесть. Все европейцы и сами германцы ходили по стране, убивали, все отнимали у бауэра¹. А как бауэр мог жить? Только все, все считать. И еще: никакой народ не знал столько королей, сколько мы. Двести девяносто шесть и тысячу независимых рыцарей. Каждый король хотел иметь свой Версаль. На Версаль надо много денег. Короли брали их с народа. Народу оставалось очень мало. Чтобы жить, он должен был очень немного кушать и очень много считать. Повиновение у нас пошло от фридрихов и юнкеров.

Вскоре он начал рассказывать о других сторонах характера немцев. Привел слова Энгельса, что немецкий народ — народ мыслителей, и тут же с иронией добавил: — Немцы создали социализм, но к социализму их подводили так же, как совсем маленьких телят к первому молоку.

Светлану привлекла та прямота, с которой Вольф-

¹ Крестьянин (нем.).

ганг говорил о своих заблудших соотечественниках. Его лицо выражало признание вины и просьбу поверить, что он, как и многие, многие другие немцы, хочет сделать все, чтобы его народ больше не проклинали, чтобы немцы могли не сторониться советских людей, а всегда идти с ними рядом.

Вскоре они заговорили о выставке картин Дрезденской галереи. Светлана с восхищением отозвалась о выставке и мягко упрекнула Вольфганга за то, что он не посетил ее. Вольфганг отшутился:

— Я хотел, чтобы вместо меня наши картины посмотрел хороший москвич. На родине я обязательно их посмотрю.

— А в Третьяковской галерее вы были?

— Был один раз, бегом, бегом.

— У... так нельзя. Если хотите... я буду вашим гидом.

— О да, о да! — с восторгом согласился Вольфганг.

У подъезда дома, в котором жила Светлана, они распрощались по-дружески.

7

Хотя Кучару и удалось изменить ход заседания кафедры, по пути домой он приуныл. В течение трех лет он редко позволял себе свободный вечер, выходной день, не раз укорачивал отпуск. Многие обдумал, рассчитал и написал. Уже близка была цель, к которой он стремился, — докторская диссертация. И вот за то, что он хотел исследовать и дать в ней, решили взяться другие. Он знал, что рано или поздно это должно произойти, ибо для всех людей существовала огромная опасность — война, начало которой может многое предопределить во всем ее ходе и исходе. Скоро, очень скоро люди поймут это, и, поскольку миллионы бьются над тем, как отвлечь опасность, а если война случится — уменьшить ее опустошения, они не будут ждать, когда он один закончит исследование. Не только требовать, но даже просить их подождать нельзя. Все это Кучар хорошо понимал, и все же было невесело на душе, будто из нее уже вынули то, чем он жил многие годы. Вероятно, его включат в авторский коллектив. А сбудется ли тогда мечта самому сказать что-то новое, действительно равное большому научному открытию? Не случится ли худшее: Мо-

наков возьмется писать основные главы (теоретик кафедры), а ему придется писать то, что дадут, и не так, как хочется? Писать же что-нибудь — Кучару не хотелось.

Более недели он ждал приглашения Монакова обсудить содержание научного сообщения, которое, как Кучар считал, они должны были готовить вдвоем.

В середине следующей недели Кучар пошел на заседание Ученого совета академии, где защищалась диссертация на военно-историческую тему. Диссертант разбирал действия одной нашей армии, которая, отступая, долгое время сохраняла инициативу и свободу действий, благодаря чему провела несколько удачных оборонительных сражений.

Монаков в то время служил в штабе этой армии. Доклад он слушал со скептической усмешкой. Лишь изредка в его выпуклых глазах можно было уловить какую-то внутреннюю тревогу — будто полковник ожидал, что диссертант вот-вот в чем-то обвинит его лично.

Когда доклад был окончен, Монаков задал вопрос: как расценивает диссертант поражение армии при отходе ее на Десну и какими документами он располагает.

— Основная причина поражения армии, — ответил диссертант, — состоит в том, что корпус, которому было приказано оборонять рубеж по реке Лузь, задержался с отходом. Немецкие войска обошли его и таким образом расчленили силы армии. Результат — окружение и уничтожение корпуса, а затем и большей части сил отходящих соединений. Почему не отошел корпус, мне выяснить не удалось. В то время в штабе армии ходила версия, что командующий корпусом комбриг Душкин оказался предателем. Но... согласиться с ней у нас нет достаточных оснований.

— Как? — вырвалось у Монакова. — О добровольной сдаче Душкина в плен немцы писали в листовках, кричали по радио.

— Так они поступили и с генерал-лейтенантом Карбышевым.

В перерыве Кучар обратился к Монакову:

— Какой будет итог голосования?

— Трудно сказать, — пожав плечами, ответил Монаков. — Уважаемый диссертант пытается на клочках ар-

хивных бумаг и на своих догадках создать научный труд.

— Но у него есть и остроумные догадки.

— Догадки есть догадки, — раздраженно ответил Монаков и пошел к кабинету ученого секретаря Совета.

Кучар понял, что Монаков не желает с ним разговаривать на эту тему. Но ему нужно было еще выяснить, когда же они соберутся поговорить о научном сообщении, и потому он направился за полковником.

— Я вам нужен? — удивленно спросил Монаков.

— Семен Семенович, на заседании кафедры было решено написать научное сообщение, и, поскольку я внес это предложение, естественно, мой долг самому отработать свою долю.

— Я не сторонник индустриальных методов творчества.

— Я тоже собирался весь труд написать сам. Но...

— Вы хотите, чтобы в научном сообщении была и ваша точка зрения?

— В некоторой степени.

— Будет, я ее понял и изложу.

— Зачем же? Я думаю, работая вместе, мы могли бы обмениваться мнениями. Кое в чем, может быть, вы меня убедите, а кое в чем — я вас.

— А не кажется ли вам, дорогой подполковник, что, убеждая друг друга, мы будем больше спорить, чем писать?

— Ну и что же?

— А сроки? И потом — не люблю споров и всяких заседаний. Извините, мне надо проголосовать за кандидата в кандидаты.

— А как же насчет научного сообщения?

Монаков сделал вид, что не расслышал последнего вопроса.

О выходе из печати научного сообщения Кучар узнал по объявлению в библиотеке. Он тут же взял его и ушел в читальный зал. Прочтя несколько страниц, подполковник, несмотря на неприязнь к Монакову, согласился, что сообщение написано хорошо. В нескольких абзацах автор убедительно обрисовал всю бедственность положения войск отдельных стран в начале про-

шлых войн. Историзм брошюры захватил и не отпускал его. Но где-то в глубине сознанияросло желание самому сделать выводы из фактов, приведенных автором в сообщении.

Кучар отодвинул отпечатанную на ротаторе брошюру и задумался. Сделанные Монаковым выводы казались внушительными, но в них ощущалась бутафорская легковесность. Однако в чем она состоит, Кучар не смог уловить. Недовольный собой, он встал, потянулся за папиросой, но вспомнил, где находится, и вышел на лестничную клетку. Никого не замечая, до самого мундштука выкурил папиросу. Очнулся, когда едкий дым паленой бумаги запершил в горле. А в голову все еще не приходило ничего такого, что можно было бы противопоставить выводам Монакова.

Вернувшись к столу, Кучар спросил себя: а зачем, собственно, их опровергать? Из истории Монаков, вероятно, сделал правильные выводы. Но ведь ни одна война никогда не походила на следующую за ней. Значит, выводы из минувшей войны не могут служить рецептами для будущей. Как это вылетело у него из головы? Новые рекомендации, уставные положения должны выводиться не столько из опыта прошлых войн, сколько из анализа влияния на боевые действия войск новых средств всоруженной борьбы. Все ли здесь приведено Монаковым в соответствие?

И Кучар решил: снова, теперь медленно, прочитать брошюру. Однако желание быстрее узнать, как же автор представляет себе влияние новых средств борьбы на будущие военные события, невольно заставляло перелистывать страницу за страницей. Но вот Кучар стал останавливаться, заново перечитывать страницы, чтобы проследить путь, по которому идет автор сообщения от посылок к выводам, сопоставить первые со вторыми. И тут он обнаружил приблизительное, вернее, кажущееся соответствие. Монаков, отлично зная формулу Энгельса о том, что тактику и стратегию двигают оружие и люди, в послылках говорил о новых средствах поражения, созданных в последнее время: о ракетах и ядерном оружии. В итоге же — новые средства борьбы приспособлял к старым формам ее ведения.

Обсуждение научного сообщения было назначено на вторую половину дня. В аудитории, имеющей форму

куба, в котором сверху вниз, к кафедре лектора, спускались ряды скамеек с откидными столиками, собралось немало народу: вся кафедра общей тактики и оперативного искусства, представители от других кафедр, адъюнкты и слушатели. Здесь же были Стрельцов и Майер.

Сверху по ступенькам быстро спустился Дубков. Он окинул собравшихся строгим и в то же время тревожным и настороженным взглядом. Открылась нижняя дверь, и в аудиторию вошли два генерала: заместитель начальника академии — высокий моложавый мужчина с улыбочными глазами и недавно прибывший в академию начальник политотдела — низенький, с большой бритой головой. Преподаватели привычно встали. Шум утих, едва возникнув. Когда Дубков начал доклад о цели сбора кафедры, заместитель начальника академии с удовлетворением и дружеским укором переводил взгляд с губ Дубкова на его орденские планки, начальник же политотдела отступил назад, как бы сторонясь потока громких слов.

Дубков объявил порядок обсуждения и предоставил слово Монакову. Тот выпрямился, поправил галстук и степенным шагом взошел на кафедру. Сделав поклон в сторону генералов, он приступил к изложению основных положений научного сообщения.

Лекторское мастерство сглаживало недостатки содержания, и у Кучара возникло опасение, что те, кто не успели внимательно прочитать брошюру, не сумеют разобраться даже в наиболее опасных ошибках Монакова.

Прения начались вяло; первые выступавшие говорили самые общие слова, то ли не разобравшись в содержании сообщения, то ли не решаясь с необходимой прямоотой высказать свои замечания. Ведь на титуле брошюры, несмотря на то что доклад делал Монаков, стояла фамилия генерала Дубкова, начальника кафедры. А критиковать начальника категорически запрещалось рядом выступлений и приказов маршала Жукова. Правда, прямо он не говорил, что его требования распространяются на научную деятельность, но принятые им меры по ограничению возможностей для выражения коллективного мнения проникли и в академию. Нашлись их защитники, и спорить с ними было нелегко. Поэтому люди предпочитали высказывать свои замеча-

ния в форме пожеланий и намеков, которые, кому нужно, расценивались как проявление критики, активности и полного благополучия; на самом деле они были не более, чем пилюли от легкого недомогания, а не средство против серьезной болезни.

С каждым выступлением Дубков все более успокаивался. Спокойствие Дубкова и строго-гордые взоры Монакова, которые он бросал на присутствующих, начали раздражать Кучара. Он поднял руку, но Дубков долго, пока начальник политотдела генерал Полетов легонько не подтолкнул его локтем, не замечал ее. Вмешательство Полетова, чуть-чуть добродушное и чуть-чуть недовольное, понравилось Кучару. Не выдавая своего отношения к происходящему, начальник политотдела спокойно слушал выступающих. Лишь один раз, когда Алов явно перехвалил авторов научного сообщения, он склонил голову и что-то записал себе в блокнот.

Наконец Дубков назвал фамилию Кучара. Сдерживая себя, подполковник бесшумно опустил откидной столик и медленно пошел к кафедре.

— От доклада и выступлений предыдущих товарищей, — начал Кучар, — веяло таким спокойствием, будто мы обсуждаем здесь проблемы защиты от гнуса. Сорок первый год принес нам — и это не преувеличение — две трети всех бед и потерь. Если бы начальный период Великой Отечественной войны сложился для нас вдвое легче, фашистская армия не подошла бы ни к Ленинграду, ни к Москве. Как ни блестяща битва на Волге, но лучше, если бы ее не было. А ее могло не быть, если бы в сорок первом году противник не вышел к Харькову и Ростову. В грандиозном наступлении от Волги до Эльбы мы показали свою великую силу. Но не надо забывать, что великую силу мы и выложили...

Такая оценка битвы на Волге неприятно задела присутствующих, многие из которых были ее участниками. Пусть то, что сказал Кучар, правда, но разве нельзя было сказать по-другому, уважительно, в конце концов мягче?

Кучар уловил реакцию слушателей и, чтобы не подумали, что он оговорился, после небольшой паузы сказал:

— Я с намерением упомянул о наших больших жертвах в Великой Отечественной войне. Если мы будем

очень спокойно исследовать проблемы начального периода войны, в будущем жертвы могут быть в десятки раз больше. После такого тяжелого урока, как сорок первый год, для нас, военных теоретиков, это было бы равносильно преступлению.

Когда Кучар перешел к критике научного сообщения, аудитория притихла, отчего слова его звучали сильнее и резче.

Уже начало выступления Кучара заставило насторожиться генерала Дубкова. Генерал отодвинул блокнот и хмуро уставился на подчиненного. Он хотел перехватить взгляд подполковника и дать ему понять: говорить — говори, но не заговаривайся. Однако Кучар упорно смотрел в зал, и Дубкову казалось, что он нарочно избегает его взгляда. Генерал уже хотел было бросить реплику, но тут к нему с недоуменной улыбкой обратился заместитель начальника академии генерал Сизов:

— Что это он у вас сегодня такой?

— Хотел быть автором, но обошлись без него. Видно, копит работы, чтобы проложить свою дорогу на научный Олимп.

— Да?!

По полуудивленному «да» Дубков не мог понять, согласился или нет с его мнением заместитель начальника академии. Пока он обдумывал, стоит ли остановить подполковника, тот уже перешел к изложению своих взглядов на характер начального периода войны, и момент для возражения был упущен.

Генералу Дубкову хотелось не только возразить Кучару, но и остановить этого подполковника, посмеявшегося разразиться безудержной критикой. В гневе он не замечал того, что Кучар основным виновником неудачного научного сообщения назвал полковника Монакова. Не замечал он и того, что в доводах подполковника есть много разумного и трудно опровержимого. Может быть, раздражение генерала было бы не столь сильным, если бы на заседании кафедры не присутствовали заместители начальника академии. Раз его работу критикуют на кафедре, думал Дубков, может создаться впечатление, будто он не пользуется должным авторитетом.

Дубков уже дважды намеревался прервать Кучара, но оба раза, посмотрев в сторону генерала Полетова, сдержался. Черт знает, как он посмотрит на это.

Долго крепился генерал и все же не выдержал, преврал Кучара:

— Товарищ подполковник, вы хорошо понимаете дух приказа и требований Министра обороны об укреплении единоначалия?

— Понимаю, — не сразу ответил Кучар, сообразив, на что намекает начальник кафедры.

— Так что же вы разошлись?

— Я критикую научное сообщение. Разрешите мне закончить? — упрямо проговорил Кучар.

Дубков понял, что подполковник без нажима не откажется от своего намерения. Однако потребовать, чтобы Кучар изменил тон выступления, Дубков не решался — его сдерживало присутствие заместителей начальника академии. «Да и преподаватели, — думал он, — чего доброго, могут воздержаться от выступлений. А это уж... молчаливый отказ войск идти за своим командующим». Поэтому Дубков, скрепя сердце, разрешил оратору продолжить выступление.

Остановив Кучара, Дубков расстроил ход его мыслей. С минуту подполковник говорил сбивчиво, но вот он оправился, речь его стала сдержаннее, а замечания, наоборот, — более меткими.

— Все мы признаем, что новые средства борьбы обладают огромной мощностью. Но когда надо прямо сказать, какие же они внесут изменения, некоторые теоретики никак не могут оторваться от многовековых принципов военного искусства, ставших, так сказать, классическими и потому кажущихся неизменными.

Всмотритесь внимательно в схемы наступательных операций периода Великой Отечественной войны и предложенные полковником Монаковым. Они близнецы. Различие их только в том, что стрелы стали чуть длиннее и менее изогнутыми. Но по тем и другим схемам крупные группировки войск переходят к действиям после длительной подготовки и на сплошном фронте, что позволяет противнику поразить переуплотненные боевые порядки небольшим количеством ядерных средств. Авторы не учитывают возможности создания огромных зон радиоактивного заражения, поражения оперативного и стратегического тыла, резервов, что может привести к боевым действиям в изолированных на определенное время районах.

А как рекомендуется применять ядерные средства и ракеты? Обычными зарядами по мелким целям, которых на поле боя несчетное количество, и потому атомных средств всегда не будет хватать. А стоимость его почти такая же, как и крупного. Предложенный способ применения атомных боеприпасов, как это доказывает координатный закон, не может дать высокой степени поражения противника...

«Слушать разнос дальше, — подумал Дубков, — значит, потакать нарушителю требований Министра обороны».

Генерал встал и, сдерживая рвущийся наружу гнев, обратился к аудитории:

— Подполковник Кучар говорит уже вдвое дольше, чем предусмотрено регламентом. Нам давно пора сделать перерыв. Думаю, оратору следует закругляться. К тому же, он не собирается уезжать из Москвы, недосказанное выскажет в другой раз.

Приняв безмолвие, воцарившееся в аудитории, за изъявление согласия, Дубков кивнул в сторону Кучара. Подполковнику ничего не оставалось делать, как сойти с кафедры.

Захлопали крышки откидных столиков. Преподаватели, вполголоса переговариваясь, потянулись к двери. Дубков прислушался к тихому жужжанию и уловил нотки недовольства. «Ничего, — подумал он, — на свежем воздухе успокоятся».

Закурив, генералы вышли в коридор.

— Как ваше впечатление? — обратился Дубков к заместителю начальника академии.

— Делимся, делимся, — ответил тот.

— Откровенно говоря, поведение этого Кучара мне кажется... — Дубков хотел сказать «возмутительным», но понял: это слово прозвучит слишком резко. Поэтому он не договорил конца фразы и вопросительно взглянул на Полетова. Заметив в глазах начальника политотдела лукавую усмешку, Дубков поспешно проговорил: — Я год как из войск, вы — месяц. Разве там подобные разглагольствования допустимы?

— Случается и там. Рвутся в бой.

— Ну, это любители поговорить.

— А что, разве плохо, если такое важное сообщение люди обсудят со всех сторон?

— Единоначалие — генеральный путь в нашей армии. Никому не позволено критиковать начальника, командира, а тем более обсуждать его приказ.

— Так критикуют же научное сообщение.

— За научным сообщением стоят руководители кафедр. Критика подрывает сам принцип единоначалия.

Полетов прищуренными глазами посмотрел на Дубкова и понял: генерал стоит и будет стоять на своем. Такова сейчас линия военного руководства — Министра обороны Жукова.

После перерыва первым выступил полковник Дука. Со свойственной ему грубоватостью он сначала обрушился на Монакова.

— Наш профессор наговорил ворох красивых слов. Ну прямо заслушаешься! А где суть, зерно сообщения? Найти его весьма и весьма трудно. В этом я согласен с подполковником. Косись не косись на меня, Семен Семенович, но скажу прямо: концы с концами в научном сообщении не сведены. Вначале сказано: ядерное оружие может разрубить любую оборону на куски. Верно. Ну, а какие сделаны выводы? Траншейки, полосы, прорыв, прогрызание — старые лошадки.

В конце выступления полковник поднял вверх руку и, обращаясь в сторону Кучара, громко произнес:

— Хотя молодой ученый и прихватил меня в свои союзники, даже похвалил, расписываться под всем тем, что он тут сказал, я не собираюсь. Принимать решение с помощью машины — мальчишеская чушь. Как сможет машина оценить сотни оврагов, разбитые дороги, замысел противника, думки и дух людей?

— А сможет ли командир оценить обстановку и принять правильное решение в минуту?.. — раздалась реплика из задних рядов.

— Сможет, если он не заяц, — ответил Дука, не дослушав реплики.

— Раньше, когда основные события боя решались у него на глазах, может, и мог, — возразил ему тот же голос.

Возражавший поднялся. Это был секретарь партийной организации, болезненный на вид полковник Козицкий, бывший начальник штаба корпуса, в котором он, Дука, командовал дивизией. Наступила неловкая тишина.

— Прошу извинить, Илларион Матвеевич, реплика

вырвалась произвольно. Ведь Кучар сказал о машинах не совсем то, что вы ему приписали. Но если говорить откровенно, я уверен, что машина в дальнейшем сможет очень много дать для принятия обоснованного решения. И сделает это лучше, а главное во много раз быстрее, чем средние подготовленный офицер, поскольку создадут ее люди, обладающие и большими знаниями и большим опытом. Умного командира она, конечно, не заменит. Но умный командир от нее тоже не откажется. В скоротечном бою она может быть ему незаменимым начальником штаба, как полковник Русаков для вас, Илларион Матвеевич.

Возражение Козицкого и особенно его напоминание о полковнике Русакове, который немало помогал ему, Дуке, на фронте, смутило оратора. Бросив на Козицкого укоризненный взгляд за упоминание о прошлом, Дука со словами: «Русаков же был живой человек», сошел с трибуны.

Выслушав Козицкого и молодого адъютанта, который, ссылаясь на информацию иностранной печати, выступил в поддержку Кучара, генерал Звездин решил, что он не может оставаться безучастным в этом споре. Ведь сорок первый год полоснул его так, что он едва жив остался. А в будущем все может быть сложнее и страшнее, и промолчать он не имеет права.

Выступить Звездина просили и молчаливые взгляды генерала Дубкова. Но плохо скрываемое начальником кафедры недружелюбное отношение к Кучару и к тем, кто разделял точку зрения подполковника, удерживало Звездина. А Дубков, как будто разгадав его колебания, предоставил ему слово вне очереди, сразу же после того, как закончил свое выступление адъютант.

Это немного обескуражило Звездина. Он знал, о чем должен сказать, но не успел как следует продумать последовательность выступления. Спускаясь к кафедре, он еще продолжал обдумывать тезисы своей речи. «Начну с веры в новую технику. Козицкий, конечно, прав. Потом отмечу разницу в восприятии войны молодым и старшим поколениями. И только после этого о главном».

Звездин начал тихо, немного неуверенно:

— Я бы не хотел, чтобы молодые люди восприняли мое выступление, как нежелание поверить им лишь потому, что они моложе меня. Хоть и трудно представить себе,

как машина будет принимать решение в бою или операции, но я все же верю в это. Верю потому, что в наше время очень часто и быстро невозможное становится возможным. Вчера, как все вы слышали, была запущена ракета, которая прошла почти десять тысяч километров. Может быть, через месяц — два полетит спутник.

Звездин посмотрел в зал, пытаясь отыскать Кучара. Ему очень хотелось проверить именно на этом волевом подполковнике, так ли, как он того желал, восприняли собравшиеся его слова или же в этих словах усмотрели только попытку отмежеваться от Дубкова. Подполковник напряженно вслушивался в речь Звездина, и это несколько приободрило генерала. Изложив далее свое понимание начального периода войны, Звездин снова посмотрел на Кучара. Но теперь на лице подполковника, особенно в его глазах, он прочел разочарование. Звездин смутился и запнулся. Его рябоватое круглое лицо потемнело от прихлынувшей крови. И он, не желая того, обратился к Кучару, будто тот бросил ему реплику.

— Я знаю, вы, товарищ Кучар, честно провоевали четыре года. Ни у кого нет оснований обвинить вас в незнании войны. И у меня их тоже нет. Но согласитесь, что в те годы вы были молоды. Фронтовая жизнь с ее скудными человеческими радостями увлекала вас сильнее, чем людей старшего поколения. Вы, вероятно, не всегда пристально всматривались в происходящее и потому могли и не увидеть подлинного значения некоторых событий, того действительного их значения, которое они имели в прошлой войне и несомненно будут иметь в будущей, если она возникнет. Это моральные силы армий и тыла, о которых у нас немало говорят в превосходной степени, но которые часто все же не учитывают, не переводят в материальную силу в своих теоретических разработках и при решении практических задач. Моральный фактор в наших военных трудах нередко только подразумевается. В лучшем случае, о нем упомянут несколькими громкими фразами. Причем в том и другом случае моральные силы людей на войне рассматриваются всегда неизменными. Их не уменьшает ни боевое напряжение, ни физическая усталость, ни даже сотни атомных бомб. Вы тоже, товарищ Кучар, в своих расчетах моральный фактор держите только в уме и забыли кое-где приплюсовать его или отнять. Видимо, от этого возникли у вас обособленные

районы обороны, ведение боевых действий по направлениям. Не опасна ли такая легкость в проведении маневра в глубину, связанная с оставлением подготовленных позиций? Оправдывая сдачу километров, можно еще раз очутиться если не у Волги, то на Днестре. Снова нужны будут нечеловеческие усилия, чтобы вернуть потерянное при проведении таких маневров.

Генерал Звездин перешел к примерам, которые, как он считал, должны были подкрепить его слова. Каждый преподаватель, в том числе и Кучар, знал немало аналогичных примеров. Впрочем, как и примеров совсем иного порядка. При их помощи можно было доказывать прямо противоположные вещи. И тем не менее половина присутствующих согласилась со Звездиным. Но Кучар не изменил своего мнения. Только глаза его стали более безразличными ко всему происходящему вокруг.

Чувствуя, что приведенные им примеры не всех убедили, Звездин продолжал:

— Конечно, мои примеры вас не удивили, с каждым случалось и худшее и лучшее. Давайте попытаемся вспомнить наши чувства и мысли в трудные моменты боя. Может быть, это поможет нам лучше понять степень воздействия новых средств поражения на людей и найти более верное решение задачи по использованию войск в начальный период войны.

Анализ первого же боевого примера, позволившего Звездину удивительно точно показать психологию людей, переживающих внезапно возникшую опасность, степень снижения боеспособности, заставил Кучара забыть все, что он только что думал о генерале. Звездин раскрыл перед ним новые стороны, новые причины побед и поражений в бою. И как часто бывает у людей ищущих, но не убедившихся еще окончательно в том, что найденное — истина, Кучар заколебался в своих расчетах. Действительно, как быть с моральной силой, духом человека? Ведь если, например, правильно построить оборону, можно избежать больших потерь. И все же, когда на необстрелянную дивизию противник обрушит десяток бомб и вся полоса обороны окажется под сплошным облаком пыли и дыма, какими будут люди? Какой математической величиной можно будет выразить боеспособность больших и маленьких воинских организмов?

Теперь Кучар слушал генерала не очень внимательно.

Он лихорадочно искал ответ на мучивший его вопрос: как перевести на язык математики духовный склад человека, массы людей? Ведь люди разные, хотя любовь к отечеству свойственна, конечно, всем. Несмотря на то что Звездин критиковал Кучара довольно строго, подполковник теперь уже не испытывал неприязни к генералу. Наоборот, он был доволен, что генерал не только показал ему ту сторону военной жизни, которую он знал как аксиому, но и убедил, что многие аксиомы, столь очевидные при первом с ними знакомстве, требуют сложных доказательств. Такой аксиомой являлся моральный фактор. Значение его в бою бесспорно. Наполеон духовную силу к физической относил как три к одному. Тогда, в начале девятнадцатого столетия, такое соотношение, может быть, и было правильным. Скорее же всего, Наполеон назвал это соотношение, не задумываясь особенно, желая только подчеркнуть важность морального духа, а не установить точную математическую зависимость двух факторов.

Сейчас нужна точность. Без нее невозможно подсчитывать многие слагаемые боя и операции. А как же этого достигнуть? Как сравнить снаряд, атомную бомбу с человеческими нервами? Хотя Кучар верил в могучую силу математики, сейчас он сам заколебался.

Когда Звездин кончил, Кучар почувствовал резкую перемену настроения аудитории. То в стороне, то сзади он слышал колкие замечания:

— Поначитались модных книжек и несут черт знает что.

— Охотников воевать с помощью кнопок и до Отечественной войны было много!

Нелегко Кучару было выслушивать подобное; еще тяжелее было ему от сознания того, что такой человек, как Звездин, его не понял.

Полковник Саблин, внимательно следивший за ходом дискуссии, по тому, как реагировала аудитория на выступление Звездина, понял, что взгляды Кучара будут отвергнуты, если никто решительно не выскажется в их защиту. Новые идеи, давно уяснил Саблин, всегда трудно усваиваются людьми; ведь обычно новое — посягательство на правильное сегодня. К тому же военное искусство сейчас переживает такой период, что найти верный путь очень нелегко: многие направления кажутся заманчивы-

ми. Но из двух направлений, обсуждавшихся сегодня, более верное, безусловно, Кучара. Ошибка его в словах: «Старое оружие доживает свои годы». Нет, танки, орудия, пехота еще сослужат верную службу. Но этот заскок Кучара поправим. Надо спасти то, что у него верно. Дубков свое разумное отстоит сам. Возможностей у него больше — начальник.

Взявшись за края кафедры, Саблин нагнул голову, и это придало ему бодливый вид. Помолчав, он вдруг заговорил резко, осуждающе:

— Каждый из нас вправе соглашаться или не соглашаться с Кучаром. Но нельзя его разносить и оскорблять за то, что он молодой и дерзнул преподнести нам урок, как надо подходить к исследованию новых явлений военного искусства. Смею заметить критиковавшим Кучара: он моложе вас, но далеко уже не юноша. За его плечами война. Шрамы от пуль и от осколков свидетели тому. Ему под сорок. Вы, полковник Дука, в таком возрасте командовали дивизией. Считали вы себя тогда мальчишкой? Думаю, за это слово не поздоровилось бы от вас любому. Почему же Кучар не может хотя бы ну... умно думать?

Саблин обвел аудиторию смелым взглядом, будто спрашивал: «Ну, кто возразит?» — и продолжал:

— Мысли Кучара новы, оригинальны, смелы! Не его беда, а беда некоторых выступавших с этой кафедры, что они не в состоянии или не хотят понять то, что он предлагает.

Саблин, скорее, для соблюдения приличия сделал еще несколько замечаний в адрес полковника Дуки, полагая, что этим он не причинит ему вреда, и только потом обрушился на Звездина.

Хотя тон выступления Звездина — достаточно корректный и мягкий — не давал повода для резкости, Саблин счел возможным употребить наиболее острые, быющие на внешний эффект выражения. Только так, полагал он, можно нейтрализовать сильное выступление генерала, попавшее в наиболее слабое место взглядов Кучара. При этом полковник нисколько не питал к Звездину неприязни или зависти. Наоборот, Звездину он симпатизировал.

Хлесткое выступление Саблина озадачило Звездина. Все, что было им сказано с целью помочь делу, по словам Саблина, выглядело далеким от науки дилетантским бормотаньем человека, живущего вчерашним днем.

— В военном деле с давних времен теоретические положения доказывались опытом минувших войн. Поэтому к каждой новой войне военно-теоретическая мысль подходила с довольно приближенными, а во многих случаях и просто с неверными представлениями о способах боевых действий. Каждая новая война без церемоний ломала, казалось бы, абсолютно верные положения. Военачальники и теоретики в сумятице и неразберихе сражений пытались отыскивать ключи к победе в бою, а сотни тысяч солдат в это время отдавали свои жизни. Именно это, а не открытые фланги, подрывало моральный дух бойцов, товарищ Звездин.

Отталкиваться только от опыта и умозрительного учета новых средств борьбы — значит создавать неточную картину будущего. Чего могут стоить даже небольшие теоретические просчеты в условиях массового применения новейших средств поражения, надеюсь, Иван Васильевич, вы себе представляете.

Военная наука принадлежала и все еще принадлежит к разряду неточных наук. Этому пора положить конец. Всем надо научиться считать наиболее совершенными методами. К несчастью, у нас много людей, которые всякий счет в военном искусстве отрицают лишь на том основании, что искусство и счет, по их мнению, вещи несовместимые, что искусство — область чуть ли не интуитивной деятельности творческой души. Поэтому решение оперативно-тактических задач способами и средствами математики они считают надругательством над деятельностью военачальников. Вы об этом не сказали, генерал Звездин, но такой логический вывод напрашивается из вашего выступления, поскольку вам не нравится расчетный метод доказательств. Но за разработку этого метода подполковника Кучара не ругать нужно, а благодарить!

Дубков не смог вынести этого и остановил Саблина:

— Вы перешли дозволенные границы полемики!

— Здесь, кажется, идет научное обсуждение важной проблемы. И позвольте мне высказать то, что я считаю нужным, — ответил Саблин с подчеркнутой независимостью. — Думаю, генералу Звездину не страшны мои слова. Если он найдет нужным, то сегодня или в следующий раз ответит мне должным образом.

Но Звездин не выступил. По дороге из академии Дубков упрекнул его:

— Что же ты вторично не попросил слова?
— Большого, чем ты, я бы ничего не сказал.
— Но все же. Они здесь привыкли разглагольствовать.

— Мне рано судить. Но Саблин отхлестал меня умело.

9

После бури обычно бывает затишье. Горячие споры на обсуждении научного сообщения сменились небольшими словесными стычками среди преподавателей, а затем наступило полное спокойствие, будто ничего особенного не произошло.

Как-то в коридоре Кучар обратился к Монакову:

— Какое принято решение?

— Вы о чем? — спросил в свою очередь Монаков, словно не догадываясь, что может интересовать Кучара. — А? Изучаю, изучаю. Говорили много, страстно, надо все оценить, обобщить... Этим сейчас и занимаюсь.

В конце недели начались ежедневные классные занятия. Кучару стало не до Монакова. Все свободное время он отдавал подготовке к очередным занятиям. Но Дубков о Кучаре не забыл.

Однажды генерал пришел на занятия в группу, которую вел Кучар. Резко открыл дверь. Прямой и строгий предстал он перед вскочившими на ноги слушателями. Неожиданное появление начальника кафедры вначале несколько смутило Кучара, но тут же он взял себя в руки — доложил генералу по всей форме и повел занятие с прежней уверенностью.

Некоторое время Дубков сидел молча, с сурово-недовольным видом, изредка делая пометки в своем блокноте. Заговорил он лишь после того, как Кучар вызвал майора Челышева, самого слабого слушателя группы. На фронте майор был тяжело контужен, но скрыл это при поступлении в академию. Давняя травма давала себя знать. Чтобы не отставать от однокашников, он занимался до изнеможения и в конце предпоследнего года слег в госпиталь. Спустя месяц, не отдохнув, приступил к занятиям. Он был еще слаб, и Кучар воздерживался давать ему полную нагрузку.

Оценку обстановки и выводы из нее майор делал сбивчиво. Кучар остановил его, поправил. Но майор опять не

смог четко изложить свои мысли. Тогда Кучар дал ему схему доклада и через несколько минут вторично вызвал его.

На этот раз майор значительно лучше построил свой доклад. Кучар обрадовался. Когда Челышев запнулся, он тут же задал ему наводящий вопрос, и, возможно, слушатель закончил бы доклад вполне удовлетворительно, если бы в это время не вмешался генерал Дубков.

— Что вы с ним возитесь? Он же не подготовился к занятиям.

— Он недавно из госпиталя, товарищ генерал, — объяснил Кучар.

— Раз на занятии, в строю, должен делать все, что определено заданием. Запишите его в классный журнал.

Жесткие нотки в голосе генерала не допускали возражений. Прежняя легкость в ходе занятия исчезла. Слушатели добросовестно искали решения, которые могли бы удовлетворить начальника кафедры. Поступать иначе они опасались: сделанное преподавателю замечание было строгим предупреждением и всем им.

Чтобы устранить наступившую скованность, Кучар поставил на обсуждение несколько новых вопросов.

Слушатели оживились, заговорили. Занятие пошло веселее.

Генералу не понравилось, что преподаватель несколько уклонился от основной темы. Он нахмурился. Кучар, увлеченный занятием, не обратил внимания на строго насупленные брови Дубкова, и тот подумал, что преподаватель игнорирует его. Генерал вспомнил, как он приезжал в войска, будучи командиром корпуса. Все тогда приходило в движение; он был не только в центре внимания, он был центром всего движения — большие и малые командиры бегали к нему и от него, как заведенные. А этот подполковник даже ухом не ведет.

Майор Челышев поднял руку. Кучар разрешил ему изложить свое мнение, и, когда тот начал, генерал резко спросил Кучара:

— Что вы здесь открыли дискуссионный клуб? Не забывайте, что вы не только преподаватель.

— Товарищ генерал, я поставил себя на место офицера штаба. Они имели право обсуждать мое предложение.

— Действуя так, вы не воспитаете из них волевых командиров. Потом, я же сказал, этот майор, — генерал

показал на Челышева, — не готов к занятиям. А вы ему опять разрешили говорить.

Замечание генерала снова внесло замешательство. Слушатели отвечали путанно, невпопад, то и дело с опаской поглядывая на начальника кафедры. «Теперь, — подумал Кучар, — вести занятие будет еще труднее». В запасе, правда, был испытанный прием: вызвать сильного и смелого слушателя, который бы показал, как надо держать себя в подобном случае. Таким был Стрельцов, который смело поглядывал на подполковника, давая понять, что готов показать поверяющему, какова в действительности группа и как она подготовилась к занятию. Но сегодня Кучару не хотелось прибегать к этому приему. И он назвал фамилию другого слушателя. Тот встал и, косясь на генерала, залепетал что-то бессвязное.

Кучар разрешил ему сесть и окинул недовольным взглядом группу.

— Вы что, генерала испугались? Он начальник, старший, но и наш товарищ. Как бы ни был строг генерал, настоящий бой опаснее. Взять себя в руки! Вы — командиры, будущие военачальники, полководцы. Командует капитан Стрельцов!

Стрельцов встал, поправил карту и начал докладывать расчет на перегруппировку.

Все это он проделал быстро и четко. Кучар задал несколько уточняющих вопросов и утвердил его соображения. Дубков даже не успел подметить недостатки. Кучар вызвал другого, сухощавого майора Струнникова. Тот громко, даже слишком, будто перед ним было по меньшей мере человек сто, принялся ставить боевые задачи. Кучар прервал его:

— Вы кому ставите задачу?

— Войскам.

— Правильно. Но через кого? Командира. Он рядом с вами? Вы его хорошо знаете?

— Конечно.

— Почему же вы так громко ему говорите? Не уверены в его исполнительности?

— Нет, лучший командир, — оживился слушатель.

— А если он лучший и вы к нему расположены, неплохо назвать его по имени-отчеству. Офицер — не абстракция, а живая душа. Хорошее слово — благодарность, признание его труда. Продолжайте.

Слушатель, стыдливо улыбнувшись, обратился к соседу, кряжистому подполковнику.

— Серьезнее! У вас сложное положение, — заметил Кучар.

Майор кивнул и спокойным тоном, просто и коротко поставил задачу. Когда с тем же самым он обратился к другому командиру, Кучар опять его прервал:

— Подчиненный вам офицер находится рядом с вами?

— Нет.

— Как же вы будете ставить ему задачу?

— По радио.

— По радио? А зачем же назвали его звание, фамилию? Один вы сможете быстро поставить задачу?

— Нет.

— Стало быть?..

— Надо опереться на штаб.

— Так давайте, опирайтесь.

В учебный процесс сразу было включено более половины слушателей. Класс пришел в движение, зашумел, напомнив Кучару напряженный момент работы командного пункта в бою или на полевом учении.

«Галдеж», — неприязненно подумал Дубков. — Так может вести занятия оторвавшийся от жизни войск офицер. Не по этой ли причине у него и теоретические заскоки?»

Зазвонил звонок. Кучар попросил разрешения сделать перерыв. Дубков кивнул головой и вышел. На ходу генерал достал папиросы, закурил, посмотрел на часы: тринадцать. «Пожалуй, достаточно. Картина ясна, одни разговоры».

— Я сейчас уйду, — сказал он подошедшему Кучару. — Впечатление не из отрадных: разговоры, как в гражданском институте. Так вы воспитаете болтунов, а не командиров.

Генерал испытующе посмотрел Кучару в глаза и, круто повернувшись, пошел по коридору той уверенной походкой, какой обычно ходят люди, убежденные в том, что они делают очень важное дело и делают его наилучшим образом. Слушатели поспешно сторонились, образуя узкий проход. Подполковник Кучар долго провожал удалявшегося начальника кафедры удивленным взглядом.

В субботу Лиза позвонила Игнату и попросила, чтобы он по пути домой заехал в магазин и кое-что купил: ей нездоровится, а дома ничего нет. Кучар переложил спортивные принадлежности из чемоданчика в ящик стола и уже хотел было уйти, но в это время легким, чуть пружинистым шагом в кабинет вошел Алов:

— Ты уже знаешь?

— Что?

— В приказе тебе выговорок.

Сочувственная улыбка Алова заставила Кучара отвернуться. Припомнилось замечание генерала: «Разговоры, как в гражданском институте... Воспитаете болтунов». Слова генерала покорили Кучара, и он с сомнением спросил себя: «За это? Не может быть! Я всегда учил слушателей умению коротко и точно выражать свои мысли. Не допускал многословия. Учил и требовательности, но не крикливо-самоуверенной и потому оскорбительной, а такой, которая помогает укрепиться в офицере лучшим человеческим качествам».

Не решаясь взглянуть в глаза Алову, Кучар спросил:

— За что?

— Говоришь много, нарушаешь устав... Что это ты вздумал советовать на занятиях обращаться по имени и отчеству?

— Что здесь плохого?

— Устав...

— Ты много слышал, чтобы уважающие друг друга командир дивизии и начальник штаба обращались по званию? А в штабе армии тем более.

— Там же солидные люди, а не твои птенцы.

— Эти птенцы скоро станут большими командирами! — раздраженно ответил Кучар.

— Понимаю, но при чем тут я? — с деланным недоумением шутливо упрекнул его Алов за резкость.

— Верно, ты здесь ни при чем...

Наступило молчание. Кучару не хотелось говорить, а Алов ждал, пока тот успокоится.

— Зачем ты лезешь на рожон? — полушутя, полусерьезно спросил Алов, когда Кучар устало опустил на стул. — Чего тебе еще надо?

— Зачем ты приехал в академию?

— Тебе как — письменно или устно?..

— Как угодно.

— Сделать открытие в области способов боевых действий в начальный период войны, — уклончиво и в то же время с насмешкой ответил Алов.

Кучар уловил неискренность в словах Алова, но не стал его уличать. Своя невзгода сдавила грудь. Не поднимая головы, сказал:

— А мне просто хочется сделать людям что-то хорошее.

— И для меня? — В глазах Виктора промелькнуло что-то похожее на участие.

— Судя по приказу, для тебя моего педагогического умения не хватит. Ладно, надо идти — Лизе нездоровится, — примирительно ответил Игнат.

Идя по коридору, Алов намекнул:

— Ты догадываешься, куда старик гнет?

Кучар кивнул головой, и Алов решил, что можно сказать о случившемся более откровенно.

— Намекнуть?

— Ни при каких обстоятельствах! — резко ответил Кучар и тут же сменил разговор: — Ты сейчас куда?

— В клуб.

— Ну, будь здоров.

Домой Кучар вернулся угрюмый. В прихожую вскочила дочка и бросилась к нему. Он прижал ее к себе, на душе стало немного легче. У соседей дверь была полуоткрыта. Он заглянул в просвет. Евгений читал газету. Обида, искавшая выхода, потянула Игната к другу. Он постучал и с дочкой на руках вошел в комнату.

— Добрый вечер, — обратился он к Юлии, жене Евгения.

— Добрый, — проговорила та сухо и вышла из комнаты.

— Не в духе? — спросил Игнат.

— Не разглядел еще.

— Повздорили?

— Не спрашивал. Что нового? — Сосед снял очки и стал протирать их носовым платком.

— Сегодня получил выговор за плохое преподавание.

— Ты?!

— Я. От начальника кафедры.

— Очередное проявление его армейской ортодоксальности... Или были основания?

Игнат ответил не сразу. То, что с ним сегодня случилось, подтверждало мнение Евгения, что ему, Игнату, надо уходить из академии, где он не в состоянии сосредоточиться на научном исследовании важной темы. Но уходить не хотелось, что-то удерживало. Игнат знал, что Евгений не причисляет его к людям, которых определял он словом «армейский», что означало — резкий, самоуверенный. Однако отделять себя от них Кучар не хотел. С армейцами прошел он всю войну и знал иную цену резкости и тому, что Евгений называл самоуверенностью.

— Оснований нет, но... доказать его неправоту мне трудно.

— Но не невозможно?

— Возможность одна — вовлечь в эту распря слушателей.

— Если нет другого пути, почему не использовать этот?

— Нельзя.

— Они не дети.

— Все равно. Им ехать в войска. Подрывать веру в старших командиров — вредить армии.

Евгений отвернулся. Аргумент Игната он считал неубедительным и нелогичным. Исключив из спора слушателей, Игнат, по его мнению, им же приносил вред: увидев, что их преподаватель молча стерпел незаслуженную обиду, они будут поступать так же.

В двери показалась Лиза, расстроенная, с небрежно подвязанным фартуком.

— Почему ты здесь, а не дома?! — проговорила она сквозь слезы.

— Случилось что? — Игнат попытался взглядом удержать жену от опрометчивого поступка.

— Не смогла убрать кухню и уже выслушиваю упреки: «Не в деревне живем!..»

Лиза взяла дочь и ушла, но ее резкий голос продолжал дребезжать в ушах Игната. Выходка жены была столь бестактна, что не хотелось подниматься. Остаться тоже было неприятно. Посидев несколько минут, он, не простившись, направился к себе.

Переступив порог своей комнаты, Игнат тяжелым взглядом посмотрел на Лизу. Та сжалась, будто он поднял на нее руку. Она уже поняла свою оплошность, глазами просила упрекнуть или даже обругать ее, лишь бы

не повторилось то время, когда он месяцами смотрел на нее, как на чужую женщину.

11

В ранние октябрьские сумерки переулок, обычно тихий и безлюдный, заполнился молодежью. Вереницы юношей и девушек сливались у высокого желтого здания — клуба академии, образуя толпу, которая медленно поглощалась дверью, строго охраняемой двумя рослыми солдатами.

В стороне Алов увидел Светлану и немецкого офицера, которого он однажды встретил у Игната.

— Добрый вечер, Света! Тебя не пропускают?

— Билеты у нашего знакомого... а он где-то задержался, — с запинкой проговорила Светлана, смущенная и недовольная двусмысленной улыбкой Алова, с которой тот оглядывал ее и Вольфганга.

— Офицеру опаздывать на встречу нехорошо, — с той же улыбкой пожурил Алов. — Сейчас все устрою.

Алов протиснулся к солдату и потребовал пропустить своих знакомых.

— Ничего не знаю, давайте пригласительные билеты.

— Ты как разговариваешь с офицером! — грозно прикрикнул Алов, рассчитывая, что солдат испугается и исполнит его требование.

— Виноват, товарищ подполковник, — извинился солдат. — Приказано никого без билетов не пропускать.

— Меня одного пропустишь? Я тебе десяток принесу.

— Пожалуйста.

Через несколько минут Алов действительно принес целую пачку пригласительных билетов.

Фойе и залы быстро заполнялись молодежью, в основном студентами. Первые шаги их были робкими: как-никак, попали в военную среду, не промахнуться бы...

Но уже беглое знакомство с клубом и наблюдение за его хозяевами — слушателями академии — убедило студентов, что опасения их лишены каких-либо оснований.

Студенты без особых усилий оттеснили слушателей к стенам фойе и танцевального зала. А когда джаз заиграл фокстрот, они заполнили весь зал — одни носились, как в поисках билета на международный футбольный матч, другие — едва передвигали ногами. Постепенно включились в танцы и офицеры.

Генерал Полетов, сверкая до блеска выбритой головой, вошел в зал, когда перемешавшиеся в танце военные и студенты танцевали падекатр. И сразу же его покорила чей-то нагловатый голос:

— Пошли. Дураков увлекают, чтобы терпеливо слушали бормотание старичков о том, какие они были хороши.

Говорил долговязый юноша в узких рыжеватых брюках. Один из окруживших его юнцов, заметив остановившегося возле них генерала, толкнул говорившего в бок.

— Подумаешь, видали! — ответил тот с еще большей развязностью. — Старички они все праведные: отгрешили в свое время. Дед Сталин много правильных слов говорил, а сам что вытворял...

Полетов обратился к молодым людям:

— Разве у нас вам не интересно?

— Вообще-то, ничего. Но только наши партикулярные платья недостаточно хороши для такого бала.

Молодые люди ушли. Разговор не состоялся... Узнать, почему у них такое отношение к старшим, не удалось. Это огорчило Полетова. И хотя сотни весело танцевавших как бы доказывали, что ушедшие были исключением, генерал не мог успокоиться. Он пристально разглядывал танцующих, стараясь определить, остался ли среди них хоть кто-нибудь похожий на ушедших.

Поднимаясь на сцену, Полетов обдумывал свое вступительное слово, отыскивал в памяти то интересное, что могло бы связать его, представителя первого поколения комсомольцев, с этими юношами и девушками, с шумом и гомоном заполнявшими зрительный зал.

Зал долго гудел, не хотел униматься. В проходах сновали, перекликались, отыскивали свободные места. Увидев на сцене генерала, заторопились, особенно когда шепотом и окриками их стали подгонять сидящие. «Это хорошо, что сами наводят порядок», — мелькнуло в голове у Полетова. Мысль ему понравилась, и он взял ее для начала своего выступления.

— Итак, совместными усилиями — я терпеливым ожиданием, вы активным вмешательством — мы навели в зале необходимый порядок.

Полетов присмотрелся к залу: две тысячи глаз с интересом смотрели в его сторону.

— Может быть, было бы лучше, демократичнее, если бы сегодняшний вечер встречи комсомольцев четырех десятилетий открыл представитель того поколения, которое представлено в нашем зале наибольшим числом. Но эта мысль мне пришла минуту назад. Менять намеченный порядок — терять время. Думаю, вы доверите мне быть главой нашего вечера: в свое время я был комсомольцем, следовательно, в известной мере сохранил право быть вами избранным.

Шумом и аплодисментами зал выразил одобрение.

— В классической и современной литературе, — продолжал Полетов, — многие романы и пьесы построены на конфликте между отцами и детьми. Отцам в них, как правило, не везет: чаще всего они показаны ретроgrадами и консерваторами. Помните, родители Ромео и Джульетты предприняли все, чтобы разлучить юношу и девушку. Но те предпочли смерть жизни в разлуке. Иван Сергеевич Тургенев спору между отцами и детьми посвятил свой лучший роман. В темном царстве старого погибла Катерина Островского. Не один дряхлый брюзга описан и советской литературой.

Сегодня в танцевальном зале мне довелось услышать горькие для меня, отца, слова. Значит, и среди вас есть такие, которые называют, может быть, не очень часто и не очень громко нас, отцов, старомодными дядями, бородами старцами, консерваторами, а иногда и похуже.

По залу пробежал смешок. Улыбнулся и Полетов, но, только губами, чтобы не свести разговор к шутке.

— Говоря откровенно — к старому нас, стариков, тянет не только привычка. Модные брюки старики, скажем, одевают не первыми: старая мода нам милее, она напоминает прежние, более молодые годы, и при всей моей любви к спорту я уже не решусь «задрать штаны»; как писал Есенин, бежать... стометровку. Предпочту сидеть и смотреть на бегущих. Бит и калечен в трех войнах, и вес уже не спринтерский. Но у нас прочно отложилось понятие о хорошем и плохом, как надо жить, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитую жизнь. Ведь мы прошли жизненную школу вместе с Николаем Островским. Свой опыт, свои знания мы стремимся передать вам. Правда, не всем молодым это нравится. Те, что неслестно отозвались об отцах, ушли. Их всего пять. Вас больше — тысяча.

Вот что сказал о стариках Лесков: «Плохая та страна, где старики плохи».

Наши советские старики свершили самую человеческую революцию. Дважды отстояли Родину от страшной опасности, немало построили. Значит, наши старики совсем неплохие. Сегодня они пришли рассказать вам о том, что и как они сделали за сорок лет, поделиться с вами своим богатством. Думаю, вам будет интересно послушать их...

Ответ из зала пришел не сразу. В одобрительных хлопках, шуме и улыбках Полетов уловил интерес молодежи к сказанному им. Дождавшись установления тишины, он уже спокойно объявил:

— Первое слово предоставляется начальнику нашей академии Александру Ивановичу Ломову, штурмовавшему Зимний, громившему Колчака, Деникина и Врангеля. Во время Великой Отечественной войны Александр Иванович командовал армией, руководил штабом фронта, пройдя далеко не прямым путем от Березины до Кавказа, а оттуда через Брянск до Балтики. И, как поется в песне, «на Тихом океане свой закончил он поход».

После официальной части Алов ушел в артистическую комнату готовиться к выступлению. После перерыва на его месте Стрельцов увидел девушку в темно-лиловом, парчовом платье. В руках она держала сумочку на позолоченной цепочке.

«Красива, — решил капитан. — Но еще молода, чтобы самой зарабатывать на такие наряды. Видимо, дочка состоятельного папаши, ищет жениха».

Вскоре пришли Светлана и Вольфганг. Переговариваясь с ними, Стрельцов не переставал бросать взгляды на незнакомую девушку и вскоре не выдержал.

— Как вы находите чтение стихов? — обратился он к соседке, когда утихли аплодисменты, которыми слушатели дружно наградили очередного исполнителя.

— Вполне сносно, — ответила она тоном человека, хорошо разбирающегося в театральных представлениях. — Нередко у профессионалов бывает хуже, особенно...

Девушка внимательно посмотрела на Стрельцова, будто решала, стоит ли заканчивать свою мысль. По-видимому, придя к выводу, что не стоит, она безразлично отвернула голову на изящной шее, которую обвивала тонкая золотая цепочка с медальоном.

И все же в перерывах между номерами они продолжали обмениваться впечатлениями о концерте.

Наконец объявили выступление Алова.

Первой короткими частыми шажками на сцену вышла маленькая пианистка. Она не успела спрятать к кому-то обращенную улыбку и такой вышла из-за кулис. Вслед за ней показался Виктор. Подчеркнуто безразличный ко всему, он всем своим видом доказывал, что улыбка пианистки была обращена не к нему.

Его драматический тенор, близкий к баритону, лился сочно и выразительно. Светлане понравилось его исполнение, и она искренне подсадовала, когда Алов не смог чисто взять высокую ноту. Поэтому, услышав разговор Стрельцова с соседкой о нем, она невольно покосилась в их сторону.

— Вам нравится его пение?

В тоне Стрельцова Светлана уловила снисходительное пренебрежение.

— Да, — ответила уверенно девушка, не отрывая глаз от сцены.

— А не кажется ли вам, что ваш кумир... слишком надувается, подражая мастерам?

— Надо уметь прощать слабости, особенно людям талантливым, — ответила девушка и пристально посмотрела на капитана оценивающим взглядом.

Только к часу ночи кончилось шумное веселье.

Светлана, сойдя вниз, вспомнила, что ее гардеробный номер находится у Алова. Вольфганг пошел разыскивать подполковника. Алов был в комнате для артистов. Достав номер и подержав его в руке, он обратился к пианистке:

— Надо извиниться, я скоро.

Вместе с Вольфгангом Виктор спустился вниз, помог Светлане одеться и на ее немой вопрос: «Вы не с нами?» — ответил, чуть запнувшись:

— Меня задержал начальник клуба, уговаривает выступить в доме работников искусств. Надеюсь, молодой капитан надежно защитит вас в пути.

В переулке Светлана и Вольфганг нагнали медленно шедших капитана Стрельцова и его соседку. Георгий представил ее как поклонницу таланта Алова. Девушка усмехнулась и, подав Вольфгангу руку, назвала свое имя — Эдит.

— Вот что значит быть иностранцем, — пошутил Стрельцов. — Я не смог узнать ее имя за весь вечер, а перед тобой она открылась сразу, как цветок перед солнцем.

Вскоре Вольфганг и Светлана свернули в сторону.

Стрельцов попросил разрешения взять спутницу под руку и получил молчаливое согласие. Когда они подошли к автобусной остановке, Эдит объявила:

— Все, дорогой капитан... Стрельцов, кажется?

— Я обязан проводить вас в такой поздний час, — сказал Стрельцов с наигранной галантностью.

— По обязанности не стоит, — ответила Эдит. — К тому же поздно, а я очень далеко живу.

Тащиться на край Москвы и вернуться к утру Стрельцову не особенно хотелось. Но отступать от своего предложения тоже было неудобно, и он, высоко подняв черные брови, возразил:

— Вам жаль моих ног?

— Может быть.

— Они у меня хорошо натренированы.

— И все-таки...

— Тогда как же?

— У вас телефон есть?

— А у вас?

— Нет.

Стрельцов вырвал листок из блокнота, написал свой телефон.

— Это далеко не персональный. Ответит тетя Груня. Попросите позвать капитана Стрельцова. Когда она уйдет, наберитесь терпения подождать меня. Наша комната в общежитии самая дальняя. Итак, через сколько дней в нашей обители раздастся звонок?

— Как только мне станет скучно.

Приказ Дубкова был полной неожиданностью для многих. Кучара знали как добросовестного, вдумчивого преподавателя, и вдруг оказалось, что у него много недостатков. Правда, при внимательном чтении приказа можно было в нем увидеть явные противоречия, которые ставили под сомнение выводы генерала, но Кучар не считал нужным их опровергать.

Мнение Дубкова о методах преподавания Кучара вызвало беспокойство на факультете и в учебном отделе академии: генерал — большой практик, он, конечно, хорошо знает, какие командиры нужны войскам. И к Кучару зачастили проверяющие.

Частые проверки ставили под сомнение знания и методику преподавания Кучара и потому больно задевали его профессиональное достоинство. Как только в классе появлялся проверяющий, подполковник невольно напрягался, речь его становилась суше, отчего занятия шли хуже, чем могли бы идти.

В конце сентября в практических занятиях наступил перерыв. Кончились и проверки. Но тут о Кучаре заговорили на служебном совещании кафедры. Затем результаты многочисленных проверок послужили иллюстрацией неудачных методов преподавания на методической конференции академии. После критики в академическом масштабе начальник кафедры потребовал обсудить методы преподавания подполковника Кучара на партийном бюро.

Вопреки предположению Дубкова, мнения членов партийного бюро разделились, и было принято мягкое решение. Генерал возмутился: он совершенно ясно дал понять, чем должно закончиться обсуждение ошибок преподавателя, и вдруг его указание не было выполнено.

Дубков вызвал секретаря партийного бюро.

Предчувствуя острый разговор, полковник Козицкий еще раз обдумал свою позицию.

— Проходите, — предложил Дубков, со спокойной деловитостью заканчивая читать какой-то документ. — Что там у вас произошло?

Он отложил бумагу в сторону, закурил и приготовился слушать объяснение.

— Партийное бюро признало, что не все педагогические приемы Кучара следует считать ошибочными.

— А каково ваше личное мнение? — В голосе начальника кафедры прорвалось раздражение. Оно больно укололо Козицкого. На его худом болезненном лице проступил тусклый румянец, но умные глаза как бы говорили: «Товарищ генерал, вы неправильно воспользовались предоставленными вам большими правами, и потому я не поддерживаю ваши действия». Ответил он не сразу:

— Мое мнение — мнение большинства партийного бюро. Я за него голосовал.

— Выходит, я не прав, навел на Кучара напраслину? Так что ли?.. Давайте без тумана. Что в моем приказе бюро нашло неверным?

— О приказе никто ничего не говорил, — ответил Козицкий сухо.

Секретарь не хотел докладывать начальнику кафедры все. Да, члены бюро не упоминали приказа. Но многое из того, что осуждалось в нем, они находили вполне допустимым на занятиях, а кое-что новым и весьма интересным.

— Раз говорю, значит, знаю. Вы не юноши, чтобы говорить о приказе все, что придет в голову. Меня интересует существо, а не слова.

— Ваши вопросы можно понимать, как желание знать действительное мнение членов бюро о приказе?

Спокойные, чуть усталые глаза секретаря встретились с полыхавшими негодованием глазами Дубкова; они как бы предлагали борьбу на равных условиях. Дубков, замедлившись, согласился:

— Что ж... выкладывайте.

Козицкий пытливо посмотрел на генерала, стараясь понять, действительно ли тот хочет знать правду.

— Давайте, не бойтесь, — с наигранной бравадой поторопил Дубков.

— Мне бояться нечего.

— Так что ж вы запинаетесь на каждом слове?

— Не всем чужая смелость по душе.

Слова секретаря походили на намек. Кирилл Платонович отвел его от себя:

— Не знаю. Лично я для смелых разведчиков, боевых солдат никогда орденов не жалел. Ну, слушаю вас.

Козицкий подробно изложил все, о чем говорилось на заседании партийного бюро.

— Выходит, — произнес Дубков, уставившись в Козицкого потемневшими глазами, — выходит, бюро критиковало не виновного Кучара, а начальника кафедры? И вы, партийный руководитель, обязанный всеми средствами укреплять единоначалие, тоже? Или не так?

— Понимайте, как находите, — с огорчением ответил Козицкий: правда не заставила генерала задуматься. Она для него только посягательство на единоначалие.

— Дело не во мне, а в принципах, установленных маршалом Жуковым в нашей армии. Вы на них замахнулись.

— Ни на что я не замахнулся, Кирилл Платонович, — без всякого желания продолжать разговор промолвил секретарь. — Вы допустили ошибки, я о них сказал. Вы же сами просили об этом.

— Так сказать, в целях воспитания начальника. — Дубков поднялся, вышел из-за стола. — Секретарь в роли комиссара. Старо, полковник Козицкий! Вы считаете себя представителем партии. А кто из нас вправе ее больше представлять? Вы, вступивший в нее во время Отечественной войны, или... скажем, командир с тридцатилетним партийным стажем, отмеченный десяток раз на войне, командовавший тысячами людей?

Пока Дубков доказывал свое право представлять в армии партию, Козицкий молчал. Опровергать неправоту начальника кафедры не было ни желания, ни сил — неожиданно его охватила та слабость, которая в последние месяцы все чаще и чаще стала приходить к нему. Не раз собирался он сходить к врачу, но, почувствовав облегчение, откладывал. Сейчас он уже не слушал генерала, а думал о том, что давно пора посоветоваться с врачом: может быть, лучше — совсем на отдых? Ведь давно за пятьдесят, а с тремя тяжелыми ранениями — это все семьдесят. Пора.

Все же, когда генерал Дубков снова — уже в который раз — спросил его, кто в армии имеет больше прав представлять партию, Козицкий твердо возразил:

— Тот, кто хорошо трудится и меньше доставляет ей огорчений своими ошибками.

— Критикуя мои приказы, вы не только доставляете ей огорчения, вы идете против ее указаний.

Козицкий не стал возражать — бесполезно. Нужны другие меры, чтобы Дубков начал думать и поступать иначе.

— Что же вы молчите? Или намерены проводить прежнюю линию?

— Линия, товарищ генерал, у меня одна: вы, как всякий человек, можете допустить ошибки. И надо научиться видеть их и признавать перед людьми. Если мои слова и поступки вам неприятны, поставьте вопрос о моем переизбрании.

— Придет время — поставлю; если мы не найдем общего языка. Говорю откровенно, не взыщите. Сейчас меня интересует, как вы будете готовить партийное собрание?

— Так, как решило партийное бюро. Доложу суть дела, и пусть коммунисты судят сами, насколько Кучар виновен.

— Значит, самотек.

— Называйте, как хотите.

Дубков видел: секретарь не намерен сдаваться. В лучшем случае, будет молчать. А это равносильно тому, что он будет против. За ним потянутся многие, и, чего доброго, его, Дубкова, намерение на примере Кучара показать, что такое настоящая воинская служба, будет смазано. Поэтому, подумав, генерал примирительно сказал:

— Как начальник, я не могу допустить самотека. Сами понимаете, попадет вам, мне — вдвойне. Об ошибках Кучара говорилось за пределами кафедры, на академических совещаниях. Наше молчание может быть расценено, как нежелание исправлять ошибки. А вы знаете, за такое по головке не гладят. Поэтому решим так: информацию подготавливаю я сам. Хотя бы потому... чтобы более обстоятельно мотивировать наложенное на Кучара взыскание.

— Пожалуйста.

— Думаю все же, что на партийном собрании вы, как и все члены партийного бюро, займете правильную позицию в оценке работы подполковника Кучара.

Козицкий ничего не ответил.

На партийном собрании Кучар считал себя обязанным выступить с подробными разъяснениями. Служебный выговор можно оставить на совести того, кто его вынес: к тому же подобные взыскания не подлежат обсуждению. Однако теперь шла речь о его партийной чести, и подполковник решил всеми доступными средствами защищать ее.

Когда Кучар обстоятельно изложил существо своих педагогических приемов и взглядов, многие коммунисты усомнились в объективности информации начальника кафедры. Генерал почувствовал, что его предложение о вынесении Кучару строгого партийного взыскания может не пройти, и обрушился на подполковника с другой стороны. В объяснении Кучара он усмотрел критику приказа начальника.

После второго выступления генерала наступило гнетущее молчание. Его последние слова следовало понимать так: все, что скажет коммунист в свою защиту, будет обсуждением приказа начальника и нарушением требований Министра обороны. Чем это грозило, каждый военный хорошо себе представлял.

И вот когда генерал Дубков уже считал, что достиг желаемой цели, медленно, как будто поднимая непосильную ношу, встал Козицкий. Председательствующий предоставил ему слово.

— Поступать так, как поступаете вы, товарищ генерал, нельзя.

— Что?! — с крайним удивлением проговорил Дубков.

— Я сказал вполне ясно, — тихо ответил Козицкий. — Допустим, что Кучар в какой-то степени ошибся. Но неужели его вина так велика, что он заслуживает строгого выговора с занесением в учетную карточку? В Дисциплинарном уставе выговор по сравнению с арестом, конечно, незначительное взыскание. Но вы же предлагаете наложить партийное взыскание: За строгим выговором следует исключение из партии. Объявив такую меру наказания, мы поставим под сомнение принадлежность Кучара к партии. С этим я не могу согласиться. Не могу...

Голос Козицкого дрогнул. Ему хотелось сказать еще о том, что поступок самого начальника кафедры недостаточно партийный, что он попирает демократические принципы партии. Но в аудитории уже рокотал бас генерала:

— Выступление Козицкого я объясняю не чем иным, как полным непониманием переживаемого нашей армией момента. Видимо, это случилось потому, что он слишком долго работает преподавателем, оторвался от войск и не знает, что им нужно. Пора съездить, посмотреть.

Когда генерал кончил, поднялся Дука. Взойдя на трибуну, он лег на нее своей могучей грудью и долго смотрел в зал.

— Не пойму, что мы хотим сделать с человеком. Погубить? Ради чего? Враг он нам? Нет. Воевал, изранен вдоль и поперек, потерял всех родных, работает, как добрая лошадь. А мы собираемся ударить его по рукам — и так, чтобы они не смогли держать и пятиграммовую ручку.

Судите, как хотите, я тоже не согласен с таким строгим взысканием. По-моему, для Кучара вполне достаточно человеческого разговора. Он не глупый, поймет, где ошибся, и без понуканий поправится.

— Прошлые заслуги не дают права на прощение ошибок в настоящее время, — донесся голос из аудитории.

— Заслуги в Отечественной войне, товарищ Зотов, — святые заслуги!

В защиту позиции Дубкова выступили двое. Поскольку аргументы их были слабы, они не убедили коммунистов в том, что Кучара надо строго наказать. Но им удалось кое в ком заронить сомнение, правильно ли поступит партийное собрание, если вообще не накажет Кучара; ведь в этом случае оно пойдет против предложения генерала, единоначальника.

В конце концов партийное взыскание, правда, более мягкое — выговор — на Кучара было наложено.

Партийное собрание закончилось, аудитория опустела, а Кучар все еще сидел на своем месте. Широкие плечи его опустились, спина и шея согнулись, и весь он, совсем недавно такой могучий и негнбаемый, казался тяжело контуженным человеком.

Неизвестно, сколько времени он еще так просидел бы, если бы на его плечо не легла рука Звездина. Кучар опущенными глазами посмотрел на генерала, поднялся и молча направился к выходу.

Генерал понимал, что партийное взыскание может выбить коммуниста из равновесия, но чтобы оно могло свалить такого, как Кучар, ему не верилось. Однако это было так. Кучар двигался по коридору медленно, пошатываясь. Звездин зашел в преподавательскую, заказал по телефону машину. Когда вышел в коридор, Кучара уже не было. Не оказалось его и у гардероба. Звездин несколько минут постоял у подъезда. Подошла машина, Кучар все еще не выходил. Генерал вызвал дежурного и отдал ему распоряжение, чтобы тот лично посадил подполковника Кучара в машину и отправил домой.

Кучар вышел через другую проходную. По переулку, сжатому двумя плотными рядами домов, холодный ветер гнал желто-бурую листву. Шурша об асфальт, она долетала до перекрестка, где ее подхватывал встречный поток воздуха и разбрасывал в разные стороны, как ястреб стаю синиц. Не желая с кем-либо встречаться, подпол-

ковник свернул налево и, петляя по узким переулкам с облезлыми двухэтажными домиками, вышел на набережную. Он подошел к парапету. Здесь ветер был еще сильнее. Внизу, одетая в гранит, текла черно-желтая от темной ночи и электрических огней Москва-река. Ветер хлестал по воде, пытаясь задержать, остановить ее. Река хмурилась, билась волнами о гранит и, казалось, с еще большим упорством стремилась по давно избранному пути.

Кучар смотрел вниз, ничего не видя и не слыша. Где-то глубоко в сознании бился вопрос: «За что наказание? Семнадцать лет в партии, и вот первое партийное взыскание. Я ведь добивался лучшего. Так за что же?»

Ответ, который бы более или менее верно объяснял намерения начальника кафедры, нашелся не сразу. «Дубков хочет научить меня настоящей, как он говорит, службе. То есть повиноваться старшему всегда и во всем. Повиновение нужно, без него нет армии. Но нельзя принуждать к повиновению, когда идет поиск истины. Заставить человека думать так, как хочется другому, без того чтобы убедить его в своей правоте, невозможно. В лучшем случае можно заставить человека замкнуться, замолчать, но кому от этого польза? А много ли стоит командир со сломленной волей, боящийся высказать и отстоять более целесообразное мнение или решение? Такой человек и в бою не сможет проявить инициативы, пойти на риск. Это же всем известно. Неужели этой простой истины не понимает Дубков? Трудно поверить».

Кучар оттолкнулся от парапета и быстро пошел по набережной.

От движения или от резкого встречного ветра стало легче. Мысли потекли спокойнее. Переступая через одну-две ступеньки, поднялся на железнодорожный мост. Сердце опять тяжело заколотилось в груди. Кучар остановился, взялся за перила. «Видно, молодые силы уходят, — подумал он. — Или засиделся? Наверное, засиделся. Надо съездить на рыбалку, отдохнуть. — Перед его мысленным взором предстала гладь Истринского водохранилища. Хотя была осень, в ушах слышалась соловьиная трель. Предутренняя, звонкая, слышная за километр. — По перволедью — на рыбалку», — решил Кучар и тихо пошел по мосту.

На противоположной набережной он увидел толпу людей. Запрокинув головы, они смотрели в темное небо. Толпа быстро росла, о чем-то весело шумела. Остановился и Кучар. Прислушался.

— Ты что, радио не слушаешь? — возмущенно упрекнул один паренек другого. — Спутник запустили!

— Американцы?

— Эх ты, «американцы»! Наши! По расчетам, будет виден. Осталось три минуты. Должен появиться вон оттуда, — и юноша показал рукой в сторону университета.

Кучар поднял глаза к его высокому шпилю. По небу ползли редкие тучи.

Вдруг сразу несколько человек, надрываясь от восторга, закричали: «Летит, ура!» И вся толпа подхватила их возгласы: «Летит! Летит!» Кучар увидел спутник, когда тот, как бы отделившись от Сириуса, круто стал подниматься вверх, ныряя между тучами. В зените его закрыл рваный полог желто-серой тучи. Затем он мелькнул над телевизионной мачтой и скрылся. А толпа все смотрела на восток в надежде еще раз увидеть движущуюся звезду первой яркости.

«Спутник в небе! — чуть не крикнул Кучар от радости. — Он-то заставит неверующих признать новое и в технике, и в политике, и во многом другом».

Решение, что делать дальше, сложилось само собой. Совсем недавнее желание — бросить все к черту — показалось мальчишеским. Работать, и все. Будет дело сделано — взыскание снимут. Конечно снимут. И Дубков поймет, что был не прав. Будущее представилось ему таким радостным, что он на время забыл о тяжести полученного партийного взыскания.

13

Утро следующего дня выдалось безоблачным. На противоположной стороне дома в окнах верхних этажей светило сразу несколько солнц. Когда Игнат проснулся, шел девятый час.

Вошла Лиза.

— Что ж ты меня не разбудила? — упрекнул ее Игнат.

— Успеешь, — ласково сказала Лиза, стараясь сгладить вчерашнюю размолвку, возникшую оттого, что он

не хотел ей сказать о полученном взыскании. — Ты свой сон помнишь?

— Нет...

— Три раза выступал, да так, что чуть не столкнул меня на пол.

Слова Лизы напомнили Игнату о вчерашнем дне. Стало стыдно и больно. Взыскание! Как смотреть в глаза товарищам, слушателям? Как им объяснишь, почему и за что?

Придя в академию, Кучар с небывалой для него торпливостью поздоровался с товарищами, захватил материалы монографии и уединился в читальном зале. Весь день его никто не беспокоил. Он почти забыл о неприятностях вчерашнего дня и к девяти часам вечера написал в рабочей тетради одиннадцать страниц. Приятно уставший, поднялся из-за стола, разогнул онемевшую спину и пошел к себе положить бумаги.

На лестнице ему повстречался сотрудник научно-исследовательского отдела.

— Добрый вечер. Что так поздно?

— После вчерашней порки хорошо работалось, — ответил Кучар почти весело, давая понять, что горем он не убит и сочувствовать ему не нужно.

— Знаешь, к нашему шефу сегодня заходил твой подопечный, Алов. Зондировал насчет нового научного руководителя.

— Почему?

— Я у тебя хотел узнать.

Кучар нахмурился.

«Действительно, почему? — раздумывал он, стоя в тамбуре трамвая. — Виктор зря не станет ходить. Видимо, что-то узнал. Может, боится выходить на защиту скомпрометированным научным руководителем? Рано — раньше следующей осени диссертацию все равно не закончит. Может, взыскание, по мнению Дубкова, сделало меня глупее, и я не могу уже руководить диссертантом? Или хочет добить меня по всем пунктам?»

Все прояснилось в конце недели. Кучара вызвал генерал Дубков и ознакомил его с аттестацией. Подполковник читал и не узнавал себя. В выводах предлагалось направить его в войска для приобретения командного опыта.

Тяжесть, легшая на плечи, согнула широкую спину подполковника. Он долго молчал, собираясь с мыслями.

— Я не согласен с аттестацией, — наконец решительно произнес он.

— С неприятной правдой редко кто соглашается.

— В аттестации мало правды.

— По вашему мнению. Ваши слова я расцениваю как боязнь ехать в войска.

— Неправда. Я не хочу уезжать из академии очерненным.

Прямо от Дубкова Кучар направился к начальнику политотдела.

Полетов усадил Кучара напротив и попросил рассказать о случившемся.

Подполковник изложил суть дела. Полетову этого было мало. Он спросил:

— Вы говорите, взыскание наложено неверно?

— Да.

— Почему? Только поподробнее, у нас есть время.

Кучар рассказал, как шло занятие. Хотя подполковник был взволнован и говорил сбивчиво, он не жаловался на Дубкова. Он выкладывал факты, которые должны были сами убедить, кто прав. Это понравилось генералу.

Вместе с тем в словах офицера генерал заметил и другое. Кучар как бы осуждал все то, к чему ведет несправедливое отношение начальника к подчиненным. Полетов решил узнать офицера получше.

— Как вы понимаете свое место в академии? — спросил он, глядя Кучару прямо в глаза.

Подполковник не отвел глаз. Немного подумав, он ответил с той уверенностью, которая подтверждает в человеке убежденность, готовность отстаивать свое мнение, потому что оно часть его самого, объяснение и причина всех его поступков.

— Я считаю себя, товарищ генерал, учителем, военным учителем.

— Военным учителем, — вдумываясь в слова подполковника, повторил генерал. — А не мягко ли это звучит?

— Звучит — может быть. Когда я иду на занятия, я всегда вспоминаю своего школьного учителя Павла Николаевича Кирсанова. Он редко сердился, но мы слушались и любили его больше, чем других учителей.

— Однако вы — военный учитель.

— Мой школьный учитель во время войны неплохо командовал полком.

— Может быть, это был исключительный учитель?

— Не думаю. Это был просто умный и чуткий человек, он очень доверял нам, школьникам.

— А среди командиров вы встречали таких, как ваш Павел Николаевич?

— Да. Таким был наш командир полка подполковник Мороз, командир дивизии генерал Листов. В нашей академии много таких...

Кучар замаялся, не зная, уместно ли еще раз возвращаться к своей обиде. Желание высказать накопившееся пересилило, и он заговорил о занятии, за которое получил взыскание.

— Я знал, майор Челышев слабо подготовился. Но мне было также известно и о его болезни. Распекать его... я просто не мог. Это было бы равносильно обвинению тяжело раненного в том, что он упал, остался на поле. Лично для меня это была бы очень горькая обида. Челышеву я не мог ее нанести. Стараясь воспитать чуткость и разумную требовательность, я должен сам поступать так, чтоб люди видели, как это делается.

Так же и с разговорами на занятиях. Я не представляю, чему можно научить слушателя, если его воображение, его мысль скована. Да, у меня много говорят, спрашивают, спорят. И все-таки, думаю, никто не может упрекнуть моих слушателей в том, что они нарушают субординацию.

Беседа затянулась. Генералу был симпатичен этот подполковник, думающий, ищущий. Он не застрахован от ошибок, но они — издержки поисков. Наказывать за них, значит, убивать в человеке самое важное — желание работать с душой и радостью.

Начальник политотдела решил разобраться в деле Кучара. Он изучил протокол партийного собрания, поговорил с преподавателями, с секретарем партийного бюро кафедры. Когда мнение сложилось, он вызвал к себе генерала Дубкова.

Дубков знал, по какому поводу вызывает его Полетов. Знал также и то, с кем тот вел разговор и куда клонил. Поведение начальника политотдела он считал неправильным. Вести расследование поступков командира — воз-

мутительно, если даже им, командиром, допущена ошибка.

Коротким нервным шагом подошел Дубков к двери кабинета Полетова и открыл ее.

— Разрешите?

— Пожалуйста, — мягко ответил Полетов и встал навстречу Дубкову. — Прошу садиться.

Полетов сел на свое место, положил скрещенные руки на край стола и подался всем корпусом в сторону Дубкова.

— Догадываетесь, Кирилл Платонович, зачем я вас пригласил?

— Не только я, — сухо ответил Дубков.

— Может быть. Я не старался делать из этого тайны.

— Для всех, кроме меня.

— Почему?

— Вы беседуете со мной последним.

— Я считал, что для беседы с вами мне следовало изучить то, о чем мы будем говорить.

— Вам, конечно, виднее. Я слушаю вас, товарищ генерал, — официально произнес Дубков.

Полетов сделал вид, будто не заметил намерения Дубкова держаться с подчеркнутой воинственностью, не выходя за рамки строго служебных взаимоотношений. Начальник политотдела спросил:

— Неужели так тяжка вина подполковника Кучара, что его надо отчислить с кафедры?

— Видимо, и из академии.

— Тем более.

— Разве редко бывает так: годами человека считают хорошим и вдруг узнают, что он проходимец. Кучар — не проходимец, иначе вопрос ставился бы об увольнении его из армии. Он просто засидевшийся в академии офицер, изрядный демагог, умело прикрывавший свое неумение готовить хороших боевых командиров. В его теоретических взглядах тоже одна демагогия, и с ее помощью он вводит людей в заблуждение.

— Но при обсуждении научного сообщения, как вы помните, его поддержала добрая половина кафедры. Не считаете же вы и этих людей демагогами?

— Считаю, потому и ставлю вопрос о замене всех тех, кто забыл запах учебных полей.

— И полковника Монакова?

— Почему же...

— В академии он с сорок второго года.

— Он основной теоретик кафедры.

— Но ведь и ему было бы полезно хоть немного приобщиться к войсковой жизни. Как по-вашему?

Дубков понял, что в его решении о Кучаре Полетов нашел слабинку: Монакова следовало бы раньше Кучара направить в войска. Чтобы отвести от себя подозрение, что он отсылает в войска только неугодных ему, Дубков вынужден был согласиться:

— Конечно. Как только закончим разработку труда, вы знаете, очень нужного академии и войскам, я пошлю Монакова в войска.

Полетов опустил глаза, чтобы Дубков не заметил застенчивую в них усмешку. Начальник кафедры понял это как затруднение, в котором оказался начальник политотдела, и, чтобы «не видеть» этого, сделал то же самое. Когда Дубков поднял глаза, Полетов уже смотрел на него. В его остром изучающем взгляде Дубков уловил отблеск той усмешки, которую спрятал Полетов, опуская голову, и ему стало несколько неловко, будто его поймали на мелкой мальчишеской проделке. Полетов увидел пробежавшую по лицу Дубкова тень смущения и решил, что теперь наступило время, когда можно и нужно говорить прямо.

— Я не могу согласиться с вашим мнением о подполковнике Кучаре...

— Видимо, мы разные люди.

— Но Кучар один. При объективной оценке его достоинств и недостатков мнения о нем не должны столь резко расходиться.

— Вы хотите сказать, ошибся я?

— Да.

— В чем?

— Борьбу научных мнений вы пытаетесь разрешить административными мерами.

— Взыскание Кучар получил за плохое проведение занятий, а не за критику.

— Но после критики.

— Это случайное совпадение. В приказе взыскание обосновано вполне достаточно.

— С точки зрения ваших взглядов на методику преподавания. Но если сравнить их со взглядами, которые

изложены вот в этой книжке... — Полетов показал учебник по педагогике, — то правым окажется все же Кучар.

— Учить студентов и готовить боевых командиров — это далеко не одно и то же.

— А по-моему, Кирилл Платонович, основы воспитания одни. В институтах тоже готовят командиров — руководителей. Вам известно, что после тяжелых потерь в сорок первом году офицерский корпус пополнялся бывшими студентами, руководителями предприятий и даже учащимися? И они стали неплохими командирами.

— Лишь тогда, когда война и усилия кадровых офицеров вытряхнули из них благодущие и дали им нужные военные качества.

— Если бы у них не было основ, за короткий срок они не стали бы хорошими командирами.

— Почему короткий? На войне день боя равен месяцу мирной учебы.

Полетов понял, что Дубков во что бы то ни стало последнее слово хочет оставить за собой, будь оно даже сомнительного качества. «Ради чего? — спросил он себя. — Не дать повода для партийного осуждения? Но пока об этом речь не идет. И не пойдет, если сознательно будет исправлена допущенная ошибка. Или хочет доказать свою непогрешимость? Но ведь ошибка очевидна. А может быть, он действительно верит, что именно так надо поступать, когда подчиненный пытается проявить самостоятельность?»

Полетов решил выяснить взгляды Дубкова на воинские и партийные взаимоотношения. Поэтому с легкой укоризной он заметил:

— Это уж мне, Кирилл Платонович, политработнику, в некоторой степени позволительно прибегать к громким фразам, а не вам, командиру. Вы знаете, на войне хорошо учился тот, кто кое-что знал о бое. Но мы уклонились. Кирилл Платонович, вернемся к Кучару. Я допускаю, Кучар мог ошибиться. Но неужели его ошибка была так значительна, что следовало на него накладывать три строгих взыскания?

— Я наложил одно взыскание.

— Обсуждение на партийном бюро проведено по вашему указанию. Аттестацию писали тоже вы.

Дубков замаялся. Полетов воспользовался этим и задал вопрос:

— Может быть, я не все понимаю, Кирилл Платонович? Прошу вас, объясните: в моей, хотя и лысой, голове не укладываются столь суровые наказания за небольшие ошибки. Конечно, я не допускаю мысли, что вы мстите Кучару за критику научного сообщения, но...

— У меня достаточно власти, чтобы не прибегать к недостойным приемам.

— И все же...

— Я считаю величайшей силой армии — повиновение. На повиновении немцы создали первоклассную армию. Нам — мое мнение — его очень часто доставало.

— Значит, Кучар получил взыскание... за неповиновение?

— Да, это главная причина. Это послужит ему уроком на всю жизнь. И не только ему. Вы знаете, ради достижения цели порой жертвуешь арьергардом и авангардом.

«Да, это, видимо, кредо Дубкова, — подумал Полетов. — Он твердо верит в свою непогрешимость. Интересно, сросся он с этими взглядами или они только прилипли к нему, как ком грязи?»

— А как же с инициативой, творчеством, Кирилл Платонович? Немецкой армии этих качеств как раз и доставало.

— Повиновение не отрицает инициативы в рамках приказа.

— Но какое повиновение?! — раздраженно воскликнул Полетов. Тут же сдержав себя, он спросил: — Вы уверены, Кирилл Платонович, что после вашего приказа на кафедре будут искать, дерзать, отстаивать свои теоретические убеждения?

— Все будут делать то, что им положено.

— Как это понимать? Может быть, так: ваши идеи, а их авторучки? Науку так не двигают! Ее и не может быть без борьбы мнений, порой острой, непримиримой.

— Вам лучше знать, — иронически заметил Дубков. — В авиационных конструкторских бюро без крика создают лучшие в мире самолеты.

— Лишь только потому, что каждое предложение взвешивается, с математической точностью определяется его ценность. И все-таки там тоже бывают вихри.

Разговор зашел в тупик. По уверенному выражению сухощавого лица Дубкова было видно, что он и не думает менять своего решения. Полетов тоже не собирался отдавать в жертву Кучара, способствовать тому, чтобы на кафедре воцарилось «повиновение» в духе Дубкова. Было неприятно сознавать, что беседа ни к чему не привела и Дубков уйдет, будучи убежденным в своей правоте.

Пытаясь понять, что придает Дубкову такую уверенность, Полетов с горечью вспомнил свой перевод из войск в академию. По всей вероятности, Дубков знал, по какой причине Министр обороны отстранил его, Полетова, от предыдущей работы: начальник политотдела расходился во взглядах на методы руководства войсками с командующим. «Видно, Дубков уверен, что я не буду хвататься за горячее. Напрасно!» Чтобы убедить Дубкова в обратном и закончить беседу, Полетов сказал:

— Коммунист Кучар подал мне жалобу...

Начальник политотдела пытливо посмотрел на Дубкова. Тот почти безразлично ответил:

— Это его право.

— Он им правильно воспользовался. Я разобрался в решении партийного собрания вашей кафедры и не могу утвердить его. Считаю, что ошибки Кучара не столь значительны, как это записано в вашей аттестации, и советую ее переписать.

— Не вижу в этом необходимости, — ответил Дубков и резко встал.

Как ни тяжело было Полетову, но в глубине души ему пришлось признать — разговор не удался. Что теперь делать? Идти к начальнику академии? Просить помощи при первом же серьезном деле — неудобно. Все же придется.

— Что ж, Кирилл Платонович, прервем наш разговор. Как считать, не поняли друг друга или не хотели понять?

— Как вам угодно.

— Тогда до новой встречи. О нашей беседе я доложу начальнику академии.

— Не могу возражать — вы его заместитель.

Трудно сказать, как бы сложилась судьба Кучара, если бы в один из октябрьских дней не произошло событие.

которое решительно вмешалось не только в судьбу подполковника, но и во всю жизнь армии.

Освобождение маршала Жукова от обязанностей Министра обороны для генерала Дубкова было падением Казбека, Эльбруса или еще более величественного и несокрушимого пика. Такой ответственный пост — и вдруг... отставка!

Накануне сорокалетия Октября стало известно, что Жуков отстранен за грубое нарушение ленинских партийных принципов руководства Вооруженными Силами; в целях дальнейшего улучшения партийно-политической работы в Советской Армии было признано необходимым повысить роль партийных организаций, они обязывались более глубоко вникать во все стороны подготовки войск, на основе критики и самокритики вскрывать недостатки, помогать командиру устранять их.

В этих решениях Дубков прежде всего увидел ограничение прав единоначальника. Все, что делается в полку и дивизии, считал он, все делается от имени и по распоряжению командира. И хорошее, и плохое — его. Критиковать какие-то недостатки — значит критиковать и его. Фамилию не назовут, но всякому известно, кто командует войсками. Как можно работать, командовать, думал он, если каждый твой шаг будут оценивать. Может ли командир принимать решения, брать ответственность на себя, если критиканы, доморощенные стратеги, будут сомневаться, правильны ли они и следует ли их выполнять.

После праздников он узнал, что на середину ноября намечается партийный актив академии. На кафедре стали более смело поговаривать о недостатках работы. Однажды, проходя мимо группы преподавателей, Дубков услышал, как кто-то выражал сомнение в правильности партийного взыскания, наложенного на Кучара. Генерал вспомнил разговор с Полетовым и понял: избежать критики, видимо, не удастся.

Дубков не боялся критики, не пугали его и взыскания — лишь бы это исходило от вышестоящих начальников.

Но выслушивать критику в присутствии сотен людей, среди которых будут его подчиненные!.. Одна мысль об этом выводила его из себя. «Как служить, если на

активе разнесут? Уж кто-кто, а Полетов теперь постарается доказать свою правоту».

Незадолго до актива Дубков стал успокаивать себя: сколько раз после войны в армии шумели о свободе критики, но проходило время — и возвращались к жесткому единоначалию. Так будет и теперь. Поговорят, выговорятся, увидят, к чему это ведет, и — назад...

Доклад длился всего сорок минут. Начальник политотдела не стал распространяться о том, что было хорошо известно коммунистам из газет. Спокойно и немногословно сказал он и о Министре обороны Жукове, допустившем крупные политические ошибки. Вопрос решен, и нет нужды много говорить об этом. Сейчас армейским коммунистам надо лучше увидеть и понять, к чему вело голое администрирование в руководстве войсками.

Дубков слушал доклад и все ждал: вот-вот начальник политотдела скажет о нем, припомнит разговор с ним в своем кабинете. Особенно усилилось это опасение, когда Полетов перешел к рассмотрению академических дел. Однако начальник политотдела лишь упомянул, что на кафедре Дубкова были попытки зажима научной и партийной критики.

— Товарищи, — обратился Полетов к коммунистам, — как видите, я много говорил о жизни войск и очень мало о наших академических болячках. Это произошло по двум причинам. Во-первых, я человек новый, было бы нескромно много говорить о том, что сам недостаточно знаешь. Во-вторых, и это самое главное, вы сами должны, как говорил Маяковский, сказать о времени и о себе. Партия обращается к вашей инициативе, творчеству, смелости. Эти качества нужны сейчас. С их помощью завоевываются величайшие экономические победы. С их помощью мы можем быстро перестроить нашу партийную работу.

Прения начались осторожно. Ораторы ошупью искали возможную форму выступлений. Ведь и прежде не раз делали попытки критиковать, а потом... вспоминали, кто о ком как отзывался. Полетов забеспокоился: правильно ли поступил, не задав тона своим докладом? Неужели возложил слишком большие надежды на инициативу снизу? Он тревожно посмотрел на очередного оратора, а тот от напряжения даже закашлялся и тут

же достал конспект. Чтение текста придавало его голосу бесстрастность. Говорил он правильно, и все же слушать его было скучно. Полетов нагнулся над списком, отыскивая тех, кто бы мог смело высказать свои мысли. Вдруг он услышал в голосе выступавшего что-то новое и стал прислушиваться внимательно. Оратор комментировал только что прочитанную фразу. Волнение мысли, хотя и слабое, как первые пузырьки в воде перед кипением, искало выхода.

Полетов отодвинул список. Он был прав, веря, что инициатива, творчество, не погибшие даже в период культа Сталина, порвут путы, которыми Жуков пытался их туго и надолго увязать.

Настоящим кипятком плеснуло тогда, когда заговорил Стрельцов. Бойко доложив активу суть «дела Кучара», он не без сарказма заметил:

— И вот на последнем году учебы в академии мы, далеко уже не юнцы, узнаем: подполковник Кучар нас неверно учил, неправильно воспитывал. Если верить этому открытию, мы, его подчиненные, должны накопить уйму пороков. Кучара избили по всем линиям, а нам о его недостатках никто еще не сказал и как будто и не собирается говорить. Или мы не заслуживаем того? Если это так, у нас нет иного выхода, как по-прежнему оставаться при своем мнении, возможно неверном, но что поделаешь?.. Оно складывалось не один день, а в течение многих лет.

Если в первые минуты запальчивая речь Стрельцова заставляла Дубкова думать о нем как о каком-то крикуне (а крикуны, считал Дубков, умного никогда ничего не говорили), то далее, как этого ни хотелось генералу, он все же не мог найти в речи капитана того, что позволило бы с легкостью опровергнуть его слова.

Наоборот, Стрельцов так изложил методы преподавания подполковника Кучара, что Дубков увидел: капитан неплохо разбирается в педагогике, знает военную службу, — видимо, сам не раз прочно ставил в строй людей. Когда офицер заговорил о взысканиях, наложенных на Кучара, генерал Дубков почувствовал, что капитан умело опровергает те обвинения, которые он, начальник кафедры, выдвинул против подполковника,

Все, что произошло потом, повергло Дубкова в уныние. Ни в одном слове выступающих он не уловил даже намека на сожаление о замене Министра обороны. Зато отовсюду раздавались вздохи облегчения — наконец-то убрали человека, который страхом хотел насаждать порядок в армии.

«Значит, значит, надо поступать иначе...» — не раз про себя произносил Дубков. Но на перестройку своих представлений и методов руководства решиться не мог.

В бессонную ночь после собрания актива и в последующие дни, когда, сказавшись больным, он снова и снова дома перебирал в памяти все, что произошло на собрании, его больше всего волновал вопрос: почему, почему никто не выступил в его защиту? Один лишь Монаков пробормотал что-то несвязное. Слегка успокаивало только то, что досталось не одному ему.

Шел третий день домашнего самозаключения Дубкова, и опять его никто не навещал. Это было больно и... страшно. Стало быть, в академии нет человека, который бы поинтересовался, что с ним. В войсках было не так. Чуть заболел — приходили, узнавали: каково самочувствие, скоро ли выйдет на службу — ждут дела. А здесь... Зачем он только согласился сюда поехать? Нужна ему Москва, как охотнику зоопарк.

Светлана где-то задержалась. Не дождавшись ее, Кирилл Платонович и Мария Петровна сели ужинать. Покопавшись в тарелке, Дубков резко отодвинул ее.

— Не вкусно? — спросила Мария Петровна, с укором посмотрев на мужа.

Вместо ответа Кирилл Платонович ворчливо произнес:

— Ради нее приехали сюда, черт знает что переносим, а она бродит где-то...

— Ей двадцать два года...

— А мне пятьдесят два, — перебил раздраженно Дубков. — Для отца можно было бы уделить вечер.

— Мы думали, тебе удобнее быть одному.

— Одному... Скоро с ума сойду.

Дубков ушел к себе, жадно закурил и повалился на диван.

Из гостиной донеслись звуки пианино. Терзаемый своими раздумьями, Кирилл Платонович не слушал музыку. Вспомнился день, когда он представился начальнику академии в связи с назначением на новую должность. «Нам люди из войск нужны, — говорил тогда начальник академии. — Академия готовит командиров, повелителей человеческих судеб. А командира может воспитать только командир».

Старался внести командирский дух... и разнесли.

Дубков вспомнил Кучара, теорию начального периода войны, то, из-за чего разгорелся сыр-бор. Отгоняя навязчивые мысли, он стал вспоминать подробности своего пути от границы до Ростова.

...Яворов, приграничный городок под Львовом. Вызов в штаб корпуса — предложили стать начальником оперативного отдела. Попробовал отказаться: мол, мало командовал полком.

— Год для академика достаточно.

— По складу характера я не штабист.

— Время, товарищ майор, такое...

Генерал, помнится, замялся, в раздумье крутнул ус и как большую личную тайну поведал доверительно:

— Война, дружок, надвигается. Сейчас нам не до того, что по душе. Понял?

— Понял, товарищ генерал.

— Понимай, дело делай и помалкивай. Понял?

— Понял.

— Вот теперь подумай, а в понедельник сообщи окончательный ответ. В штаб корпуса не пойдешь, на штаб дивизии посажу. Все.

И понятнее стали и перелеты немецкими самолетами границы, и диверсии украинских националистов, и шпионка, задержанная вблизи расположения полка, и назойливые слухи о якобы скорой войне Германии и Советского Союза.

У себя в кабинете посмотрел на отрывной календарь — завтра воскресенье. Задумался: в воскресенье, в апреле, немцы напали на Югославию и Грецию. Не повторят ли они этот же трюк с нами?

На минуту к нему заскочил командир погранотряда. Прощаясь, он как-то по-особому пожал руку.

— Что с тобой, Иван?

— Был у вашего генерала. Быть войне, и, может быть, очень скоро.

— Откуда ты узнал?

— От немцев.

— Шутишь?

— Нет. Прошлой ночью артиллерию разворачивали.

Решение созрело немедленно. Объявил тревогу и доложил командиру. Тот согласился и вяло, давая понять, что можно поступить и иначе, заметил: боеприпасы выдай в лесу.

Когда подразделения полка сосредоточились в лесу, с запада на восток в начинающем сереть небе поплыли косяки немецких самолетов. Слепой мог понять — это война!

Броском занял подготовленный к обороне участок, помог это сделать другим полкам. И четыре дивизии противника пять дней ломали зубы об оборону одной нашей дивизии. «Почему мы выполнили свою задачу тогда, на границе? — спросил себя Дубков. И, подумав, ответил: — До первого выстрела сказали людям — пришла война. Умрем, а не пустим врага через границу. Успели закопаться в землю, держались за нее руками и зубами, не думали об отходе».

Потом Белая Церковь. Киев совсем рядом. Там сын и семья. Как хотелось слетать хоть на денек туда, увидеть всех их, проститься и потом уж... Но попасть в Киев так и не удалось — армию от него отсекли, потом разрезали и стали уничтожать по частям. Все, что осталось от дивизии, собрал в отряд, бросил в ночную атаку, пропорол мешок и очутился вместо Киева под Каховкой, раненный, нечеловечески уставший.

Вспомнилось еще многое, что на всю жизнь отложилось в памяти. Напрашивались выводы: если бы думали о сплошном фронте, а не метались во все стороны, не было б окружений. Не было бы и многого другого... Ни падения Харькова, ни падения Ростова, ни прорыва немцев к Волге и к Кавказу. Теперь, когда хватили и горячего и холодного, когда поуменели, будем думать и думаем, на мякине нас не проведешь. Стало быть, то, что я хочу сказать, верно. Имею я право отстаивать свое мнение? Да. Да!

Уверенность, пришедшая во время раздумий о прошлом, значительно поубавилась, как только Кирилл Пла-

тонович начал размышлять о будущем. Ядерное оружие, конечно, адская сила. Танков будет, видимо, в десяток раз больше. Самолетов не меньше. А ракеты? К чему все это приведет, он твердо не знал и не мог ясно представить себе, как могут развернуться военные события в будущем, как ими управлять.

Чтобы снова обрести уверенность, он мысленно возвращался к прошлому, пытаясь связать его с настоящим и будущим. Когда это удавалось, уверенность в своих выводах крепла; как только связи рвались, снова наступали часы угрюмых расхаживаний по комнате.

В субботу вечером зашел Звездин.

Дубков обрадовался гостю. Заслышав разговор Звездина с женой, вышел в прихожую.

— Заболел? — спросил Звездин, пристально рассматривая Дубкова сквозь узкие щели полузакрытых век.

— Сердце вроде пошаливает. Проходи. Машенька, — обратился к жене Кирилл Платонович, — приготовь-ка нам ужин. Да покрепче. Пусть хоть раз в неделю отъестся.

— Не надо... Я недавно из столовой.

— Сколько?

— Часа три.

— Вполне достаточно, чтобы проголодаться после военторговского обеда.

Оживление Кирилла убедило Звездина, что пришел он вовремя. Правда, на лице Дубкова, особенно в складках его волевого рта, все еще виднелась не утихшая обида, но говорить и понимать сегодня он сможет.

Уселись на диване близко, почти рядом. Звездин выжидал, не зная, как подступиться к основному.

— Как на кафедре? — спросил Дубков, обретя наконец свое обычное, уверенно-резковатое состояние.

— Трудятся. — В глубине глаз Звездина мелькнула усмешка: все еще думает, что без начальника коллектив дня не может прожить.

— О начальнике не тужат?

— Стучат в дверь твоего кабинета: задачи и лекции надо утверждать.

— А-а...

— Что «а», хотел бы, чтоб плакали?

— Они заплачут, жди...

— И хорошо. Нашему брату, военному, не к лицу слезы лить.

— Рады небось: начальнику влетело. Ты тоже считаешь, что поделом мне досталось?

— Без веской причины младший против старшего едва ли выступит.

— Ты же голосовал за взыскание Кучару.

— Голосовал. Поверил тебе. Потому что факты ты подал по-восточному — с перцем, луком и с острым соусом.

— Я убежден, что Кучар выпустит говорунов, а не командиров.

— Ты убежден в этом, а Кучар — в другом. Он тоже считает себя правым. Я говорил сегодня с ним.

— Обворожил.

— Я не девица, а Кучар меньше всего похож на повесу.

— Значит, мне раскаяться? Не могу! Я служу больше тридцати лет и знаю, лучше его знаю, какие нужны командиры.

— И я знаю. Неужели ты забыл, как ночей не спал, когда какой-нибудь разгильдяй совершал чепе, за которое и тебя и всех ниже лупили до потемнения в глазах или даже выгоняли из армии? И... что это дало? Мало.

— Разговоры дадут больше?

— Разговоры — нет, а иное отношение между всеми нами, и старшими и младшими, иной подход к обучению и воспитанию — да. Вспомни, до войны мы говорили немало...

— Говорили — отказались.

— А не вернемся ли мы кое в чем к старому? В прошлом у нас немало было хорошего...

— Пошел агитировать. Я же не вчера родился. Сам, слава богу, кое-что делал. Ладно, давай поужинаем, а потом поспорим.

Но ни во время ужина, ни после него спор не возобновился. Лишь один раз, когда зашел разговор о монографии, Кирилл Платонович с вернувшейся к нему уверенностью заявил:

— Я твердо убежден в том, что Кучар закопался в своей математике и несет белиберду. Если не дадим

себя провести, как прошлый раз, особенностей в боях и сражениях в начале войны будет не ахти сколько и не те, о которых говорит Кучар. Главное — не дрогнуть от первого удара.

Звездин не стал возражать. Он лишь заметил:

— Мы спорим, а Кучар пишет. Значит, он думает больше нас, поэтому и доказывает свою правоту убедительней.

— Здесь ты прав. Надо не говорить, а дело делать. В понедельник выйду на работу и сразу всех вас — за писанину. А то проболтаем до следующей осени, и придется краснеть перед начальником академии...



1

В Москве моросили дожди. Временами они сменялись мокрым снегом и тогда тяжелые, набухшие водой хлопья грузно оседали на землю и таяли на асфальте. Лишь в середине декабря погода улучшилась. Первая же морозная ночь подсушила влажную землю, а следующие сделали ее твердой и гулкой.

Льдом укрылись и водоемы. На подледный лов ринулись первые рыболовы.

В просторный деревенский дом ловцы удачи ввалились шумно. Каждый приветствовал хозяйку, женщину лет сорока. Скрестив на груди руки, она слегка кланялась в ответ, а старых знакомых одаривала доброй, радостной улыбкой.

Разоблачившись, рыбаки расселись кто где мог и занялись подготовкой снастей к лову.

— Хуже нет, как брать мотыля в развесных пакетах. Наложат его, наверное, с утра, а к вечеру он и хвост поднять не может, — недовольно проворчал шофер с автобазы, грузно садясь на придвинутую к столу широкую скамейку.

— А ты хвост ему домкратом приподними, может,

он и зарезвится, — сострил щуплый рыбак с ребячьим лицом.

— Ты, Ваня, еще не выпил, а уже задираешься, — добродушно возразил шофер и, весело подмигнув, засмеялся.

— Придет время, выпьем, — солидно заявил щуплый. Тут же он смотал удочки, закрыл коробку с мормышками и в развалку пошел за своим рюкзаком.

Когда он выбил из бутылки пробку, Кучар остановил его.

— Потерпи, успеешь. Дай людям собраться.

— А что они дома делали? Тоже мне рыбаки!

— Ты ж рыбак с пеленок, а они начинающие.

«Рыбак с пеленок» выкурил папиросу, нетерпеливо зажег вторую. Наконец рыболовы начали выкладывать из чемоданов и рюкзаков свертки с едой и тут же предлагать друг другу свои припасы.

— Кому маринованных грибов?

— Грибков — с удовольствием. — Саблин взял ложку и наложил себе в тарелку невзрачных на вид опят.

— Перед грибками, товарищ полковник, не грех пропустить по стакашку, — обратился к Саблину рыбак с мальчишеским лицом.

— От стакашка, боюсь, поплывешь, — заметил Кучар.

— Я? Посмотрим, кто первый...

— Ваня, сядь, не хорохорься, — шофер посадил малорослого рыбака на стул. — Ты будешь расписываться носом по полу, когда Игнат Петрович только чуть-чуть покраснеет.

— Посмотрим.

Щуплый налил полный стакан водки и, не глотая, влил ее в себя. Но как ни храбрился, сивушная горечь заставила его страдальчески поморщиться.

— Закуси, милок. — Шофер подsunул ему густо наперченный огурец.

Рыбак отхватил добрую половину огурца и под общий смех вытаращил заблестевшие от такой закуски глаза.

За чаем щедро сыпались охотничьи рассказы и анекдоты.

Многие из этих историй Кучар знал по прошлым рыбалкам. Взяв шапку, он вышел на улицу.

Вокруг было так тихо, что, казалось, сама тишина зазвенела у него в ушах. Опьяненный покоем, он с минуту стоял неподвижно и только потом стал различать шумы поля и леса.

Вскоре донесся звонкий удар пешни, от которого лед охнул, и звук этот раскатисто разнесся в разные стороны и затерялся где-то в заснеженных окрестностях. Удар повторился еще и еще. Видно, кто-то из рыбаков, ночевавших в лесу, ставил жерлицы.

Вдруг сзади треснула сломанная ветка. Игнат обернулся: огромный рогатый лось, а за ним самка с теленком шли через огород к лесу.

— Красавец, — услышал Игнат голос Саблина. — Ах, хоть прицелиться б в тебя, наглец!

Игнат оглянулся. Саблин стоял на крыльце и восторженным взглядом провожал уходящих лосей.

— Да, — протянул Игнат, — хорошо! Осмелел.

— Обнаглел! — воскликнул Саблин. — Подходит к охотнику на ружейный выстрел и ухом не ведет.

Саблин поджал нижнюю губу и по-мальчишески свистнул. Бык с рогами в размах орлиных крыльев остановился, лениво повернул на свист голову и, постояв, трусцой побежал за теленком.

— Подышать вышел? — спросил Саблин и, не дождавшись ответа, сказал: — Хорошо, ах, хорошо! Так бы и захлебнулся свежестью.

— Да, — неохотно проговорил Кучар, не любивший громко выражать свои чувства.

— Уйду в отставку — прощай Москва. Подамся на свою Рязанщину.

— Когда?

— Вероятно, скоро скажут.

— Сказать могут. Только уходить вам нельзя.

— Это почему?

— Вам пятьдесят с небольшим. По определению Чехова — это пора мудрости.

— И начало дряхлости.

— Для педагога важно, чтобы голова не дряхла.

— Об этом ты скажи кадровикам.

— Скажу, если нужно будет.

— Пора бы научиться оценивать людей по уму и делу. С довоенных времен открыл одну закономерность: умный ищет умного, дурак — дурака, скромный — скром-

ного и лишь жадный к власти — подхалимов и трусов.

— К какому же разряду вы относите... генерала Дубкова? — осторожно спросил Кучар.

— Не глуп, но что-то в нем разболталось.

Лед тонко и раскатисто застонал, когда рыбаки, развернувшись в неровную цепь, пошли по нему осторожными мелкими шагами.

Пока Игнат ставил жерлицы, за косогором, на котором стояла церквушка с прохудившимся куполом, занялся сизо-розовый рассвет. Игнат пробивал последнюю лунку, а шофер уже стонал от радости: «Не уйдешь, собака! Не уйдешь! Ну, ну, дурачок, тихо. Порвешь леску. Оп!» И выбросил на лед килограммового окуня.

— Игнат Петрович, взгляни. Какой горбище! Красавец, а не окунь!

Кучар полюбовался матерым окунем и тут же вернулся к своим лункам. Удача соседа подстегнула его. Он нацепил на мормышку двух мотылей и бросил ее в лунку.

Едва Игнат поднял конец удочки, сторожок тут же резко согнулся. По рывку Игнат понял — на крючке ерш. Вытащил его и, сняв с крючка, не глядя, отбросил в сторону. Опушенная мормышка еще не дошла до дна, как на нее сел второй. Только этот был еще мельче, не ерш, а, как съязвил сосед, всего лишь подъяршик.

Игнат сменил место. На новом повторилось то же самое. Лишь в пятой лунке сторожок, подскочив вверх, тут же согнулся, леска натянулась и пошла к краю лунки. «Окунь, и хороший», — безошибочно определил Игнат. Боясь, что рыба порвет тонкую леску, он медленно повел ее к лунке. Окунь носился из стороны в сторону, но все же шел, и чем ближе к лунке, тем податливее.

Как только голова окуня с недоуменно вытаращенными глазами показалась из воды, Игнат схватил рыбу за голову и ловким движением больших пальцев высвободил мормышку. Полюбовался окунем — поменьше, чем у шофера, но ничего — и положил рядом с сундучком. Окунь изогнулся, подпрыгнул, шлепнулся

на гладкий лед и забился, будто на раскаленной сковороде.

Игнат через плечо осмотрел жерлицы. Красные сигнальные тряпицы, привязанные к лескам, висели неподвижно. Солнце уже поднялось выше обшарпанной церквушки, пора бы клевать щукам.

Подошел Саблин:

— Как?

— Мелочь.

— Тогда перекусим.

Но только они приступили к еде, хворостина дальней жерлицы два раза нагнулась, и красная тряпица тут же скрылась в лунке.

Игнат бросил крышку от термоса и кинулся к жерлице. Лед затрещал под его ногами.

С рогульки уже сползали последние витки лески. Игнат подхватил ее и резко дернул на себя. Леска туго натянулась и пошла в сторону. Щука! Игнат чуть отпустил шнур и снова потянул. Щука остервенело заматалась, натянула леску так, что та врезалась в мякоть ладони. Пришлось ослабить лесу. Щука, килограмма на четыре, ушла вглубь, сделала полукруг и стала. Игнат осторожно потянул ее к лунке. Она пошла медленно, сопротивляясь. Широкая хищная пасть рыбы наконец показалась в лунке. Уставшую и покорную, он выволок ее на лед. Довольный, разогнулся, вытер вспотевший лоб.

Посмотреть добытую хищницу сбежались рыбаки.

— Хороша! — протянул с завистью шофер. — А меня ерш одолев.

Разминая замлевшую спину, подошел Звездин.

— О, это да! — воскликнул он, увидев щуку.

— А как у вас?

— Одни ерши, все руки поколбл.

— Займитесь моими, — Кучар кивнул на жерлицы.

— Ни разу не приходилось, испорчу только.

— Наука простая: упадет флажок, берите за леску, дерните на себя и тащите.

— А она меня.

— Такие попадаются нечасто. Я поищу окуней.

На крутом берегу в синеватой мгле повалившегося крупными хлопьями снега показался Дубков.

— Эй, рыбак, какую мелюзгу поймал?! — крикнул он Звездину.

— Почему — мелюзгу? Смотри! — Звездин поднял шуку.

— Удишь первый раз, а врешь, как заправский рыбак. Лови, а то уйдет, — Дубков показал на жерлицы за спиной Звездина. Тот повернулся, но не сразу определил, куда же ему бежать.

— Под носом!

— Половину отдашь мне за помощь, — сказал Дубков, когда Звездин вытащил небольшую шуку.

— Ну, дудки! Ершей хочешь?

— Оставь себе, — снисходительно бросил Дубков и пошел вверх.

В поисках окуней Кучар забрел довольно далеко. Лед был тонкий, и Игнат уже не шел, а скользил по нему. И все же лед опасно гнулся, трещал. Вдруг он лопнул, и побелевший шов стрелой отскочил вправо. Кучар остановился, прислушался к удаляющемуся звону льда. Осторожно подался назад и, сделав полукруг, направился ближе к берегу. Когда опасный перезвон льда затих, он за шнурок подтянул пешню и пробил лунку.

Едва мормышка скрылась в воде, красный кончик сторожка метнулся вниз. Игнат машинально дернул леску — на крючке сидел окунь.

Сменив мотыля, он снова забросил мормышку. Клев повторился. Прошло не больше пяти минут, и на льду оказалась дюжина окуней. Только были они вовсе не такими, о которых мечтал рыболов.

Побросав окуней в ящик, Кучар окинул взглядом водоем, подыскивая новое место. Многие рыбаки бродили от одного берега к другому. Возвращаться к ним не было смысла, там клев кончился. Идти ближе к кромке льда — опасно. И все же именно туда неудержимо тянуло Кучара: там, где раньше протекала речушка, были омуты — владения матерых окуней.

По запорошенному снегом льду Игнат двинулся к облюбованному месту, пробуя лед пешней. Оставалось пройти не больше десяти шагов, когда лед под ним лопнул и Кучар с головой окунулся в холодную воду. Обожгло лицо, шею. Вынырнув, он ухватился за острый край льда. Передохнул, все еще не сознавая всей опас-

ности. Мысль о гибели, такой нелепой и, казалось, невозможной в мирные дни, даже не пришла ему в голову. Еще раз попытался выбраться на лед. Но кромка опять обломилась. Правую ногу начало сводить судорогой.

— Эй! — крикнул он негромко, будто стыдясь. — Веревку!

Никто не отозвался. Не поняли? Может быть, лучше крикнуть: «Помогите?» Игнату это слово показалось неслучайным — ему помогать! Когда это было? Всегда хватало своих сил. И он громко крикнул:

— Эй, там! Эй! Веревку!

Первым подбежал егерь. Он издали метнул длинный кусок крепкой бечевы с грузом на конце. Пролетев над головой, веревка плюхнулась в полынью. Кучар достал ее, накинул петлю на грудь и, подтягиваемый рыбаками, выбрался на лед. Метрах в десяти от полыни он встал на ноги. Под ногами от стекающей с одежды воды образовалась лужа.

— Игнат Петрович, на берег! — крикнул кто-то. — Бегом!

На берегу Игната раздели, обтерли, с трудом втиснули в чужую одежду, сверху накинули два полушубка. Полнолицый шофер с деловым видом раскупорил поллитровку.

— Открывай рот!

— К чему?

— Раскрывай, говорят!

Кучар повиновался. Шофер влил почти все содержимое бутылки ему в рот. Затем впихнул туда же кусок ветчины с хлебом.

— А теперь пройдишь по бережку. Да побыстрее, чтоб по́том прошибло. Давай, давай. Не все вам командовать, дай отвести душу. — Шофер затрясся в довольном смехе.

Кучар побрел по берегу, неуклюжий, в коротком полушубке, с завязанным чалмой шарфом на голове. Дошел до кромки льда. Присмотрелся: в наступившем безветрии воду сковывала дрема. Она еще дышала, то приподнимая, то опуская тонкую гибкую прозрачную корку льда. Вдруг по воде прошел шорох. Немного погодя он повторился. Услышав его, Кучар посмотрел в том направлении, куда удалялся звук: на воде тонкой

прозрачной полосой взялся лед. Потянул ветерок — его сломало. Но спустя некоторое время льдинки снова спаялись, образуя стеклянный лист с замысловатым резным рисунком.

— Что стоишь? — донесся голос шофера.

Кучар зашагал к нему.

— Согрелся?

— Ничего.

На косогоре, переваливаясь с боку на бок, показалась «победа» Дубкова. Ехать с начальником кафедры Кучару не хотелось, и он не торопился. Только увидев, что в машине, кроме шофера, никого нет, сложил свои снасти и пошел вверх по обрыву.

2

В дверь комнаты осторожно постучали. В негромком стуке Виктор услышал что-то знакомое и настороженно произнес:

— Войдите.

Дверь открылась.

— Ты?! — удивился Алов. Жидкие брови его недовольно поднялись и тут же опустились.

— Не ждал?

Ася перешагнула через порог.

Виктор двинулся навстречу ей, взял за руки выше локтей и, принужденно улынувшись, поцеловал в глаза, а не в губы, которые, знал он, были жесткие, как давно опавшие листья.

Он внес чемодан и упрекнул:

— Почему не предупредила? Минут пять, и я бы ушел. Или решила проверить, усердно ли пишу диссертацию?

— Просто хотела сделать тебе приятное, — невесело улыбнулась Ася.

— Но если бы меня не оказалось в келье, тебе бы не особенно приятно было ждать в коридоре.

По тому, как опустились руки жены, когда он снял с нее пальто, как она отошла к окну и оттуда бросила короткий сухой взгляд, он понял: Ася догадалась, куда он собирался.

Виктор не знал, как сейчас поступить. Оправдываться? Но она ничего ему не сказала. И в то же время не замечать ее упавшего настроения он не мог — его

давно уже выводили из себя эти всегда все понимающие глаза.

Ася вернулась к столу, открыла журнал.

Виктор сдержал раздражение, примирительно спросил:

— Ты прочла «Битву в пути»?

— Да.

— Лозунг, а не название.

— Может быть.

Жена не возражала, и Виктор понял, что она тоже не желает еще больше охлаждать и без того прохладную встречу.

— Ты похудел! — проговорила она, вздохнув.

— Выкладываюсь.

— Много сделал?

— Много. Не знаю, хорошо ли.

— Когда ты очень хотел, всегда своего добивался.

— Стать настоящим военным преподавателем я очень хочу.

— Значит, будешь. Я верю.

Виктор поцеловал жену, желая убедить ее, что это самое главное, а то, о чем она тревожится молча, пустяки.

— Сравниваешь? — спросил он, заметив, что Ася обводит глазами комнату. — Здесь с квартирами туго.

— Ничего. Комната светлая. Можно сделать уютной.

— Мне было не до этого. И ты меня избаловала, — поспешил добавить он, увидев в глазах Аси мягкий укор.

В ресторане веселилась разношерстная публика: молодежь, заскочившая сюда прямо с катка, мужчины средних лет, отмечающие какой-то юбилей или получение солидной премии, сошедшие с дорожек спортивные знаменитости и военные, укрывшиеся от зорких комендантских глаз.

Виктор отыскал свободные места поближе к оркестру и заказал ужин.

— Кого из старых знакомых ты здесь встретил? — спросила Ася.

— Почти никого. Игната и еще двух-трех однокашников. Остальные разъехались кто куда.

— Игната? — Голос Аси чуть дрогнул. — Как он?

— В семье, видимо, тоска. Вот и ворочает с места на место камни, полагая, что открывает новое.

— Почему тоска?

— Тебе лучше знать, — отшутился Виктор. — Жена у него смазливая, но простушка. Не может понять его сложной натуры.

В голосе Виктора Ася услышала недобрую иронию. Как она не вязалась с тем, что осталось в ее памяти об Игнате. Улыбнувшись одними губами, Ася тут же склонила голову, чтобы скрыть от мужа свои глаза. Ее жест Виктор понял как сомнение и предложил удостовериться самой.

— Если хочешь, можно пригласить его. Я в некоторой степени обязан сделать это — у него в гостях был, а к себе еще не приглашал.

Сославшись на недомогание, Лиза отказалась от приглашения, и Игнату пришлось ехать одному.

Дверь открыл Виктор. Настежь, чтобы гость не подумал, что ему здесь не рады.

Через плечо Виктора Игнат увидел Асю. Она очень изменилась: похудела, в морщинках на висках тени давней усталости, а в глазах, когда-то мягких, сдержанно веселых, — пытливая строгость, недоверие.

— Какой ты! — Ася не решилась высказать поразившую ее перемену в Игнате, которого она помнила высоким и плечистым, но по-студенчески поджарым.

— Какой? — чуть смутившись, спросил Игнат, заметив, что произвел на Асю недоброе впечатление.

— Огромный.

— С его фигурой в войсках быть, а он наукой занялся, — пошутил Виктор.

— В деревне мне говорят еще хлеще: «На твоей спине мешки таскать, а ты бумагу марашь».

Ася пригласила гостя сесть и стала расспрашивать его о жизни.

— Живу, — уклончиво проговорил Игнат.

— И все? — Ася с мягким укором приподняла тонко подкрашенные брови, пытаясь как-то поправить возникшую в первую минуту неловкость.

— Работаю.

— Девять лет прошло, есть же что рассказать, — с грустью проговорила Ася. В ее страдальческой улыбке промелькнула боязнь потерять еще одну дружбу.

— Он, наверное, рассказывал, — кивнул Игнат на Виктора.

— Примерно то же самое, что и ты.

— А я надеялся, — засмеялся Игнат. — Полагал, придется только комментировать. Что же рассказать? — спросил Игнат скорее себя, чем Асю. Он действительно был в затруднении. Ему самому хотелось спросить ее, как она прожила эти девять лет, а не рассказывать о себе. — Говорить о себе — нет настроения. К тому же Виктор все знает и будет зевать, слушая повесть прошлых лет.

— Хорошо написанную книгу с удовольствием читаешь второй раз, — ответил Виктор.

— Хорошая книга — интересно воспроизведенная жизнь с увесистой дозой домысла. Начни я домысливать, за кого вы меня примете?

— Промолчим деликатно, если заврешься.

— Лучше я вам расскажу об Игоре Краснове.

— Это тот, что на выпускном вечере читал свои стихи?

— Да. Издал книжку. Не верите? Недавно в «Звездочке» прочитал, кажется, его новое стихотворение. Послушайте.

Я вижу...

Летает спутник
Над моей планетой,
И сын-мальчишка,
Глядя в вышину,
Нет-нет да спросит
Батьку по секрету:
— А ты меня
Отпустишь на Луну?

Пропал малыш:
Парит в небесной бездне.
А я?
Я солидарен с ним вполне.
Шепчу: «Ага!» —
И древние созвездья
Миганьем
Поддакивают мне.

Я дорожу
Его ребячьей верой
И вижу:
Вот он вырос,
Он — пилот

И, сидя за прозрачной полусферой,
В разведку
Направляет звездолет.

— Смотри, действительно неплохо. А где он сейчас?
— В Венгрии.

Игнат начал рассказывать о Краснове. Он избрал Игоря, потому что в жизни друга было много сходного с его собственной. Рассказывая о нем, Игнат рассказывал и о себе. Участие, с которым он рисовал извилистый жизненный путь товарища, его не совсем складную семейную жизнь, многое сказало Асе. Она заметно пригорюнилась. Виктор почувствовал перемену в настроении жены и, желая, чтобы гость ничего не заметил, пригласил к столу.

— Давайте отметим нашу встречу, а то она сползает у нас на минорный тон. Извини, Игнат, у нас по-походному.

Разговор оживился, когда мужчины выпили для начала по фронтовой.

— Знаешь, Игнат... Какое неуклюжее твое имя, — перебила сама себя Ася.

— Лучшего поп не захотел дать, вот и мучаюсь... Ты что-то хотела сказать?

— Знаешь, что самое трудное в скитаниях жены офицера? Одиночество. Вам легче — вы всегда работаете. Нам, женщинам, порой так тяжело... не знаешь, куда себя деть. Хочется поговорить... и не с кем. Москвичам такие чувства неведомы.

— Сколько угодно, — сухо вато проговорил Виктор, услышав в словах жены жалобу не только на частые переезды. — Недавно в троллейбусе я услышал такую фразу: «В век атома и телевизора одиночество распространяется в геометрической прогрессии».

— Ну, — неопределенно возразил Кучар, не подобрав ответа, который бы не показался Асе обидным.

— Что «ну»? Часто мы ходим друг к другу, собираемся вместе, ездим к своим родственникам в другие города?

— Для частых встреч нужна другая экономика...

— Пора, — перебил Виктор, — после войны третья пятилетка заканчивается.

— А во что мы с тобой обходимся государству?

— До войны тоже была армия.

— С каким оснащением? Говорят, один современный американский бомбардировщик стоит более ста многоэтажных домов.

— Но согласись, чтобы заговорить непринужденно и откровенно, нужно хоть немного оживить себя.

Игнат промолчал. В умных глазах его Ася увидела и осуждение того, что говорил Виктор, и сомнение, сможет ли он с такими взглядами написать стоящую диссертацию; посредственную будет трудно защитить, а провал, понимала Ася, — это возвращение Виктора в медицинский институт, скучная работа, недовольство всем окружающим, оскорбительные слухи и, возможно, новые скитания по мало кому известным военным гарнизонам.

Улучив минуту, Ася примирительно проговорила:

— Ты бы помог ему, Игнат. В академии ты столько лет, знаешь, что нужно для диссертации.

— Новое нужно, а за новое часто быют. На защите меня так дубасили, едва выстоял.

— Но выстоял же...

— Твоя просьба и мои обязанности — совпадают: числюсь у Виктора консультантом. Но он, видимо, не хочет, чтоб ему помогали.

— Почему, Виктор?

— У меня все в черновиках, — ответил тот уклончиво.

— Дайте мне слово, что вы ради нашей дружбы — слышите? — забудете маленькие распри.

— Откуда ты взяла, что они существуют между нами? — возразил Виктор.

— Не надо препираться. Мы на десять лет постарели. Пора иначе относиться друг к другу, — проговорила Ася устало.

3

В первые дни после дружеской встречи отношения между Аловым и Кучаром заметно изменились к лучшему. Встречаясь, они усердно жали друг другу руки, осведомлялись о здоровье жен, обменивались новостями, но вскоре эти встречи стали более короткими — Виктор все куда-то спешил, кто-то его ждал или вызывал.

Игнат тоже, обмолвившись двумя-тремя фразами, уходил к себе в кабинет. Его вновь захватила работа, и он отдавал ей каждую свободную минуту.

Однажды он спросил Виктора, когда тот даст ему читать главы своей диссертации. Виктор пообещал принести их через одну-две недели, а принес только перед самыми зимними каникулами.

Диссертация была написана в том шумно агитационном стиле, который при беглом чтении скрывал многие недостатки и оставлял у нетребовательных оппонентов вполне сносное впечатление. Кучар не принадлежал к таким и решил ознакомиться с работой придирчивее. Он стал читать главы второй раз, отмечая словесную шелуху и пытаясь найти убедительные, что-то опровергающие, что-то утверждающие доказательства. Их почти не оказалось. Перелистал рукопись еще раз в надежде отыскать в ней те места, которые могли бы послужить опорой при переработке, и не нашел их. Это вызвало в нем огорчение. Близким людям, которые ждут от него, если не вполне хорошего, то обнадеживающего слова, предстояло сказать: диссертации нет, надо писать заново.

Чтобы обосновать свое мнение и убедить товарища в необходимости переработки диссертации, Кучар испещрил замечаниями и предложениями поля большинства страниц.

Виктор пришел на беседу в веселом настроении. Он пошутил с преподавателями, рассказал два свежих анекдота, вызвав дружный смех. Даже Игнат, думавший, как бы помягче начать неприятный разговор, невольно улыбнулся.

— Пойдем куда-нибудь в другое место, — предложил Кучар, зная по опыту, как тяжело в присутствии посторонних слушать о своих недостатках.

— Почему? — все еще непринужденно улыбаясь, спросил Алов.

— Здесь мы будем мешать.

Они поднялись этажом выше и заняли пустой класс. Игнат закурил, прищуренными глазами взглянул на беззаботного Виктора. Веселое настроение товарища не подходило к предстоящему разговору, и Кучар не знал, как начать его. «Может быть, пошутить, а потом уж... Нет, тогда будет труднее найти нужный тон». Погасив недокуренную папиросу, он спросил:

— Как ты сам оцениваешь написанные главы?

— Не шедевр... но после редактирования пойдут.

— У меня другое мнение. Над главами нужна еще очень большая работа.

— Если я возьму твое направление исследования. Но я иду своим путем, — возразил Алов категорически.

— Иди своим. Навязывать тебе ничего не хочу. Я два раза прочитал диссертацию. Далеко не каждая страница говорит о своем, доказывает это свое, новое.

Глаза офицеров встретились — Кучара доброжелательные, Алова — недоверчивые, оскорбленные.

— Подсаживайся, будем смотреть вместе, — Кучар отсчитал первые двадцать страниц. — Это введение. Если считать, что оно должно занять примерно три процента диссертации, вся работа должна составить около семисот. У тебя же, судя по представленным главам, будет только двести-двести пятьдесят. Хотя введение большое, ты не определяешь четко, ради чего затеял свой труд, какая необходимость в нем. Уже на первых страницах пытаешься решить некоторые теоретические вопросы. А надо только поставить их, и то самые важные. Решение их должно быть в самой диссертации.

Остановившись на последних страницах введения, где Алов с трескучей легковесностью писал об октябрьском Пленуме Центрального Комитета, заботе партии о Вооруженных Силах, Кучар заметил:

— К чему столько дифирамбов? Они режут ухо, как аллилуйщина. Создается впечатление, ты набрал их только для того, чтобы кто-то тебя не упрекнул в аполитичности и прочих грехах. Но истинная партийность — не в громких словах, а в деле. Твое дело — твоя диссертация, те главы, где ты ведешь конкретное исследование. А в них у тебя нет ничего о том, что сделала партия для перевооружения армии. В общем, введение надо написать заново. Не сейчас, а когда закончишь весь труд. Только Глинка начинал «Сусанина» с увертюры. Обычно ею кончают работу над оперой.

Кучар старался говорить как можно мягче, дружелюбно, и все же первые его замечания ошеломили Алова. Он не мог произнести ни одной фразы, будто его неожиданно окатили ледяной водой. Видя, как Виктор потрясен, Кучар не спеша перелистал несколько страниц и остановился там, где лежала вставка. Посмотрел ее и, когда Алов немного пришел в себя, продолжил:

— В этом разделе ты со знанием дела рассматриваешь новые средства борьбы, сообщаясь многие технические детали. А что дальше?

— Я же пишу, — вырвалось у Алова.

— Пишешь, да. Только что?

— Что могут дать новые средства борьбы.

— А где доказательства, что они могут дать только это? Выходит, читатель должен тебе верить на слово.

— Это само собой разумеющееся. Я же пишу не для пионеров.

— Ты обобщаешь возможности новых боевых средств. Вывод должен быть математически точен. Только тогда ты сумеешь опровергнуть меня и всех других, кто будет доказывать иное.

— Если хочешь, это сделать несложно.

Кучар промолчал, будто не заметил колкости в небрежно брошенной фразе.

Когда Кучар, еще не раскрывая страниц очередного раздела, высказал свое впечатление о нем, Алов окрысился. Тонкие губы его задергались, обнажив мелкие острые зубы. Неплохо зная историю минувшей войны, он засыпал Кучара примерами, которые подтверждали его точку зрения. Поскольку Кучар молчал, Алову показалось, что ему удалось поколебать основные доводы научного руководителя. Для большей убедительности он подошел к доске и стал вычерчивать возможные формы маневра при прорыве обороны. Правая рука его, раскрывая мел, размашисто чертила короткие изогнутые стрелы, а левая, с кулаком в кармане, то прижималась к боку, то подавалась вперед, и тогда острый локоть нацеливался на Кучара. Голос его стал звучать ровнее, в округлившихся глазах озлобленность сменилась заносчивой самоуверенностью.

Решимость, с которой Алов отстаивал свои взгляды, привела Игната к мысли, что его подопечный не захочет понять пороков диссертации, пока ему не будет высыпан весь ворох ошибок.

— Виктор, я высказал тебе свое мнение. Твое дело — принять его или... наплевать.

— Я не собираюсь плевать, но буду твердо стоять на своем там, где прав.

— Что же, вернемся немного назад. Ты прав, когда пишешь: новая техника обновляет тактику и оператив-

ное искусство. Но новое в военном искусстве проявляется не так просто, как это кажется на первый взгляд. Например, появились новые танки. Их огневая мощь возросла в несколько раз. Казалось бы, тактика должна стать значительно подвижнее. Но созданы реактивные управляемые и неуправляемые противотанковые снаряды, способные прожечь броню любого танка. Вместе с ними в оборону станут не менее совершенные танки. При твоей системе огневого поражения это ведет вот к чему...

Используя исходные данные Алова и коэффициенты взаимного поражения танков и противотанковых средств, Кучар произвел расчет по формуле массового обслуживания.

— Как видишь, когда из одной величины даже постепенно отнимается несколько меньших, в сумме примерно равных вычитаемому, в разности получается нуль или величина, близкая к нулю. — Кучар черным карандашом на лежащем перед ним листке бумаги нарисовал жирный круглый нуль. — Хоть он и круглый, но на нем не только не совершишь какой-то новый маневр, но и не сдвинешься с места. В нем нет силы, а без силы не может быть движения, особенно против силы активно сопротивляющейся — противника. А без движения не может быть победы в бою, операции, в войне. Как же создать движение? Прежде систему огня расстраивали массой артиллерийского и авиационного огня. Двести, триста стволов на километр фронта, сто тонн бомб на важные цели. Затем в этот же километр втискивали двадцать — тридцать танков, полк пехоты и многое другое. Сейчас, знаешь, невозможно скрытно сосредоточить войска на узком участке. Противник обнаружит их и уничтожит.

— Плотность войск у меня в два раза меньше принятой, — возразил Виктор.

— Одного рассредоточения недостаточно. Нужно постоянное движение, удар одновременно с сосредоточением, и если остановка, то — минимальная. Решил промежуточную задачу; опять рассредоточение и действие по направлениям.

— Такое маневрирование легко не бумаге, а на земле... знаем. Получится не один увесистый удар, а щелчок растопыренными пальцами.

— Главную силу удара сейчас составляют не танки

и пехота, а огонь, не прежний, извлекаемый из тысяч огневых единиц, а новый, миллионами тонн тротила сосредоточенный в одной единице. На долю обычного огня останется лишь поражение оставшихся сил противника. Если же ты хочешь поднять тактический коэффициент полезного действия обычных средств, например танков, надо опять же определить для них наиболее выгодные условия ведения огня, то есть максимальное поражение противника при минимальных своих потерях. Без знания теории исследования операций этого, Виктор, сделать невозможно, если ты не хочешь обманывать и себя и других.

Кучар шаг за шагом разрушал теоретические конструкции Алова, пока строение, называемое диссертацией, не рухнуло на глазах у ее автора.

Уже давно Алов перестал возражать, он лишь машинально следил за тем, как Кучар перелистывает страницы его диссертации. Кипа справа становилась все тоньше и тоньше, а надежд у Алова все меньше и меньше. Вот перевернут последний лист. Пауза. За ней слова утешения.

— Физику, биологу в исследовании трудно, очень трудно. Истина о веществе, жизни скрыта под семью замками, ключи от которых никто никогда не делал. Но во время поисков ключей предмет исследования не меняется, активно не сопротивляется, найдешь их — сдастся. У нас другие трудности. Наш предмет познания — клубок живых непримиримых сплетений. Свои — готовы тебе подчиниться, чужие — противник — готовы разрушить все, чем ты хочешь его укротить. И это надо учесть...

Кучар умолк. Алов приподнялся на стуле, дрожащими руками сгреб рукопись и, забыв проститься, вышел из класса. Бросив ее у себя в классе на стол, он, разбитый; бессильно опустился на диван. Мысли забились, как в судорогах. Лишь одно слово отчетливо повторялось в сознании: «Провал, провал».

Просидев с полчаса, Виктор вскочил и побежал к столу, почти уверенный, что Игнат только из мести разнес диссертацию. А вообще она не так уж плоха. Время есть, ее можно выправить. Торопливо принялся просматривать листы рукописи. Он по нескольку раз перечитывал замечания Кучара, пытаясь найти в них ошибки. Но ничего не находил: этот бык во всем был прав.

В последний раз маленькая семья Майеров в полном составе села за стол — с ночным поездом Вольфганг уезжал в Москву. Неизбежность новой разлуки рождала грусть. Уже съедены остатки привезенной Вольфгангом паюсной икры, выпит кофе, а разговор все не вязался. Мать недоумевала: почему ее мальчик на три дня раньше уезжает из дому? О чем-то догадывалась, но не расспрашивала. Наконец, она убрала посуду и, решившись, очевидно, на что-то очень важное для себя, под села к сыну.

— Вольфганг, ты помнишь русского генерала? Того, что во время войны работал вместе с нами на дядиной ферме?

Сын кивнул головой.

— Ты не встречал его в Москве?

— Нет.

— Я тебе говорила, что ездила на похороны дяди Карла. Там я нашла бумаги этого генерала. В свое время он сказал мне, где их спрятал, и просил при возможности передать русским. Но ты помнишь дядю Карла — он всегда был злым, недобрым человеком и не разрешал копаться в его доме. Поэтому я так долго не могла выполнить просьбу Николая Степановича. Теперь они у меня.

— Я могу их посмотреть?

— Конечно. Там такие же стрелы, как чертишь ты, когда о чем-нибудь думаешь.

В последних словах матери прозвучал вопрос, но Вольфганг не ответил на него.

Мать принесла толстую тетрадь, исписанную четким штабным почерком. На первой ее странице было написано:

«Соотечественники!

Как только одна добрая немецкая женщина передаст тебе мои записи, перешли их в Москву, в военную академию или тем людям, которые будут писать историю Великой Отечественной войны. Может быть, мои скромные заметки восполнят пробелы в некоторых документах (их много утеряно в первые месяцы войны), позволят понять причины нашего отступления и предотвратить в будущем то, что произошло с нами в самом начале этой, уже близящейся к концу войны».

Вольфганг поднял голову, посмотрел на мать, притихшую в тревожном ожидании. Глазами сказал: «Успокойся, ты сберегла что-то хорошее и важное», и углубился в чтение.

«Каждая беда имеет свои причины. И самые горькие из них те, которые можно было предотвратить...»

Читая страницы о предвоенной работе генерала в академии и войсках, Вольфганг все яснее вспоминал того, кто их писал. Он отчетливо видел его худую фигуру, седую голову, внимательные, редко улыбающиеся глаза.

«...В канун войны я долго не мог уснуть: беспокоили сведения о войсках, накапливавшихся по ту сторону границы. Проснулся в два часа от гула чужого самолета. Хотя это был и не первый нарушитель, самоуверенная наглость, с которой он летел над городом, рассеяла сомнения: там, за границей, не просто войска другой страны, там противник. Позвонил в штаб армии — открыть огонь не разрешили.

Такое сочетание беспечности с осторожностью казалось невероятным и необъяснимым с точки зрения здравого смысла. Вся история войн говорила: было бы желание, повод начать войну всегда найдется.

Война началась проще, без всякого повода. Клинья бомбардировщиков обрушили на город, где стояли штаб корпуса и части одной дивизии, свой смертоносный груз. Нарушилась связь с армией, второй дивизией.

С командиром корпуса, генералом Залетовым, я встретился, когда вернулся из дивизии в штаб. Высокий и могучий, он сидел, облокотившись одной рукой о стол, в такой позе, будто вот-вот хотел вскочить и куда-то идти. Его маленькие черные глаза под густыми широкими бровями выглядели суровыми. И в то же время в них можно было заметить растерянность.

Увидев меня, он глухо спросил:

— Что там в войсках?

— Потерь около десяти процентов, товарищ генерал. Полки начали выходить в районы сосредоточения. Убиты командир дивизии и начальник штаба.

— Да-а? — вырвалось у командира корпуса испуганно, и тут же, чтобы скрыть свое смятение, он воскликнул: — Надо вызывать девятую, а твои радисты,

черт их побери, не могут связаться с ней! Вот что, кати в девятую и гони ее сюда.

Девятой дивизией командовал тридцатипятилетний полковник Борис Карлович Креер. Моя помощь ему была не нужна. Посылать меня в качестве простого связного было нецелесообразно. Но возражать генералу, знал я, только усиливать его упрямство.

Полковника Креера я нашел в лесу, где сосредоточилась дивизия по тревоге. Он стоял на открытой поляне, широкоплечий, с узкой талией, перетянутой новым ремнем. Я слез с машины и подошел к нему. Он громко отдавал короткие распоряжения, подкрепляя их резкими жестами. Увидев меня, немного смутился, понимая, что ведет себя не с тем хладнокровием, с каким должен руководить людьми на войне опытный командир дивизии. Поздоровавшись, я передал ему приказ командира. Вместе мы обсудили порядок выдвижения дивизии к границе. Пока штаб готовил распоряжение, он предложил мне перекусить.

— А бойцы накормлены?

— Как всегда, тылы стараются сделать все, чтобы вызвать к себе недовольство, — невесело пошутил Креер и добавил: — Все еще походные кухни распределяют.

— Слишком дорого обходится войскам нерасторопность тыловиков, Борис Карлович. И тут одного возмущения мало.

— Бить их, что ли, Николай Степанович?

— Вникать в их работу и требовать. Кстати, укомплектовали транспортом тылы дивизии?

— Нет еще. Для боевых подразделений машин не хватает.

— Не я у вас вел занятия по тактике тыла. Двойку вам за это. Исправьте ошибку. В наступление перейдем не через день. А обороняться пехота может и без машин... Запаситесь как следует боеприпасами и горючим. Подготовьте машин пятьдесят со снарядами для сороковой дивизии.

Я знал состояние тылов армии. Там были только начальники, но без подразделений подвоза, баз и складов. Значит, о снабжении пока надо заботиться самим.

Вскоре дивизия построилась для марша, и я с офицером связи направился в обратный путь.

Комкор, не дождавшись конца моего доклада, нетерпеливо спросил:

— Где девятая?

— На марше.

— Когда будет здесь?

— Только к утру.

— К утру?! Враг уже оттяпал у нас тридцать километров, а ты — к утру! Утром я намерен перейти в наступление и выбить противника! «Ни пяди своей земли», по-ни-маешь?!

— Товарищ генерал, — попытался возразить я. — Оперативная обстановка нам неизвестна. Наступать одной дивизией...

— Не дивизией, а корпусом! — перебил он.

— От сороковой осталось, видимо, не больше половины. У нее на исходе боеприпасы.

— Подвезут.

— Подвозить, товарищ генерал, пока некому.

— Обязаны, значит, должны. Нам бы свою задачу выполнить.

На войне между «обязан» и «должен» всегда стоит не только противник, но и многие другие обстоятельства и трудности. Это всегда приходится учитывать.

— Товарищ генерал, они не знают, что с нами и где мы. Как же они подвезут?

— Хватит! Пиши девятой приказ. В шесть часов развернуться на рубеже, где мы сейчас стоим, и севернее, атаковать город, выбить противника и восстановить положение по государственной границе.

По этому приказу девятая за день должна была с боями пройти тридцать-тридцать пять километров. При открытом правом фланге и незащищенном левом, где, судя по интенсивности бомбовых ударов и пожарам, противник наносил главный удар и далеко продвинулся в глубь нашей территории, такая задача была невыполнима и опасна последствиями.

И все же девятая с ходу перешла в наступление. Ей помогла сороковая. Противник, не ожидая встречного удара, не выдержал, начал отходить. Наши войска устремились за ним.

Командир корпуса торжествовал. Я же расценивал эту победу почти как проигрыш боя — чем дальше продвигалась девятая, тем больше оголялись ее фланги.

Корпус, подобно лягушке, сам заползал в пасть удаву. Судя по многим признакам, противник, наступавший южнее, зашел в наш тыл километров на сорок-пятьдесят.

Ведя бои за город, девятая замедлила продвижение, и это помогло нам избежать дальнейшего ухудшения положения.

Наконец, офицер связи привез приказ командующего армией: отойти на оборонительный рубеж, который находился в сорока километрах восточнее того места, откуда корпус перешел в наступление.

— Как отходить! — вырвалось у комкора. — Мы наступаем, бьем врага.

— Отходить, — подтвердил майор. Он развернул карту и объяснил оперативную обстановку.

— Не может быть! — растерянно проговорил комкор, видя, насколько осложнил общую обстановку своим наступлением. — Что будем делать? — обратился он ко мне после долгого молчания.

— Отступать, товарищ генерал, — ответил я.

— Отступать? Куда? Попались, как мышь в мышеловку. Осталось только захлопнуть дверцу.

— Сейчас вышлем заслоны и задержим противника на подступах к узлам дорог.

— Думаешь, успеем?

— Выбросим на машинах, успеют.

Комкор поднял тяжелую руку, подержал ее в воздухе и только тогда выдавил короткое «ну», давая этим свое согласие на отход.

Прикрывшись заслонами, выброшенными к востоку, корпус за ночь отошел километров на сорок и сумел избежать угрозы полного окружения. Но занять рубеж, указанный командующим армией, мы опоздали. Противник захватил его. Днем пришлось отходить дальше, ведя арьергардные бои.

Не помню, на каком этапе моторизованная группа противника вклинилась между главными силами корпуса и арьергардом. Отрезанный от главных сил, он мог быть легко разгромлен и полностью уничтожен.

Узнав о случившемся, комкор распорядился:

— Передайте мой приказ Крееру: лично выехать и принять командование арьергардом, организовать круговую оборону и биться... до последнего солдата.

По замыслу это было нечто похожее на ту задачу, которую выполнял отряд Багратиона под Шенграбеном — боем сковать противника, если надо, погибнуть, но дать главным силам выйти из-под удара. Но условия у нас были значительно сложнее. Там Мюрат стоял перед арьергардом, здесь арьергард был отрезан, и противник оказался у него в тылу. Тогда скорость продвижения войск обеих сторон была почти равной, сейчас моторизованные части противника могли в течение суток обогнать нас и вклиниться в наши порядки. И все же надо было спасать арьергард, ибо уничтожение его означало бы потерю одной трети всех сил корпуса. Еще одна такая утрата, и к старой границе вместо корпуса выйдет жалкая группа.

Получив новый приказ, Креер тут же изложил мне свой замысел. Коротким ударом в тыл моторизованного полка противника он хотел сорвать его атаку, а ночью неожиданно нанести удар сразу с двух сторон и выскочить из пока еще плохо завязанного немцами мешка. Замысел удался, арьергард соединился с главными силами.

До старой границы оставалось два-три перехода, когда наш путь пересекли танковые войска противника. Мы не могли продолжать отход в прежнем направлении. Еще десять километров, и мы бы столкнулись с колоннами врага. Вести бой с танками без танков было бессмысленно.

Штаб выслал разведку в различных направлениях, чтобы определить пути возможного отхода. К вечеру выяснилось: передовые колонны танков противника задержались на дальних подступах к Минску. К северу слышалась не особенно сильная ружейно-пулеметная и артиллерийская стрельба.

Выслушав обстановку, командир корпуса обвел всех утомленным взглядом.

— Ну? Что будем делать?

Я предложил подождать данных от разведывательных отрядов, высланных в южном и юго-восточном направлениях.

— Дождемся, когда завяжут мешок. Нет. Никаких ожиданий. Пока немец спит, поднажмем и выскочим.

— Не успеем, товарищ генерал, — высказал сомнение полковой комиссар Казарян.

— Успеем.

— За последние двое суток люди отдыхали всего четыре часа и не ели со вчерашнего вечера. Сорок километров они не пройдут, — пытался убедить комкора начальник политотдела.

— Пройдут, я знаю своих солдат.

— Допустим, товарищ генерал, авангард пройдет сорок километров. Но главные силы все равно не успеют. Чтобы пропустить через горловину колонны, времени надо в два раза больше, — вмешался в спор я, намереваясь поддержать начальника политотдела.

— Успеем, — упрямо повторил Залетов.

— В узкий проход, по всей вероятности, устремятся и другие соединения. Ночью могут смешаться боевые порядки, возникнут заторы на дорогах. Кто-то должен распределить задачи, согласовать действия.

— Я сам туда поеду и все сделаю.

Комкор выступил с авангардом в том направлении, где по его предположениям можно было вывести корпус из-под угрозы окружения. За ним пошли главные силы.

Невероятно уставший, я уснул.

Перед рассветом меня разбудил начальник оперативного отдела. Оказалось, в темноте авангард натолкнулся на моторизованную часть противника. Попробовал сбить ее, но попытка не удалась. Командир корпуса чуть не попал в плен. При отходе был тяжело ранен и скончался. Измученный переходами корпус оказался в тяжелом положении. Время было потеряно, пути на восток закрыты.

С утра танковые колонны противника пошли дальше на север, к Минску, мы же двинулись в обратном направлении, пытаясь найти удобное для прорыва из окружения место.

Пока мы возвращались, обстановка ухудшилась: неожиданно в свободном коридоре появились две колонны войск противника, следующие одна за другой. Судя по их глубине, шло около двух пехотных полков.

Когда я прибыл в арьергард, ставший теперь авангардом, полковник Креер предложил:

— Не дать ли нам битву при Тразименском озере?

Мысль была хорошая. Противник двигался беспечно, не зная, что совсем рядом с ним по меньшей мере дивизия. Внезапным ударом можно разгромить его в корот-

кий срок, и тогда путь к укрепленному району будет почти открыт: по лесам противнику трудно нас преследовать.

Скрытно расположив полки в лесу вдоль дороги, мы стали ждать подхода колонн противника. Вот показалось головное охранение, а за ним первая колонна. Солдаты, построенные по четыре, шли медленно, в ногу. Серо-зеленая колонна ползла как гусеница. Никогда еще я не видел противника так близко. Хотелось самому лечь за пулемет и прострочить колонну пулями. Но надо было выждать благоприятный момент. Наконец, обе колонны оказались перед нами. Скорее, не сигнал, а единое чувство, охватившее всех на фронте протяженностью около десяти километров, заставило нас одновременно открыть огонь. А через минуту полки ринулись в атаку на самоуверенно шагающих по нашей земле захватчиков.

С противником было покончено молниеносно.

...За Днепром корпус отвели в тыл. Девятую дивизию пополнили. Вместо сороковой дивизии в корпус влили две новые, еще не участвовавшие в боях. Бойцы этих дивизий еще не убедились в силе своего оружия. Превеличенные слухи пугали людей, у них не было твердой уверенности в успехе. Надо было как-то обстрелять полки, а еще лучше одержать хотя бы одну маленькую победу. Тогда на них можно было бы возложить любую задачу...»

Вольфганг бегло перелистал страницы, на которых рассматривались особенности наступления в начальный период войны. К теме его дипломной работы это не относилось, и он решил прочитать их позже. Отыскав продолжение описания оборонительных действий, Вольфганг опять склонился над тетрадью.

«...Очередное наступление противник предпринял в обычной своей манере. Главный удар группировки, действовавшей на нашем направлении, пришелся по корпусу, которым командовал я. Трудно, очень трудно досталось. Но бойцы, узнавшие силу своего оружия, выдержали, хотя в нашем распоряжении был всего один батальон танков и ничтожно мало противотанковых средств. Гитлеровцы не смогли глубоко проникнуть в полосу обороны корпуса. И резервы армии были сохранены.

Если бы противник ввел в бой свой подвижной резерв, возможно, добился бы успеха. Но он не рискнул или не захотел нести лишние потери, будучи уверенным, что и так нащупает наше слабое место. А возможно, оно уже было найдено на другом участке.

У нашей армии забрали почти все резервы. Само по себе такое решение командования фронта могло быть правильным. Но оно было несвоевременным: войска противника, стоявшие перед нами, перегруппировывались и в любую минуту могли возобновить наступление.

Примерно так оно и произошло. Неожиданным ударом гитлеровцы прорвали оборону на стыке с правым соседом корпуса. При этом они разгромили почти два наших полка и стали быстро распространяться в глубину. Задержать врага и восстановить прежнее положение было нечем.

К вечеру прекратилась связь со штабом армии. Что там произошло, можно было только предполагать: танки вышли к командному пункту, и он вынужден был отойти или был разгромлен.

С восходом солнца наступление противника возобновилось. Его войска все глубже заходили к нам в тыл, а мы не знали ни положения всей армии, ни дальнейшей нашей задачи. Лишь к обеду подала голос армейская радиостанция. Меня запросил начальник оперативного отдела. Я доложил обстановку, высказал свои соображения. Через два часа повторилось то же, хотя нельзя было терять ни минуты — противник все дальше уходил на восток — и было совершенно ясно, что фронт обороны прорван, что спасти положение армии можно только быстрым перестроением обороны.

Вскоре связь с группой штаба армии прекратилась. Что с ней случилось — не знаю, возможно, она полностью погибла. Положение наше становилось тяжелым. В сложившейся обстановке начальник оперативного отдела армии или кто другой обязан был связаться со штабом фронта и узнать дальнейшую задачу корпуса или принять решение сам. Ничего этого не было сделано. Из-за чьей-то нерешительности и бездеятельности было потеряно несколько часов, которые потом обошлись нам в тридцать тысяч убитыми и пленными.

Хотя корпус и потерял два полка, сил у нас оставалось еще достаточно и моральный дух бойцов был

высок. Все знали: врага можно разбить и его нужно разбить. Для этого требовалось как можно быстрее отвести корпус в глубину обороны и занять позиции на самом угрожаемом направлении. Там же, где мы находились, мы почти не приносили пользы: противника перед нашим фронтом было немного; к тому же у нас таяли запасы боеприпасов, горючего и продовольствия.

Противник правильно оценил силы нашего корпуса. Выпускать его из почти завязанного мешка он не собирался и для надежности отрезал нам пути отхода двумя рядами заслонов. Одним словом, когда (так и не получив приказа командующего) я распорядился начать подготовку к отступлению, дорогу нам преградили по меньшей мере две дивизии. Это было уже полное и плотное окружение.

Для обсуждения сложившейся обстановки я собрал командиров дивизий. Первым пришел полковник Креер, хмурый, с плотно сжатыми губами. Он был недоволен и не старался скрыть этого.

— Как самочувствие? — спросил я, чтобы дать ему выговориться.

— Гадкое! — раздраженно ответил он. — Позволить окружить такой корпус... Надо быть или безмозглым идиотом или предателем. Ведь мы уже ученые. Казалось бы, пора понять, как надо вести войну. Нет! Ешь дивизии, глотай корпуса, может быть, какой-нибудь застрянет в горле. Наивная надежда!

— Командующий армией — достаточно грамотный генерал, — возразил я.

— Кто же виноват?

— Кто? Может быть, случайность, ошибка или... просто чья-то боязнь взять на себя ответственность за отвод войск.

— Нас на то и учили, чтобы мы могли предвидеть случайности и не совершали грубых ошибок. А боязливых не надо было допускать к командованию...

— Гнев, Борис Карлович, сейчас бесполезен. Надо искать выход.

Подошли другие командиры дивизий. Начальник штаба корпуса доложил обстановку. После короткого обсуждения мы решили пробиваться на юго-восток, где противник был слабее.

План выхода из окружения был несложный. Демонстрацией подготовки прорыва на северо-восточном участке отвлечь внимание противника от истинного направления, затем внезапным ударом распороть крепко завязанный мешок. Руководство прорывом я взял на себя, демонстрацию и удержание обороны до выхода из кольца главных сил корпуса возложил на Бориса Карловича Креера. Он уже выполнял подобные задачи, и можно было надеяться — выполнит и на этот раз.

Еще днём усилили резерв, а с наступлением темноты ввели его в состав первого эшелона. Так была создана ударная группировка прорыва. В девять часов артиллерия открыла огонь по ложному участку прорыва, затем пехота там же произвела короткий удар. На истинном участке прорыва войска двинулись без всякого шума.

Только пехотинцам понятно то чувство крайнего напряжения, которое овладевает бойцами, когда надо без огня идти на огонь. Но они шли по тихой, едва слышной команде своих командиров, шли без единого выстрела, который мог бы подавить страх, укрепить уверенность в победе. Эту уверенность заменяло желание во что бы то ни стало пробиться к своим, избежать плена.

Прошло десять минут с того мгновения, как скрылись в кустарнике безмолвные силуэты бойцов. В каждом была жизнь и жажда жизни. Хотелось взглянуть им всем в глаза, разделить самую трудную и опасную их солдатскую обязанность.

На двенадцатой минуте послышались короткие, захлебывающиеся очереди автоматов, щелчки винтовочных выстрелов. Затем они рассыпались широко по лесу и стали удаляться — прорыв удался.

Вслед за ударной группой двинулись машины с ранеными и тылы. К утру к участку прорыва стянулись подразделения Креера.

Поручив ему командовать арьергардом, я с ординарцем поскакал к штабу корпуса.

Утром противник разобрался в том, что произошло ночью, и почти всеми своими силами навалился на наш арьергард. Креер упорно удерживал позиции, давал нам возможность уйти как можно дальше.

Во второй половине дня войска уже начали втягиваться в большой массив леса, когда я получил изве-

стие: полковник Креер тяжело ранен, а аррьергард не выдержал нажима противника... Я помчался назад. С трудом удалось остановить дрогнувших людей.

Эта беда оказалась еще не самой большой. На исходе дня противник нанес сильный удар по вытянувшейся колонне корпуса, разрубил ее надвое и тут же ринулся на те силы, которые уходили на восток. Успел ли он догнать их и снова окружить, нам не удалось узнать. В погоне за главными силами он потерял почти целый день. Воспользовавшись паузой, мы устремились на север, куда могли отойти некоторые наши разбитые части. По дороге к нам пристало человек пятьсот. Теперь у нас было около четырех тысяч человек, вооруженных только легким оружием.

В трех глухих деревнях разместили раненых. Я пошел попрощаться с Борисом Карловичем. Он услышал мои шаги, открыл глаза.

— Если можно, Николай Степанович, — прошептал он слабо, — вместе с вами. Пощады от них мне не будет. Я боюсь... не смерти, а клеветы, грязи, которой они оболют мое имя. У меня сын, я не хочу... чтоб он забыл, отказался от меня.

Мы с надеждой приближались к темно-зеленой с желтыми и оранжевыми пятнами полосе леса. Оставалось всего пять-шесть километров, когда на нашем пути появились немецкие танки, бронетранспортеры и цепи пехоты.

Неожиданность их появления ошеломила нас. Двигались они быстро, уверенно, нагло, без единого выстрела. Один танк на полном ходу устремился на колонну. Вот уже осталось пятьдесят, тридцать, десять метров... В пяти метрах он резко остановился. Из башни вылез офицер и повелительно крикнул:

— Хенде хох! Руки вверх!

Никто не поднял рук, бойцы только покосились друг на друга. Офицер повторил свое требование уже с раздражением, обозвав нас русскими свиньями.

В ответ раздался одиночный винтовочный выстрел. Офицер свалился на башню. Тут же грохнуло орудие танка. В живой колонне образовалась большая брешь. Разрыв снаряда как бы уничтожил что-то невидимое, что объединяло всех нас. Колонна рассыпалась, люди

бросились кто куда. Но их встретил жестокий огонь, их начали давить гусеницы танков, рвать снаряды и мины.

Тяжело вспоминать эту жуткую картину истребления. Смотреть на нее было невыносимо, особенно когда вблизи разорвавшийся снаряд изуродовал лицо молодому красноармейцу, и его голубые, ставшие детскими глаза охватил страх от подступившей к нему смерти. У меня невольно дрогнули руки, хотелось поднять их и остановить бессмысленную гибель людей. Но что-то удержало, может быть, предчувствие тех нечеловеческих страданий, которые пришлось перенести здесь, в плену. И многие не перенесли их. Для этих было бы лучше, если бы они погибли на том злополучном поле, перед лесом.

Вторым снарядом сбило меня. Когда я очнулся, люди с поднятыми руками брели к месту сбора. В плен. Это было так противоестественно нашим понятиям о воинском долге, что хотелось крикнуть: «Что вы делаете, опустите руки!» Попытался встать, остановить людей. Но резкая боль в плече и бедре уложила меня на землю. Когда она утихла, подумал: сейчас, может быть, так лучше — малейшее сопротивление привело бы к немедленному истреблению, а живые еще могут найти дорогу к свободе и борьбе.

Немногие нашли. Первым погиб Борис Карлович.

Его разыскали, когда оставшихся в живых выстроили вдоль дороги. Принесли на носилках, положили перед строем. Высокий офицер в куцом серо-зеленом мундире небрежной походкой обошел вокруг носилок и махнул желтой перчаткой.

Автоматная очередь прервала жизнь русского немца, коммуниста Бориса Карловича Креера.

Нас погнали на запад...»

Вольфганг прервал чтение. Он догадывался, о чем рассказывали последние страницы тетради. Читать о надругательствах соотечественников над пленными Вольфганг не мог. Он осторожно, как большую драгоценность, положил рукопись на середину стола. Встал, закурил и снова присел. Часы пробили два. За дверью послышался вздох, осторожные шаги матери. Она не спит. Неожиданно вспомнилось одно происшествие из детства. Он вышел из школы, и тут же на него набро-

сились ребята. Они били его и кричали: «Русс, русс». Тогда он, одиннадцатилетний мальчик, расплакался от боли и обиды, хотел сбежать из дому. А сейчас ему стало стыдно. Тогда он ненавидел это прозвище, а вот мать спасла этого русского, сохранила его записи, переносила стыд и, быть может, рискуя жизнью так же, как рисковал этот комбриг Душкин.

Юноша вскочил и быстро пошел в другую комнату. Его встретили наполненные тревогой глаза матери. Он закрыл их поцелуями. Им не о чем беспокоиться, ими можно только гордиться, добрыми мамиными глазами. И Вольфганг остался еще на сутки.

Утренним поездом он выехал в Берлин, а вечером уже был на Внуковском аэродроме.

В общежитии не было ни души. Дежурная тетя Даша, склонив голову на плечо, дремала. Вольфганг дернул дверь своей комнаты — заперта. Подошел к тете Даше.

— Ох, вздремнула. Как же это я? — быстро заговорила она, грузно поднимаясь со стула. — Приехал? Здравствуй, Вольфганг. Пойдем я тебе открою. Только никого еще нет. Что же ты так рано, а?

— Дипломную надо писать, — соврал Вольфганг.

— Ну, заходи. Чистенько здесь у тебя? Ну и хорошо. Располагайся. Может, помочь?

— Спасибо.

Оставшись один, Вольфганг включил радио. Диктор объявил время — двадцать один час сорок пять минут, очередной номер программы — популярные мелодии советских композиторов. Слушая музыку, Вольфганг принялся распаковывать чемодан. В правом углу под аккуратно уложенным матерью бельем отыскал кобальтовую коробочку. Открыл. Золотое кольцо сверкнуло теплым блеском, напомнив о Светлане и надеждах, с которыми летел в Москву. Ему хотелось сегодня же сказать ей о своей любви, услышать ответ и надеть на безымянный палец левой руки любимой девушки кольцо. Пусть она не носит его — у русских не приняты помолвки, — он все же хотел, чтобы Светлана приняла символ его любви.

Вольфганг вышел в коридор, где на столике у дежурной стоял телефон. Чтобы остаться одному, он попросил тетю Дашу погладить ему рубашки.

Телефона Светланы у Вольфганга не было. Он решил узнать его у дежурного по академии. Когда тот назвал номер домашнего телефона начальника кафедры, Вольфганг испугался: вдруг на его звонок ответит сам генерал, всегда такой строгий и неприступный. Узнает, кто интересуется его дочерью, и положит конец их встречам.

Надежда пересилила страх, и Вольфганг набрал нужный номер.

— Вас слушают, — тихо отозвался в трубке женский голос, — видимо, матери Светланы.

Стараясь произнести слова без акцента, Вольфганг тихо проговорил:

— Попросите, пожалуйста, Светлану.

И тут же ужаснулся. Проклятое «л» прозвучало не по-русски мягко.

Ответ последовал не сразу и был он настолько сдержанным, что Вольфганг понял — о нем в семье знают и его появления боятся, как боятся неотвратимого несчастья.

Сдержанность почувствовал Вольфганг и в голосе Светланы.

— Это я, Вольфганг, — сказал он. — Прошу извинить, что так поздно. Мне очень, очень хотелось.

— У вас кончились каникулы? — задала Светлана первый пришедший ей в голову вопрос.

— Нет. У меня еще два свободных дня. Когда мы встретимся?

Светлана поняла: он вернулся досрочно из-за нее; она рада была с ним встретиться, хотела договориться о месте и времени встречи, но в присутствии мамы не посмела. Одобрит ли она ее встречи с Вольфгангом?

— Я завтра уезжаю за город, — тихо и как-то виновато проговорила она в трубку.

Сказать так, чтобы Вольфганг понял все, а мама ни о чем не догадалась, она не смогла.

— Сегодня вы можете... выйти?

— Нет, — ответила Светлана, чувствуя на себе взгляд матери, и замолчала.

Молчал и Вольфганг. Она догадывалась почему. Представила себе его грустные, обиженные глаза, и ей захотелось тут же сказать: «Позвони в понедельник». Но в трубке уже раздался щелчок.

Расстроенная Светлана отошла от телефона. И встретилась с глазами матери.

— Кто он? — не скрывая тревоги, спросила Мария Петровна.

— Знакомый. Он учится у папы.

«Нет, ты не то мне говоришь», — чуть было не вырвалось у Марии Петровны. И вырвалось бы непременно, если бы по сдвинутым бровям дочери не поняла, что та не может, никак не может поступить иначе, потому что это было бы несправедливо к тому, кто звонил. Потом... ей самой хочется его видеть.

После чая Кирилл Платонович подсел к Алову, который уныло курил папиросу за папиросой.

— Ты что это дымишь и смотришь мрачнее голодного волчонка?.. Непохоже на тебя. Стряслось что?

Алов затаился, пожал узкими плечами, коротко произнес:

— Да нет...

— А все же? Почему один пришел?

— Нездорова.

— Я тебе дам, нездорова. Пора утихомириться.

— Дома все в порядке. Или почти... Так, мелочь.

— Мудрец замудрил?

— Да. Недавно прочитал первые главы. И все ему не так.

— Сам его выбрал.

— Сам. Но теперь с удовольствием избавился бы от такого опекуна.

— В чем вы расходитесь? — помолчав, спросил Дубков.

— В том же, что и вы! •

— Значит, он продолжает гнуть свое?

Дубков, положив локти на колени, задумался. В голову лезли недобрые мысли. Но он понимал: оказать давление на Кучара сейчас нельзя — чего доброго, еще нарекут зажимщиком критики.

— Вот что. Занеси диссертацию, посмотрю.

— Завтра можно, Кирилл Платонович? — спросил Алов, стараясь поскорей уйти от Кучара под защиту начальника кафедры.

— Давай. — Кирилл Платонович встал и, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, подошел к Звездину.

Алов оживился. Надежда, которую он уже почти потерял, вновь вернулась к нему. Но вдруг он подумал: «А что, если и Кирилл Платонович, прочитав, тоже скажет: не годится?» После того как Кучар нашел много недостатков в его диссертации, Алов опасался, что и Кирилл Платонович, пусть он старый знакомый и друг отца, не умолчит о слабостях его работы и не согласится тащить его за уши. Он знал, что порой и с близкими знакомыми Кирилл Платонович обходился круто, если те поступали не так, как он считал верным.

Появившаяся было надежда на помощь генерала исчезла. Виктор помрачнел и снова закурил. Его попросили спеть, отказался. За ужином плохое настроение попытался заглушить коньяком, но на столе была одна бутылка на всех...

После ужина он решил уйти. Вышел в коридор и через полуоткрытую дверь другой комнаты увидел склонившуюся над книгой Светлану. Под его взглядом она подняла голову. Брови ее недовольно дрогнули.

— Что вы читаете? — спросил Алов сдержанно, понимая, что другой тон для нее будет неприятен.

— «Битву в пути».

— Эпидемия на роман. Нравится?

— Не все.

— Надеюсь, Тиной вы восхищены.

— Почему?

— Вы на нее чем-то похожи.

— Чем? — Светлана чуть пожала плечами.

— И внешне и особенно чувством такта.

— Не это главное.

— Что же?

— Поступки.

— Разве ваши так уж плохи?

— Не знаю. — Помолчав, Светлана, добавила: — Она не должна была влюбляться в человека, у которого дети.

— Это не так просто, — с усмешкой в глазах возразил Виктор.

— Все равно.

— От всякой или почти от всякой любви кому-то не легко, — намекнул Виктор на отношения Светланы к Вольфгангу.

Лицо Светланы подернулось тенью от сознания вины за боль, которую она может причинить своим родным, и от этого стало еще милее. И в этот момент Виктор вдруг подумал: «А если... жениться на Светлане? Удастся — все неприятности с диссертацией исчезнут и безветренная жизнь будет обеспечена».

5

Полковник Монаков вышел из академии в хорошем настроении. Легкий морозец приятно пощипывал щеки. Легко, насколько позволяла его полная фигура, он сошел на тротуар и направился по Садовому кольцу.

Уличный шум, потоки людей порой отвлекали его от приятных мыслей. И все же через каждый десяток шагов он возвращался к написанным за день страницам, которыми завершил один из основных разделов разрабатываемой им главы. «Материал превосходный, — шепотом произнес он. — Таковую оценку даст всякий непредубежденный человек».

Пройдя еще квартал, он подумал, что, конечно, могут отыскаться люди, которым кое-что не понравится, а некоторые усомнятся в абсолютной точности приведенных им примеров. Что ж. Первых можно будет отнести к категории вечно недовольных, вторым сказать: исследователь обычно видит больше, чем замечает участник событий. В общем, можно повоевать.

У парка культуры в длинной извилистой очереди он увидел свою дочь, а рядом с ней чье-то очень знакомое лицо. Только вспомнить не мог, где он уже видел этого уверенного, стройного молодого человека.

— О! — воскликнула Эдит, когда отец взял ее за руку. — Ты и каток?

— Разве я не был молодым? — с напускным неудовольствием возразил Монаков, глядя на знакомого дочери. Тот заметно подтянулся, сразу выдав в себе военного человека.

— Папа, ты не знаешь Георгия? Он учится там, где ты преподаешь.

— Разве всех запомнишь. Их не десяток. Вы на каком курсе?

— На выпускном.

— Заходите с дипломом, могу кое в чем помочь.

— Если возникнет необходимость, зайду.

— Катайтесь.

Монаков протянул Стрельцову свою маленькую пухлую руку и с довольной улыбкой зашагал к метро.

— Как идет ваша подготовка в институт? — спросил Стрельцов, возобновляя прерванный разговор.

— Об этом почти каждый день меня спрашивает папа.

— Беспокоится.

— А вы? — Эдит недобро посмотрела на прошедшую мимо скромно одетую девушку.

— Тоже, — ответил Стрельцов шутливо.

— Сколько у меня доброжелателей! Если бы столько же их было и среди экзаменаторов.

— Я вижу, вы не очень жаждете попасть в институт.

— У меня современные взгляды: далеко не всем нужно высшее образование.

— Почему же вы готовитесь?

— Так хотят папа и мама — я единственная дочь, — с едва заметной иронией ответила Эдит.

Ответы девушки несколько озадачили Георгия. Не всем нужно высшее образование — верно. Однако лично себя он не представлял без высшего образования — ведь от знаний может отказаться только человек с ограниченными интересами. Что-то непохоже, чтобы Эдит была такою.

— Неужели вы не хотите идти в институт лишь потому, что это модно?

— Скоро кончится допрос? — спокойно упрекнула Эдит.

— Скоро.

— Тогда отвечу. Сделаться разносторонне интересным человеком можно и без института. Вы часто ходите в театр, кино?

— Один раз в неделю, а то и реже.

— Все студенты так: времени нет, да и деньги не часто водятся. А вот я могу каждый день бывать в кино, театре или на выставке и помимо того читать интересные книги.

Идя позади Эдит, Георгий не отрывал глаз от ее изящной фигурки. Не обращая внимания на молодых людей, усиленно паливших на нее глаза, девушка подошла к раздевалке.

На льду он долго не решался взять Эдит за руки. Лишь когда она, уставшая, подъехала к скамейке, он помог ей сесть и сам сел рядом.

— Что вы на меня так смотрите?

— Как?

— Как детектив.

— Да? — задал Стрельцов этот ничего не значащий сейчас вопрос, смущенный тем, что Эдит перехватила его любопытный взгляд.

— Да. Скажите почему? Только откровенно, совсем откровенно.

Слово «совсем» было произнесено не так, как его произнесла бы иная девушка ее лет, а с той настойчивостью, которая позволяла ему говорить все, что он хочет.

— Не хотите со мной говорить? Я для вас маленькая девочка? Тогда бегайте один.

— У вас сложный характер, и мне хочется определить, каким он может быть... в будущем, — уклончиво ответил Георгий.

Эдит подняла на него большие темные глаза, задумалась, будто старалась определить, какой же она действительно будет через пять-десять лет. На самом деле она думала о том, что сегодня уже четыре месяца, как они знакомы, а для Георгия она все еще избалованная, неразгаданная девочка. Эта мысль уколола ее. Она резко оттолкнулась от скамейки и уже на ходу бросила:

— Поедьте, я замерзла.

Медленно, нога в ногу они покатались по ландышевой аллее. У поворота к выставочному залу неожиданно столкнулись с вызывающе ярко одетой парой. На нем — меховой светло-серый гоголь, оранжевый свитер и узкие синие брюки. Она — в зеленых, мужского покроя брюках, в свободном палевом пиджаке и алой пуховой шапочке.

— О, Эдит! — бесцеремонно разглядывая Стрельцова, бесцветным голосом произнес молодой человек. И было непонятно — рад он этой встрече или только удивлен, увидев Эдит с незнакомым ему юношей.

— О, Оскар! — в тон ему ответила Эдит.

— Где пропадаешь?

— Готовлюсь в институт.

— Серьезно? — насмешливо вытянул губы Оскар.

— Почему бы нет?

— Видишь ли!.. — покосился он на Георгия. — Мне казалось, ты хорошо усвоила, в чем истина жизни. И вдруг...

— Что? — В голосе Эдит прозвучала настороженность.

— Кажется, возвращаешься в мир предков?

— Ты угадал. — И, парируя насмешку Оскара, представила Георгия: — Капитан Стрельцов.

Юноша оценивающе еще раз оглядел Стрельцова, потом лениво протянул ему руку.

— Оскар.

— Георгий, — сдержанно ответил ему Стрельцов.

— Победоносец?

— Положение обязывает.

— Побед больше не будет, одни поражения.

Слова Оскара Эдит поняла как намек на нее и, вспыхнув, сузила глаза. Оскар заметил это и со значимостью оракула пояснил:

— Я о ракетах и атомах. Они победят враждующих.

— Вы рано поднимаете руки.

— Рано или поздно, какая разница.

— Не собираюсь этого делать никогда.

— До войны все, видимо, так клялись, а в плену оказались миллионы.

— Кто же тогда выиграл войну?

— Кто? Народ, мас-са, — с издевкой ответил Оскар. — Если хотите поспорить, назначьте место дуэли. Эдит может быть нашим секундантом. Согласна?

Эдит уловила скрытую цель вызова и уклонилась:

— У меня нет желания быть первой женщиной-секундантом.

— Хорошо, стреляться не будем. Просто проведем вместе вечер, — предложил Оскар, обращаясь только к Эдит.

— Нет времени, Оскар. Сказала, готовлюсь в институт.

— А у вас, капитан?

— Сейчас тоже занят, пишу диплом. Позднее — пожалуйста. — Георгий поддержал Эдит, хотя ему и хотелось сцепиться с этим франтом.

— В любое время, — последовало небрежное согласие.

Пары разъехались.

Георгий и Эдит некоторое время ехали молча. Он обдумывал разговор Эдит с юношей, пытаясь проникнуть в скрытый смысл их реплик.

— Слова Оскара и вас заставили задуматься? — отгадала Эдит.

— Немного.

— И к какому выводу вы пришли?

— Пустая оригинальность.

— Многие признают его талантливым.

— Кто «много»?

— Ну... есть такие люди, которые любят резкие гаммы красок и каскады звуков.

— И вы?

— Возможно.

— Когда вы с ним перестреливались, я не заметил особого расположения к нему с вашей стороны.

— Просто... кое-что в нем мне теперь не нравится.

— А раньше нравилось?

Георгий повернулся спиной в сторону движения и, скользя впереди Эдит, пристально смотрел в ее лицо, пытаясь уловить истинный смысл ее слов. Но та прямо ответила:

— Да, нравилось.

— Долго?

Эдит с упреком взглянула на Георгия: они еще слишком мало знакомы, чтобы открывать свои тайны.

— Вам это очень хочется знать, Георгий?

Вопрос требовал прямого ответа. К нему он не был еще готов и потому предпочел уклониться.

— Возможно.

— В таком случае и я не отвечаю.

6

При первой же встрече с Георгием Вольфганг показал ему привезенную из Германии тетрадь. Стрельцов прочитал ее за один вечер и на следующий день передал подполковнику Кучару.

Все трое по-разному восприняли записи комбрига Душкина. Вольфганг испытал острое желание увидеть его и о многом порасспросить. Стрельцов восхищался

героизмом Душкина и его товарищей, хотя о некоторых событиях было сказано очень бегло.

Кучар в воспоминаниях комбрига Душкина нашел много любопытных соображений, глубокое понимание событий и боевых действий, происходивших в сорок первом году.

И все же записи, не подтвержденные документами, — только записи. Они могут быть всего-навсего блестящим описанием несовершенного подвига ради оправдания самого себя. Неужели за все прошедшие после войны годы этот человек, если он жив, не попытался восстановить свое доброе имя?

Правда, в тетради указывались приближенные координаты, места зарытых в землю боевых документов корпуса. Но попробуй найти их спустя семнадцать лет, если в тех местах война дважды перепахала землю.

— Надо показать записки комбрига историкам, добиться их опубликования, — заявил Стрельцов.

Кучар задумался.

— Без документов нельзя. Что нового прибавилось в ваших дипломных работах? — переменял он вдруг тему разговора.

— Заканчиваю вторую главу, — ответил Стрельцов.

— А как у вас? — Кучар обратился к Майеру.

— Хуже. Только что начал вторую главу.

— Не откладывайте на весну и лето. В хорошее время года всегда времени меньше. А вы оба молоды... — Кучар вдруг замолчал, видя, что Майер опустил глаза. На лице молодого офицера Кучар без труда прочел острую боль неразделенной любви. Как это ему было знакомо! Подполковнику захотелось помочь или хотя бы посочувствовать молодому человеку.

— Капитан Майер, может быть, вам нужна моя помощь в чем-нибудь! — спросил Кучар с участием, желая дать понять, что готов помочь не только в написании дипломной работы.

— Спасибо, пока не нужно.

— И все же через неделю зайдите ко мне. Буду вас ждать.

— Слушаюсь, — смущенно ответил Майер.

Он думал сейчас о том, что Светлана, очевидно, не желает его видеть, а может быть, родители запретили девушке встречаться с ним.

На кафедре военной истории записки комбрига Душкина вызвали большой интерес. Со скрупулезностью палеонтологов историки начали исследовать их содержание. Тщательно сопоставив ход боев корпуса с боевыми действиями его соседей и частей противника, почти все с достаточной определенностью высказались за достоверность содержащихся в них сведений. Однако без боевых документов многое оставалось неясным. Поэтому решено было сделать научное сообщение, чтобы выяснить, кто же знает или слышал о тяжелых боях корпуса, которым командовал комбриг Душкин.

Полковник Монаков против обыкновения сидел в одном из дальних рядов и слушал доклад, нервно перебирая пухлыми пальцами сверток исписанных листов. Ему хотелось крикнуть: «Довольно! Хватит копать в старье!»

В прениях он выступил одним из первых.

— Я согласен, товарищи генералы и офицеры, надо чтить своих героев, поднимать на щит героические подвиги наших командиров. Но... Но это надо делать... тогда, когда факт будет доказан... окажется абсолютно достоверным.

Дальше Монакову хотелось решительно заявить: «Я участник этого сражения», но, подумав, он продолжал так:

— Я... знаком с описанным сражением и по документам и в некотором роде как участник его — в сорок первом году недолго работал в штабе этой армии.

Корпус, о котором идет речь в записках, к нам пришел после пополнения. Комбриг Душкин, насколько мне помнится, исполнял обязанности командира корпуса. Это первая неточность записок. Его не утвердили в этой должности по политическим мотивам.

Вторая неточность состоит в том... — Монаков умолк и от напряжения побагровел, будто то, что он хотел выдать из себя, застряло в горле и ни за что не хотело выходить.

Вторая неточность, — повторил он, — заключается в том, что разгром корпуса произошел по вине не командующего армией, а командира корпуса. Да. Комбриг Душкин не выполнил приказа командующего об удержании важнейшего рубежа, раньше времени начал маневр-отход, запутался в нем и, видя безвыходность по-

ложения, сдал корпус немцам. Сдал добровольно — об этом писалось в немецких листовках, передавалось по радио. Многие помнят: комбриг Душкин был объявлен предателем или, как тогда выражались, врагом народа. Чтобы доказать это, я позволю себе несколько подробнее остановиться на организации обороны и ходе сражения.

Монаков опять остановился, прислушался. Зал молчал. Никто не возразил, не пошевелился нетерпеливо. Значит, никто не знал ни подробностей разгрома армии, ни того, кем он служил в ее штабе.

Продолжая чутко прислушиваться к реакции зала, полковник приколол к доске схему, вернулся к кафедре и теперь уже уверенно стал опровергать все, что было написано в тетради. Речь Монакова лилась убедительно, записки комбрига Душкина в его изложении выглядели неправдивыми, далекими от истинного положения дел. Капитан Майер пылал, как угли на ветру. Он готов был сбежать и сделал бы это, если бы сзади неожиданно не раздался чей-то недоуменный вопрос: «А почему, собственно, полковник Монаков из кожи лезет, чтобы опровергнуть Душкина?» И он стал спокойнее слушать речь полковника, анализируя ход его мыслей и пытаясь разобраться сам, в чем комбриг Душкин мог допустить неточность.

7

Генерал Дубков с трудом разогнул онемевшую спину. Он видел — материал был еще сырой. Но мысли, мысли, изложенные на бумаге, были стоящие. Несмотря на изнеможение, он ощутил радость и гордость — дело сделано.

Он встал, подошел к открытому окну. Май расплескал всюду светлую зелень. Ею покрылись деревья и лужайки в сквере, склоны Ленинских гор, за которыми садилось разгоряченное, розовое солнце.

«Черт возьми, — усмехнулся генерал, — с этой писаниной не замечаешь, как сменяются времена года». И тут же поймал себя на слове. Давно ли думал, что служба в академии — отдых перед старостью. Как же, тут отдохнешь!

Генерал зажег папиросу и с удовольствием затянулся.

«Теперь можно спросить, что сделано у других. У Монакова печатается. Кучар...» Будто задев нечаянно что-то колющее, он поморщился, набрал номер и попросил к себе Звездина.

В дверь постучали, Дубков произнес свое обычное «да». В кабинет вошел полковник Козицкий. Его изможденное лицо выглядело еще более серым, чем обычно.

— А, — протянул Дубков, скрывая неприятное впечатление, которое произвел на него вид Козицкого. — Ко мне?

— Разрешите сесть?

— Да, да.

— Вчера проходил диспансеризацию. — Козицкий сделал долгую паузу, тяжело вздохнул. — Обнаружили абсцесс в легких. Срочно отправляют в госпиталь. А потом... думаю в отставку...

— Да? — протянул Дубков, устыдившись своих недавних чувств. — Вроде в ваши годы этим теперь уже не болеют.

— Случается.

— Раньше было?

— На фронте запустил. Неудобно было лечиться... Война, гибли здоровые...

— Не жалели себя, — все еще не обретя уверенности, проговорил Дубков. — Что же, от души — быстрейшего выздоровления.

— Спасибо. — Козицкий опять помолчал. — Я завтра пойду к начальнику политотдела. Меня надо переизбрать. Хочу предложить вместо себя генерала Звездина.

Выбор Козицкого был для Дубкова настолько неожиданным, что у него непроизвольно вырвалось:

— Генерал — в секретарях!

— Все — члены партии.

— Да, конечно. Но все же... согласится ли он?

— Думаю, согласится. Вы тоже можете поговорить с ним.

— Поговорить можно, — размышляя, ответил Дубков. «Звездина? Хорошо это или плохо? Давний товарищ — это хорошо. Но чуть что — разговоры пойдут, сжились. Стоит ли терять под старость друга из-за нареканий. Нет». Но вслух сказал: — Он у нас недавно. Выдвинем, а народ проголосует против. Опозорим человека.

— Если и будет кто против, то немногие. Я говорил с людьми — у всех мнение о нем хорошее.

«Черт возьми, — подумал Дубков, — полгода на кафедре, а авторитет уже заработал. Добрячок, к таким всегда льнут. Но... не на таких держится суровая жизнь армии».

Вошел Звездин. Дубков встал, протянул руку, указал на стул.

— Вызвал тебя по одному делу, а здесь, как снег на голову, — другое. Наш Вячеслав Владимирович собирается уходить, совсем. Заболел. Надо найти ему замену.

— Что с вами, Вячеслав Владимирович? — Звездин нагнулся, с участием заглянул в глаза Козицкому.

— Меха ослабли.

— Как же вы не уследили?

— В старости трудно уследить все вроде дряхлое. Вот и придется, вероятно, теперь вам сменить меня на посту секретаря.

— Мне?! — воскликнул удивленный и польщенный Звездин. — Я же всего полгода на кафедре...

— Зато за спиной у вас годы умной службы, работы с людьми.

— Служба службой, а как преподаватель я на ноги еще не стал. На это, действительно, надо годы. А тут еще впрягли в науку. Вот Кирилл Платонович, видно, будет мой отчет слушать. А я все еще, как гусь в холодную погоду, на одной ноге стою, вторую не знаю, куда поставить.

— И все же, Иван Васильевич, лучше вас я не вижу кандидата.

— Это на такой большой кафедре?

— Буду откровенен. Дело не только в кафедре. Кириллу Платоновичу нужен крепкий помощник.

Наступила неловкая пауза. И Звездин, и Дубков поняли: «крепкий» — это способный поговорить и поспорить с начальником как равный с равным.

— Вячеслав Владимирович, мы с Иваном старые друзья, однокашники.

— Тем лучше, с уважением будете слушать друг друга, — убежденно ответил Козицкий.

— Разве с вами мы плохо работали? — стараясь смягчить тон Козицкого, проговорил Дубков. От уходя-

щего в отставку подчиненного ему было не слишком приятно выслушивать такое.

— Можно было и лучше, — почти недружелюбно ответил Козицкий. И снова обратился к Звездину: — Иван Васильевич, проклинайте меня, но... быть вам секретарем.

Козицкий ушел, а Дубков все еще думал и только после долгой паузы сказал:

— А может, действительно, тряхнешь сединой, Иван? В группе ты был неплохой секретарь. Тогда сработались и сейчас сработаемся. За двадцать лет стали ведь мы умнее. А?

8

Дубков долго не мог решить, как ему начать разговор с Кучаром, который, как он узнал от Алова, по-прежнему идет своей тропой. Хотелось сразу приструнить, потребовать идти в одном строю. Но, поразмыслив, он все же решил поговорить с подполковником сначала о диссертации Алова, а потом уже о том, какими должны быть главы исследования, которые он, Кучар, разработал.

— Вы давно читали работу Алова? — спросил Дубков, пристально всматриваясь в лицо Кучара.

— Около двух месяцев назад.

— Что он еще написал за эти месяцы нового?

— Не знаю.

— Почему? — Дубков успел сдержать привычную резкость, с которой он обычно произносил это слово, когда случалось, что подчиненный не сделал того, что должен был сделать по долгу службы.

— Видимо, не хочет показывать.

— Надо потребовать, вы руководитель.

— Мне как-то неловко требовать: он мой... товарищ, друг.

— Дружба дружбой, а служба службой. Настоящая требовательность не помеха дружбе.

— Она не особенно нравится подполковнику Алову. Я показал ему однажды, какой должна быть диссертация, и теперь он обходит меня стороной.

— Наверное, вы хотели навязать ему свои взгляды на проблему?

— Нет. Но он очень слабо защищает свои. Это я ему и старался доказать.

Генерал с облегчением подумал: подполковник, наверное, понял — не все хорошо, что модно. И как бы между прочим спросил:

— А ваши взгляды на начальный период войны изменились?

— Нет.

Короткий ответ, как хлыст, ожег генерала, показался ему открытым вызовом на бой. Сдерживая раздражение, раздувшимися ноздрями он сделал затяжной вдох.

— Значит, продолжаете писать по-своему?

— Как представляю и понимаю проблему.

Генералу было ясно — труд с главами Кучара невозможно кому-либо показывать. Надо или заставить его переделать или поручить их писать другому. Но время, время упущено. Что делать?

Из затруднения помог выйти сам Кучар.

— Товарищ генерал, по-видимому, я написал иначе, чем другие. С разношерстными главами монография не может быть выпущена в свет. Я прошу: пусть все авторы прочитают, что я написал. Если скажут — не то, я... переделаю.

Предложение Кучара показалось начальнику кафедры подходящим. Оно позволяло, как он думал, водворить подполковника в строй.

— Хорошо, — согласился он. — Занесите мне ваши материалы.

9

— Игнат, когда ты свободен? — услышал Кучар в трубке знакомый женский голос. — Мне нужно с тобой поговорить.

По тому, с какой принужденностью Ася просила о встрече, он понял — у нее что-то случилось и ей нужно помочь.

— В семнадцать. Куда мне подъехать?

— Метро «Спортивная». Я буду тебя ждать.

Увидев Игната, Ася встала, протянула ему руку и молча направилась к эскалатору.

Игнат видел, как нервничала Ася, то растягивала, то скручивала перчатки, и, чтобы успокоить ее, первым начал ни к чему не обязывающий разговор.

— Когда учились, мы ходили сюда на лыжные занятия. Тогда здесь были только лачуги и мусорные кучи.

— Да, да, в те годы я тоже была здесь однажды.

— Еще два года назад я смотрел на эти места с университета. Вид был не лучше, а сейчас... хорошо.

Ася не поддержала разговора. Они дошли до набережной и сели на гранитные ступени лодочного причала. Река еле заметно катила свои серо-коричневые, с нефтяными разводами волны. На противоположном берегу, испisanном дорожками и тропами, старые деревья, уродливые неделю назад, прибрались, похорошели, и древняя церквушка в зеленой шапочке едва виднелась между ними.

Повстречались и разошлись два белых прогулочных теплохода. Один ушел под нагромождение конструкций строящегося моста, второй — к причалу. Близко от берега пронесся спасательный катер, и от поднятых им волн привязанные к причалу лодки шарахнулись на помост, словно испуганные овцы.

Игнат посмотрел на Асю. Лицо — измученное, щеки еще больше впали, резче обозначив скулы. Веки красноватые, припухшие.

— Я решила... уйти от Виктора, — проговорила Ася, и скупые слезы, которые она сдерживала давно, может быть очень давно, заблестели на ее ресницах. Она отвернулась.

Игнат смотрел на нее и не знал, что ему делать? Утешить? Но ведь не ее бросают, а она оставляет мужа. Помочь поскорее уйти от Виктора? Какую надежду ей подсказать, чтобы уменьшить тяжесть ее будущего одиночества?

Ася достала платок, приложила его к глазам и, глотнув воздух, замерла. С минуту она сидела в оцепенении, потом медленно вздохнула, стараясь овладеть собой.

— Ты, вероятно, думаешь, почему так долго... Почему я так долго решала? Ведь Виктор не слишком сложная загадка...

— Я думаю о другом.

— О чем?

— О твоей боли.

— Спасибо, — в раздумье отозвалась Ася. — Мне по-

казалось, ты рад ей: узнала, мол, наконец, кто из вас лучше.

— В твоём несчастье виноват и я.

— Ты можешь укорять себя только в том, что познакомил меня с Виктором. Все остальное — мое. О своём выборе я пожалела нескоро, когда умер ребенок. А Виктора... всю ночь не было дома... — Ася оборвала сама себя и неожиданно спросила: — Скажи мне откровенно, Виктор способен написать хорошую диссертацию?

Вопрос озадачил Игната. Неужели сейчас для Аси так важно, станет ли Виктор кандидатом?

— Как слушатель, ученик, он не был лишен способностей. Но для научного работника быть способным, подобно магнитофону, хорошо воспринимать и передавать чужое — мало. Надо что-то дать самому. А для этого надо уметь с умом поломать голову. Он же больше думает над тем, как лучше исполнить пассажи.

— Об этом я тебя и спрашиваю. Сможет ли увлечь его наука, преподавание?

— Он привык жить шумно, легко. Такую роскошь может позволить себе очень талантливый человек. Нам, смертным, чтобы что-нибудь сделать, нужно лишить себя многих бытовых радостей. Суди сама, сможет ли он пойти на подобную жертву.

Ася задумалась, уловив в последних словах Игната скрытый вопрос: «Почему ты, которую я считал умной, за столько лет не решилась покончить с этим ветреным человеком?»

— Беда моя, Игнат, в том, что я долго верила в то, что в каждом человеке есть хорошее и это хорошее рано или поздно очистит его душу от всякого мусора. У Виктора тоже ведь было хорошее. Не раз он порывался к добру, принимался что-то делать, и у него выходило. И тогда вера в него, которую он замораживал своими скверными поступками, снова оттаивала, оживала, и опять начинало казаться: наконец-то он становится тем, за кого я его приняла, выходя замуж. Так думалось и тогда, когда он с пылом взялся за кандидатский минимум, сдал его, написал часть диссертации. И все это за два года. Как не поверить, как не простить ему срывы... Ведь ссора могла убить в нем хорошие порывы, повредить его репутации, а с дурной репутацией в адъюнктуру не примут. Но, оказывается,

молчать, прощать — нельзя было... — Ася помолчала и вдруг закончила: — После разговора с тобой о диссертации он не случайно зачастил к генералу Дубкову, вернее, к его дочери. А она — молодая, красивая.

— Зато он изрядно потрепан. Причина частых его визитов к генералу, вероятно, другая: он хочет прикрыться авторитетом начальника кафедры.

— И все же нам надо кончать. Когда он лжет, я уже не могу себя сдерживать. Срываюсь, кричу, как баба. Противно! Противно быть с ним в одной комнате, противно принимать от него деньги, готовить ему еду. Пошла работать. Вчера делала первую операцию. Получу развод — уеду куда-нибудь подальше.

В голове Игната закружились мысли: «Ася будет свободна! Свободна! Если бы не так поздно! А может быть, не поздно? Жизнь ведь одна». Но тут он вспомнил дочь, беременную Лизу, и от острого угрызения совести желание вернуть несбывшееся счастье стало меркнуть.

Мимо прошла молодая пара и, обнявшись, уселась у самой воды. Ася взглянула на них и тут же предложила уйти.

Игнат помог ей подняться по ступенькам причала, и она с благодарностью прижала его сильную руку. Они вышли на тренировочный стадион, сели на пустых трибунах. Игнат не решился освободить свою руку, и тепло, которое он испытывал от близости с Асей, когда они десять лет назад бродили по ночным улицам Москвы, снова передалось ему.

— Знаешь, почему в молодости я уклонилась от твоего предложения? Тогда ты казался мне слишком серьезным. Все время ты думал, думал и думал, ты хотел все понять, оценить, досконально разобраться во всем, что хорошо, что дурно. Даже в театр ты ходил чуть ли не по расписанию и только на то, что прибавляло знаний. Такая размеренность жизни, словно утренний весенний мороз, студила чувства. Хотелось на солнце... а попала под луну.

— Я прошел всю войну, Ася, потерял родных, друзей. И года не прошло, а о ней заговорили снова. Мог ли я не думать о ней каждый день, каждый час? Потому остался в армии, пошел в академию, хотя меня уговаривали вернуться в университет, пророчили успех в математике.

- Да. Ты тяжело переживал мое замужество?
- Не легко.
- Почему же быстро женился?
- Так случилось.
- Хотел одну вытеснить другой?
- Нет. Она — сестра моего погибшего близкого друга, партизана. Своим вниманием она немного притупила мою боль... Потом... стечение обстоятельств, и я не мог оставить ее одну.
- Как же сейчас?
- У меня дочь, скоро будет второй ребенок.
- Значит, без любви можно счастливо построить жизнь?

Игнат нагнулся, поднял камешек, подержал его на ладони. Сознаться, что временами ему бывает тяжело оттого, что его жена — не та женщина, о которой он мечтал, что порой ее опрометчивые выходки и необдуманные поступки заставляют его краснеть, он не смог. Лиза беременна, ей нелегко, и говорить о ней откровенно не хотелось.

Бросив камешек, Кучар в раздумье сказал:

— Можно. Если есть терпение и не можешь сделать несчастными других.

Потихоньку они отстранились друг от друга.

— Тебе ничего не будет — уже поздно? — виновато спохватилась Ася.

— Нет.

— Тогда посидим еще немного. Сколько я перечекала книг, чтобы узнать, как люди вяжут свое счастье, многое испробовала, многое перетерпела. Но если тот, ради кого терпишь, не может и не хочет поступиться своими привычками, которые он принимает за истинное счастье, как же тогда?

В голосе Аси опять слышались обида и горе. Она низко нагнулась, спрятала лицо, и в этом ее движении Кучар почувствовал произвольный упрек. Представил ее одинокое возвращение домой, одинокое будущее и не смог сказать то, что в начале разговора казалось ему само собой разумеющимся. Лишь переждав немного и сжав до боли в суставах кисти рук, которыми второй раз должен был ее отдать другому, и теперь уже навсегда, он глухо проговорил:

— Виктор ученым не станет, если даже остепенится,

как говорят. Будущего у тебя с ним не будет. Тебе тридцать. Можешь еще...

— Нет, Игнат. Виктор слишком многое у меня отнял, чтобы я могла теперь кого-нибудь сделать счастливым. Проводи меня.

У метро Ася вдруг остановилась. Глядя через плечо, она проговорила:

— Игнат. Я не хочу уезжать из Москвы Аловой. Может быть, мне понадобится твоя помощь. Могу я...

— Да, Ася, в любое время, — ответил Кучар тут же, ощутив радость, что сможет дать ей хоть частицу того, что хотел ей дать десять лет назад. Но эта радость оказалась холодной и колкой, будто он проглотил острый кусок льда.

Домой Кучар возвращался почти таким же, как всегда. Лишь шаг его был несколько легче, да глаза были не отрешенными — они с интересом разглядывали людей, улицы, свой дом.

С радостью он подхватил на руки дочку, гулявшую во дворе. А вошел в комнату, увидел Лизу, подурневшую и чем-то недовольную, и сразу все: и комната, и обстановка в ней, и вся жизнь его — показались какими-то захолустными, не настоящими, почти фальшивыми. Руки безвольно опустились, и дочь, громко стукнув ботинками о пол, недоуменно посмотрела на отца.

— Что ты? — с упреком отозвалась Лиза и вывела девочку в коридор, чтобы раздеть.

Игнат присел к столу, сознавая свою вину, но исправлять ее ему не захотелось.

10

Не дочитав несколько страниц рукописи Кучара, генерал Дубков почувствовал невероятную усталость. Мозг горел, будто ему стало невероятно тесно в своей коробке, спина занемела, хотелось лечь на диван и перестать думать. Его вымотали многочисленные формулы, необычная система доказательств, незнакомые имена — Ланчестер, Венцель, Динер. При помощи математических расчетов Кучар неопровержимо доказывал, что реально даст для боя и операции применение значительного количества ядерного оружия, как оно изменит ход военных действий. Выходило, что система обороны, предложенная им, Дубковым, вместе с Монаковым, рух-

нет под ударами нового оружия, как временка, сколоченная из старых досок, от порыва урагана. Формы ответного удара, которые они тоже считали очень эффективными, на самом деле не позволяли сорвать намерений противника и неизбежно вели к большим потерям и к глубокому его вклинению.

Особенно сильно Дубкова поразило определенное Кучаром соотношение огня и человеческого материала. За каких-нибудь три месяца этот подполковник нашел количественную меру для морального фактора, пусть не всех его граней и сторон, а только той, которая постоянно проявляется в бою — понижение боеспособности вследствие сильного подавления людей огнем, но и это производило неотразимое впечатление.

Да, соглашался Кучар, радиус поражения хорошо укрытой живой силы сравнительно небольшой. Но можно ли считать, например, батальон боеспособным, если по району его обороны нанесен ядерный удар и выведена из строя всего лишь одна рота? Кучар доказывал: нет, нельзя, если за время ликвидации последствий ядерного удара в его район выходят войска наступающего. Да и при более глубоком расположении войск боеспособность их не остается пропорциональной сохранившейся численности людей и оружия.

Дубков увидел, что кое-чего Кучар не учел. Не учел он, например, того, насколько маневр снижает среднюю плотность огневых средств обороняющегося противника. Результаты его расчетов не всегда были точны, и генерал дважды брал их под сомнение. Но слишком очевидны были преимущества, которые давало применение теорий исследования операций к анализу военных событий. Оно позволяло Кучару достаточно реально определить возможности полков и дивизий, их боевые задачи, наилучшие условия применения различного оружия. Оно устраняло многие случайности, вызванные субъективной оценкой условий вооруженной борьбы. И все же признать правоту подполковника Дубков не мог — его доказательства отрицали боевой опыт, взгляды и мысли генерала, то есть все то, чем он жил, что накопил за тридцать пять лет службы в армии.

Дубков вяло протянул руку к папиросам, взял одну, но не донес до рта — рука безвольно упала вниз, больно стукнувшись о ножку стула.

Сегодняшнее бессилие напомнило ему то чувство, которое он испытал в сорок первом году, отступая к Днепру под ударами противника: хотелось разнести, уничтожить его, но сил не было.

Давно опустела академия, а генерал все еще не мог найти веских опровержений доказательствам Кучара. Уже убирая со стола бумаги, он вдруг спросил себя: «А может быть, их и не надо искать?»

Щелкнул замок двери. В узкой щели мелькнул чей-то темный глаз и тут же исчез — дверь бесшумно закрылась.

Это был полковник Монаков. Вид генерала насторожил его. Он вернулся к себе в кабинет.

Семен Семенович тоже прочитал рукопись Кучара. Она произвела на него сильное впечатление. Больше того, идеи, которые возникли у него при разработке армейской задачи, во многом совпадали с выводами Кучара, а обосновать и развить их он смог бы не хуже кандидата наук. «Но генерал... — с досадой подумал Монаков... — разве он поступит своими взглядами?»

Продолжая размышлять, Монаков уклонился от признания того, что он мог и должен был отстаивать свои идеи. А немного погодя он уже оправдывал себя: у Кирилла Платоновича такой богатый боевой опыт, знание армейской жизни, служебный авторитет, осведомленность.

Просматривая рукопись Кучара на следующий день, полковник нашел в ней несколько слабых мест. Еще через день слабые места казались ему уже существенными изъянами. Он начал подбирать доводы, способные убедить колеблющихся соавторов в том, что теория Кучара не безгрешная. Наоборот... И все же как ни хотел Семен Семенович быстрее сформулировать это «наоборот», сделать ему это не удавалось.

Чем больше он осознавал, как трудно опровергнуть выводы Кучара, тем сильнее охватывал его страх: признание правоты Кучара для него не только теоретическое поражение. Ведь армейскую операцию сорок первого года он описал не совсем правильно... Могут спросить: почему?

Почувствовав опасность, Монаков стал лихорадочно искать и подбирать отмычки к теоретическим обоснованиям Кучара. Подобрал немного.

Облегчение принесло сообщение полковника Дуки, который вернулся с крупного оперативного учения. По его словам, выходило, что их путь более правильный.

Возвратившись к себе в кабинет, Семен Семенович еще раз подумал, что он должен сказать Кириллу Платоновичу, взял кожаную папку под мышку и решительно направился к генералу.

— Разрешите?

Не дождавшись ответа, он подошел к столу генерала. Раскрыл папку и как бы нечаянно взглянул на лежащую перед генералом рукопись.

— Прочитали? — спросил начальника кафедры, будто о занимательной вещице.

— Да, прочитал, — угрюмо ответил генерал.

— Надеюсь, не сия рукопись привела вас в столь не веселое расположение духа?

— Не угадали. Именно она.

— Да что вы, товарищ генерал? — Монаков развел коротенькие руки.

— Что, что? Слишком легко отнеслись мы к атомным грибам. Как к детским воздушным шарикам. А они могут продырявить все поле боя и разорвать боевые порядки. И каждый батальон, каждая рота окажутся сами по себе. Вот и создай после этого цельную да еще непреодолимую оборону. А радиоактивное заражение?

Несмотря на грозный тон генерала, полковник лишь снисходительно улыбнулся.

— Товарищ генерал, вы человек недостаточно искушенный в тонкостях подобных работ и явно не учли одного обстоятельства. Автор, чтобы убедить других в своей правоте, всегда преувеличивает наиболее выигрышные места. Кучар — не исключение. Хотите убедиться? Пожалуйста. Возьмите хотя бы расчет на странице семьдесят второй. Здесь Кучар доказывает, и, надо сказать, умело, что дважды два — пять. В арифметике есть прием такого доказательства, и он применил его в высшей математике. Я специально консультировался и выяснил, что эту заумную формулу можно упростить. И вот что получается.

Монаков написал формулу, подставил значения, и результат действительно получился совсем иной, куда меньший, чем у Кучара.

Генерал не изучал высшую математику и потому

не знал, что большинство упрощений ведет к искажению конечного результата. При желании это искажение может быть каким угодно.

Необычная уверенность Монакова насторожила Дубкова. Он потребовал опровержения других положений Кучара. Монаков изложил их. Быстро, легко. Однако Дубков сразу обнаружил, что кое-где полковник отделался ничего не значащими фразами.

— Вот видите, Семен Семенович. С принципом масирования у нас так... — Дубков приподнял руку и пошевелил пальцами. — Как говорят на Украине — приблизительно. Для сохранения сил мы предлагаем тяжелоземляные укрытия. А когда их успеешь построить, если враг может перейти в наступление без сколько-нибудь длительной задержки?

Тут Монаков решил выложить свой главный козырь.

— Конечно, товарищ генерал, мои доказательства недостаточны. Не люблю, но прибегну к авторитетам. Вчера с учения вернулся полковник Дука. На них Иван Романович сказал, что в начальный период войны особых тактических новшеств не будет, — Монаков помолчал и добавил: — Думаю, перед тем как сказать так, Иван Романович проконсультировался у более крупных ученых, чем Кучар.

Мнение Ивана Романовича, прославленного командующего армией, а сейчас ответственного военного руководителя, — веский довод. К тому же Дубков хорошо знал, что такие люди, как Иван Романович, обычно высказывают коллективное, со всех сторон отшлифованное мнение. Поэтому не верить в него — значит идти против генеральной установки в обучении войск и будущих командиров.

Но поверить на слово, после того как он был повергнут доказательствами и расчетами Кучара, генерал тоже не мог.

На следующий день, едва полковник Дука переступил порог академии, он был немедленно вызван к начальнику кафедры. Вслед за ним вошел Монаков.

Дубков подробно расспросил о подготовке и ходе учения, о том, при каких обстоятельствах Иван Романович высказал свою мысль.

— Прямо на разборе, — ответил Дука.

— Как он объяснил ее?

— Никак. Сказал и все!

— Да, — протянул Дубков, все еще не зная, верить или не верить сказанному.

Наступило молчание. Монаков видел, что его главный довод не убедил генерала, а только усилил сомнение. Может быть, через пять-десять минут он снова решит вопрос в пользу Кучара. И тогда генерал не пожалеет ни себя, ни тем более его, Монакова. Нужен компромиссный ход. Но какой?

И вдруг генерал сам подал спасительную мысль.

— Может быть, Иван Романович, говоря так, имел в виду ближайшие два-три года?

— Именно! — подхватил Монаков. — Именно! Как практик, он исходил из возможности развязывания войны агрессорами в любое время. И на ближайшие годы, пока ракеты не запустят в серийное производство, его мысли и наши утверждения абсолютно верны. Рекомендации Кучара, возможно, пригодны, но для более отдаленного будущего.

Болтливость Монакова вызвала оскомину у Дубкова. Но то, что он сказал, позволяло найти выход из затруднительного положения. «Пока можно издать этот труд, — подумал Дубков. — А потом... пусть займется кто-нибудь еще. Пусть хоть Кучар, мешать не буду, даже помогу».

— Ладно, на сегодня хватит. Поразмыслию, потом скажу, как дальше будем работать над монографией.

11

С зимы Мария Петровна не слышала в телефоне мягкого «л». Светлана редко задерживалась в университете, рано возвращалась на дачу. Можно было думать, что беда миновала. Но тревога не проходила: дочь замкнулась, точно забаррикадировалась от матери стопками учебников. В чем причина ее отчужденности? Неужели так глубоко полюбила иностранца, что никак не может забыть его? Хотя бы ради отца и матери. Об этом думала Мария Петровна, когда пришел Алов.

— Кирилл Платонович еще не приехал? — Виктор окинул дачу нетерпеливым взглядом.

— Нет.

— А Света?

— И Света, — со вздохом ответила расстроенная Мария Петровна.

— Почему так грустно?

— Я вас просила развлечь Свету.

— Пробовал, Мария Петровна...

— По-вашему, она все еще думает о нем?

— Не сказал бы. Просто, для меня это слишком опасно...

— Почему?

— Я ведь почти свободен. Осталась формальность... Увлечься Светой нетрудно. Перенести неразделенное чувство — тяжело. Я уже не юноша...

Хотя дружеская близость Виктора часто скрашивала однообразные вечера Дубковых (в Москве у них мало знакомых), его признание испугало Марию Петровну. «Моя чистая Света... и этот уже выдавший многое человек, — пронеслось у нее в голове, и тут же чуть не вывалилось: — Нет, нет!»

Виктор уловил перемену в настроении Марии Петровны и, давая понять, что он, как друг семьи, не пойдет против ее желания, если даже полюбит Свету, закончил:

— Готов помочь вам советом. Помните, как Кити любила Вронского. Путешествие развеяло ее любовь. Думаю, увлечение Светы не столь глубоко, месячного туристского похода будет вполне достаточно.

— Предоставить Свету на месяц самой себе?!

— Мария Петровна, она же взрослая, университет кончает.

— Нет, нет. Если бы с кем из знакомых, еще куда ни шло.

— Нет, совершенно одну, со студентами. В том числе и мужского пола.

Бескорыстие Алова («если бы он серьезно подумывал о Свете, он не дал бы такого совета — послать ее вместе со студентами») вернуло расположение Марии Петровны.

— Для меня Света все еще большой ребенок, — проговорила она, и в голосе ее прозвучала просьба извинить ее за недобрую мысль о нем.

— Нет ничего более оскорбительного для девушки, как то, что ее считают ребенком. Именно поэтому она стала вас сторониться.

— Вы и это заметили?

— Этого мог бы не заметить только посторонний, безразличный к вам человек.

Около семи радостно залаяла почуявшая хозяина собака. У калитки послышался голос Кирилла Платоновича. Алов невольно встал, подтянулся. В последнее время генерал ходил мрачнее грозовой тучи. Каков он сегодня?

Нагнувшись, чтобы не задеть яблоневую ветку, Кирилл Платонович поймал собаку за лапы, когда та прыгнула к нему на грудь, и запустил пальцы в ее мохнатую шерсть. Овчарка заплясала в восторге. Увидев Алова, генерал еще издали помахал ему рукой.

— Эге, ко мне в кабинет всю неделю глаза не показывал, а сюда, как на вороних.

— На своих двоих от самой станции.

— Подумаешь, как далеко! В твои годы я к Маше за двадцать километров бегал.

Кирилл Платонович нагнулся к Марии Петровне и звонко поцеловал ее в губы.

Алов проводил Кирилла Платоновича глазами, пока тот не вошел в дом, и подумал: «Неужели все обошлось хорошо? На прошлой неделе он явно не хотел меня видеть». Настроение подполковника заметно улучшилось и, когда спустя несколько минут Кирилл Платонович с полотенцем на плече появился на крыльце, он охотно пошел с ним к озеру, где они вместе купались.

На обратном пути генерал спросил:

— Не знаешь случайно, есть у Маши согревающее?

— Нет.

— Кто же в субботу на даче ужинает без рюмочки? Сдаешь,— упрекнул Дубков, неправильно истолковав ответ Алова.

Алов пошел к ларьку и вернулся в дом с коньяком и вином.

Ужинать сели без Светланы, поэтому разговор за столом начался как раз о ней.

— Это просто напасть,— иметь одну дочь,— проговорил Кирилл Платонович, проглотив рюмку коньяку.— Наша, кажется, и тихая, и послушная, а приглядишься— все делает по-своему. С пеленок учили музыке. Она,— Кирилл Платонович кивнул на Марию Петровну,— хотела сделать ее музыкантшей. А Светлана махнула в уни-

верситет на математический. Вот кому достанется — гибель. Все рассчитает — и где был, и о чем думал. Или нет?.. Наш Кучар все фантазирует? — неожиданно закончил он.

— Безусловно.

— А дочь, когда я рассказывал ей о Кучаре, нашла его поиски оригинальными.

— Не всегда оригинальное — верно.

— Шутки шутками, а пора подумывать о зяте. Ты бы, что ли, помог. Или сам...

— Я, Кирилл Платонович, мало подхожу. У меня еще хвост.

— Хвосты ликвидируют.

— Не беспокойтесь, Света не останется без внимания. Прошлой осенью...

— Ну, ну, договаривай.

Алов посмотрел на Марию Петровну, как бы спрашивая ее позволения открыть тайну. Та наклонила голову.

— За ней увивался один немчик. Из академических. И не без успеха.

— Как у них сейчас?

— Кажется, отстал. Наверное, понял, что здесь он — персоне нон грата.

— Что ж, она, что ли, бежит за ним?

— Нет... Но Марии Петровне и мне все же кажется, что она еще немного думает о нем. Я посоветовал отправить ее в туристский поход.

Светлана приехала к концу ужина. Пока она переодевалась и мыла руки, за столом никто не проронил ни слова. Молчание насторожило девушку. На пороге она чуть задержалась, почувствовав на себе напряженные взгляды трех пар глаз.

— Тебе налить? Мы уже, — обратился Кирилл Платонович к дочери. Та кивнула головой.

— За что же нам выпить? За успешную сдачу годовых экзаменов?

— Уже, — Светлана сдержала раскрывшуюся было улыбку.

— Что уже?

Светлана почувствовала: если она скажет, что первая в группе и шестая на курсе досрочно сдала годовые экзамены, начнутся шумные восторги. А они были ей неприятны еще с той поры, когда ее за дело, а чаще лишь

за то, что она дочь начальника гарнизона, старались выделить среди ребят. Чтобы сейчас предупредить похвалы, Света, накладывая в тарелку салат, мельком заметила:

— Сегодня почти вся группа сдала последний экзамен.

— Как?! Еще же май!

— Досрочно.

— Молодчина. За это тебя наградить следует. Скажем, путевкой на Черное море. Хочешь?

— Зачем?..

— На даче будешь сидеть?! — развел удивленно руки Кирилл Платонович.

— Здесь хорошо.

— Для нас стариков. Маша, как ты находишь?

Затеянный Кириллом Платоновичем разговор не нравился Марии Петровне. Света могла догадаться об их намерении. Вино вато взглянув на дочь, она заморгла глазами, начала передвигать на столе посуду.

— Перед последним годом ей бы... отдохнуть.

— В санатории или в доме отдыха?

— Где она пожелает.

Плохо разыгранная сцена больно ущемила Светлану. Правая рука ее с поднятой рюмкой дрогнула, и, чтобы скрыть волнение, она поднесла рюмку к губам. Глотая вино, Света думала: «Как же вы боитесь этого человека. Радуйтесь, он предугадал ваше отношение и больше никогда не напомним о себе».

— По-моему, если уж отдыхать, то в туристском походе. Например, по Алтаю, — высказался Алов.

Тон его голоса был сочувственным. Он явно отмежевывался от ее родителей. Неловкое молчание затянулось. Мария Петровна, увидев, как помрачнела дочь, поспешила к ней на помощь.

— Если тебе нужно быть в Москве... пожалуйста, можешь остаться.

«Согласиться с мамой — значит подтвердить ее подозрения, о которых теперь, очевидно, знает и папа. Но ничего же этого нет, — думала Светлана. — Чего же вам еще надо?»

Чтобы разуверить родителей, она согласилась уехать из Москвы.

После ужина девушка пошла к озеру. Глядя на его светло-зеленую гладь, в которой отразился перевернутый вершинами вниз лес да розовое пятно нейлоновой тучки, освещенное скатившимся за горизонт солнцем, она подумала: «Может, это и лучше... на Кавказ, если Вольфганг не решается преодолеть нечаянную размовку».

12

После разговора с генералом полковник Монаков в течение недели размножил на ротаторе написанные им главы и сообщил об этом всем кафедрам. Внешне главы выглядели глыбой, которая, упав в воду, может вызвать и шум, и крутые волны.

Рукопись Кучара, отпечатанная всего в четырех экземплярах, разошлась только среди авторского коллектива. Да еще кое-кто на первой кафедре смог с ней ознакомиться. Она была не слишком велика, но вызвала куда больше волнения, чем рукопись Монакова. И вскоре о ней заговорили на всех кафедрах.

Началось это так.

Генерал Звездин сначала прочитал главы полковника Монакова. По форме изложения они были лучше тех, что написал он сам; по содержанию — такими же, но свои ему захотелось переделать.

Рукопись Кучара заполонила генерала и не выпускала из своих железных логических конструкций, хотя читать о массовых опустошениях, гибели людей, медленном увядании живого было трудно, как трудно читать о неизлечимой болезни. Передохнув час, он принялся читать ее во второй раз. В начале одиннадцатого ночи Звездин оттолкнул от себя рукопись, будто она сама сеяла ту смерть, о которой говорилось на ее страницах, а он был беззащитен перед нею.

Домой пошел пешком, надеясь свежим воздухом умирить вызванное чтением возбуждение. Но мозг не успокоился ни в двенадцать, когда он лег в постель, ни в то время, когда часы за стеной ударили три раза. Генерал все думал и думал, как найти защиту от ядерных средств, как преодолевать радиоактивные поля заражения, а если придется, то и вести бой на них с людьми, хорошо знающими, что каждая пядь зараженной земли грозит разрушением всему живому.

Наконец, генерал задремал, и ему явственно предста-

вилось во сне то, что он вычитал в рукописи Кучара.

Опушка леса, к западу широкая река, окрашенная закатом в кровь. На восточном берегу ее люди, орудия, танки. Все медленно уходит в землю, окапывается, укрывается. Землеройные машины расписывают поле траншеями.

Вдруг беззвучный ослепительный взрыв. За ним второй, третий, четвертый. Буро-огненные шары, хищно закручиваясь, потянулись вверх, метнув от себя белые тугие дуги. Те сплелись концами и понеслись к земле. Они смели три деревни, превратив их в облачка пыли, вырвали из земли вспыхнувшую было березовую рощу, легко, как игрушки, покатали по земле автомашины и танки.

И тут еще один взрыв. Прямо над головой. С потоком пыли КП взметнуло вверх. С высоты пятнадцати километров Звездин увидел море и горы, а между ними ширь равнины, густо покрытой серыми конусами пыли с оранжевыми шарами. Генерал лишь успел подумать: как же Кучар разобрался в этом хаосе, но в это время из-под ног исчезла опора, и он кубарем полетел вниз.

От предчувствия близкой гибели Звездин проснулся. Сердце тревожно билось, мучительно хотелось пить. Он свесил с кровати ноги, рукой провел по мокрой шее.

Проснулась жена.

— Ты что?

— Спи, — подавляя дрожь в голосе, ответил Звездин.

— Заболел?

— Нет. Дурной сон приснился.

Жена успокоилась, уснула. Звездин вышел на кухню, зажег свет. Боли в сердце прошли. Мысль заработала четко. Отыскав на кухонном столе огрызок карандаша, Звездин стал торопливо что-то записывать.

На следующий день, в десятый раз все обдумав и взвесив, Звездин пошел к Кириллу Платоновичу.

— Здоров, здоров, — приветствовал его Дубков. — Что это ты такой? Не то пришибленный, не то... сам кого-то побил...

— Побил самого себя.

— Это как?

— Решил заново писать свою главу.

— Да-а? А сроки? — сразу помрачнел Дубков.

— Надо продлить.

— Из-за тебя одного?

— Нет.

— Из-за кого же еще? Кучара? Да? Если он не согласится переписать свою главу, ее напишет другой.

— Мне кажется, Кирилл Платонович, не Кучару, а всем остальным надо переделывать свои главы.

— Это почему же?

— У него более дальний прицел.

— А война может быть завтра, послезавтра! Это вы понимаете?! — вспыхнул Дубков. — В сорок первом году наши теоретики тоже смотрели далеко. А что получилось?

— И все же к принципам глубокой операции мы вернулись уже в сорок втором году.

— Вот, вот. В сорок втором, когда о начальном периоде старались не вспоминать. А о маневренной обороне запретили даже всякие разговоры. Знаешь: умри, а не с места!

То, что Кирилл Платонович так быстро вышел из себя, озадачило Звездина. Видимо, начальник кафедры не уверен в своей правоте.

— Кирилл, — обратился к нему Звездин после неловой паузы. — Ты читал рукопись Кучара?

— Читал.

— Внимательно?

— Да.

— И что же? Только откровенно — играть друг перед другом в прятки нет нужды, — предупредил Звездин, прищурив, как перед выстрелом, левый глаз.

Дубков вытянул вперед плотно сжатые губы, косо взглянул на Звездина и подумал: хоть мы с тобой — Кирилл да Иван, друзья, а поступиться своей партийной принципиальностью ради дружбы, кажется, не хочешь.

— Откровенно, говоришь? Что же, изволь, как говорится. — Дубков медлил с ответом. — Я практик. Больше всего ценю то, что полезно войскам. Сегодня, завтра, послезавтра. Можешь убедиться, мои взгляды не расходятся с требованием партии: науку ближе к производству, к потребностям дня.

Ответ Дубкова показался Звездину снисходительно ироническим. Поэтому он спросил:

— Ты всерьез так понимаешь партийное руководство наукой?

— Не только я. Газеты читаешь? Ученые звания только тем, кто своими диссертациями уже сегодня приносит практическую пользу.

— Это верно. Но, если бы партия руководствовалась только одним таким правилом, у нас не было бы сейчас ни ракет, ни спутников. Знаешь, такие штуки изобретаются не в один год.

Звездин говорил убежденно. Он знал: война — не туристский поход, сбился — можно вернуться и найти правильную дорогу. На войне всякий поиск — тысячи, а теперь, может быть, и миллионы погибших людей.

Дубков понял его. Он выпрямился, заговорил начальнически серьезно:

— Я решил написать труд, который необходим на ближайшие два-три года, пока войска будут располагать небольшим числом ракет. Что надо будет позже... пусть думают другие, не запрещаю.

— Пока напишем труд, Кирилл, пока издадим его и он дойдет до войск, как раз и пройдет два года. На это время пригодны действующие положения, стоит лишь внести в них небольшие поправки. Знаешь же, небольшое количество нового оружия не может существенно изменить природу боя.

— Так надо писать быстрее, об издании я позабочусь сам.

— Я не пойму тебя, Кирилл. Ведь есть основа — рукопись Кучара. Доработаем остальное, и получится хороший труд, который проживет пять, а может, и десять лет. Ведь средства борьбы и направление их развития определились.

— Определенились, но еще не один год будем считать их на пальцах.

— До начала серийного производства... Затем их будет столько, сколько нужно.

— Лозунги. До войны их слышали.

— Не пойму, почему ты упрямисься. Неловко сознаться в промахе? Сейчас его легче исправить, чем после.

— Ты слышал о выступлении представителя Главкома на юге?

— Слышал.

— Наверное, он знал, что говорил, если таким образом ориентировал подготовку войск.

— А почему ты не допускаешь, что он высказал лишь свое мнение?

— Допускаю. Но ты знаешь, что за человек Иван Романович.

— Знаю, и считаю, что, если он так сказал, значит, ошибся.

— Иди, скажи ему об этом.

Звездин развел руками. Он был удивлен. Дубков, который, как он знал, никогда не терялся перед любым, самым грозным начальством, сейчас пугал его: «Я уже пробовал, теперь пойдй ты».

— Что ж, если нужно, пойду,— ответил Звездин.— Только думаю, если дать прочитать ему рукопись Кучара, он сам поймет опрометчивость своего высказывания.

Дубков снова откинулся на спинку стула. Скоро год, как они вместе работают. И до сих пор Звездин казался ему добрячком. Поэтому, подумывал Дубков, и в академию попал. А вот сейчас, хотя Звездин говорил спокойно, в его голосе слышалась та непримиримость, которая подтверждала его предположение — Звездин не посчитается с долгой дружбой, если его не убедить...

Убедить Звездина было нечем. Высказано было уже все. И тем не менее он остался на стороне этого Кучара! «Раз так,— подумал Дубков,— я вынужден поступить чисто по-военному: решение принято, надо заставить подчиненных выполнять его».

— Вот что, Иван. Ты мне друг, но служба важнее. Монографию выпустим такой, как задумали. Всю ответственность беру на себя.

Рябоватое лицо Звездина потемнело. «Голый приказ, отданный вопреки рассудку. Что выйдет из этого? Ничего. Неверная теория, невероятные жертвы. Нет!»

— Твоей ответственностью не воскресишь людей.

— Каких?

— Тех, что падут, воюя по твоим принципам.

— Товарищ Звездин!

— Я вас слушаю,— принимая официальный тон, холодно ответил Звездин.

Дубков сразу понял, что, повысив голос, перешел ту границу, которая позволяет человеку сохранять к себе уважение. И хотя трудно было что-нибудь поправить, он закончил уже мягче:

— Мы год корпели и обязаны дать отчет. Прошу передать мне то, что написано вами. Свое мнение я сообщу.

— Слушаюсь.

По тону ответа Звездин Дубков понял, что Иван не намерен выходить за пределы тех официальных отношений, которые установились между ними после того, как он выпалил: «Товарищ Звездин!» А когда Звездин закрыл за собой дверь, ему захотелось позвать его назад, сказать: «Брось дуться, думаешь, наши бумаги решат, как надо воевать. Там наверху решат и скажут». Однако Дубков тут же наглухо стиснул губы, не дав вырваться ни одному слову. Приказ отдан — никаких колебаний. И бой будет выигран!

На следующий день Звездин попросился на прием к начальнику академии. Тот принял его.

— Как, обжились у нас? — спросил он, выйдя из-за стола, чтоб поздороваться со Звездиным.

— Обжился, товарищ генерал. Думал потихоньку учить молодежь, а здесь сразу впрягли в научную работу, выбрали секретарем парторганизации.

Звездин, стараясь быть предельно объективным, рассказал о ходе разработки теоретического труда и о своем последнем разговоре с генералом Дубковым.

Начальник академии, обхватив запястье левой руки пальцами правой, скосил взгляд на книги, стопками лежавшие на правом углу стола. Молчал он долго, казалось забыв о присутствии Звездина. Он хорошо знал, что в связи с появлением ракет и атомного оружия о начальном периоде войны существует немало мнений, самых противоположных. Одни утверждали — тактика в начальный период будущей войны останется прежней. Другие говорили, что изменения будут, но очень незначительные; определить их заранее трудно. Третьи возражали первым и вторым: раз будут существенные особенности в операциях, бои — как часть их — не могут не иметь своих особенностей. На это им обычно отвечали: кирпичи всегда одинаковые, а какое разнообразие архитектурных форм они позволяют создать. В свою очередь третьи парировали такой довод тем, что сражения и операции сейчас будут состояться не только из боев, но и из других компонентов. И сами бои, особенно в начальный период войны, приобретут самые разнообразные формы, более гибкие, более подвижные, более

контрастные и более узорчатые, если это слово применимо к движению больших людских и технических масс в огне, пыли, где только опытный глаз может различить тот или иной рисунок.

Генерал Дубков и Монаков придерживались первых двух мнений, Кучар и Звездин — третьего. Кто-то из них прав, кто-то ошибается. Двух истин нет. Но истина, знал генерал, никогда не рождается чистой, как ребенок, особенно военная. Из нее подчас до боя, войны невозможно выжечь все лишнее, путаное, для многих верное, а на самом деле устаревшее, которого уже не будет в новой войне.

Генерал Дубков много воевал. А войны, следующие одна за другой, хоть и разные, всегда имеют элементы преемственности, сходства, как ступеньки, по которым поднимаются на верхний этаж. По всей вероятности, кое-что полезное у него есть. Кучар же исходит только из новых средств борьбы, поэтому в его взглядах заметно прожектерство. При всей опасности неизбежных промахов в разработке нового, неизмеримо больший вред все же приносят теории, проникнутые духом старины, консерватизма.

Генерал Звездин, видимо, пришел на прием в надежде окончательно решить спор, узнать мнение начальника академии. Лично у него, возможно, более широкий кругозор, больший боевой и жизненный опыт. Немало он думал о том, что внесут в военное искусство новые средства поражения, особенно в начальный период войны, когда они проявят свои действительные (а не только предполагаемые) боевые качества. Многие он высказывал вслух, о многом еще не хотел говорить открыто, потому что не знал, верно ли то, что накопилось в голове. Нужно не раз еще подумать, посоветоваться, чтобы прийти к твердому убеждению и сказать генералу, кто больше прав. Но через день он должен уехать за границу читать лекции, потом ему предстоит быть посредником в крупном оперативном учении. А там отпуск: к новому учебному году надо подкрепить силы — он далеко не молод. Что же ответить генералу? А может быть, спросить его?

— Так, — прервал затянувшееся молчание начальник академии. — Так что же, по-вашему, следует предпринять, чтобы разработать верную теорию?

— Без вашего вмешательства рукопись подполковника Кучара просто не будет принята во внимание. Желательно, чтобы вы или кто-либо из ваших заместителей прочитал ее и решил...

— Решить сложный теоретический вопрос — не квартиры распределить. Вы понимаете, ошибки Кучара или генерала Дубкова — полбеда. Моя ошибка — большая беда. Мое мнение, хочешь не хочешь, будет воспринято как мнение академии. А к нему прислушиваются войска, ждут свежего слова и наверху и, учитывая его, многое решают. Ошибемся — беда для всей армии. Я знаю, что в теории начального периода наиболее верно на сегодня, то есть на этот и следующий год. Что будет дальше — надо найти, разработать. Решить все в одиночку, простым росчерком пера — не берусь. Да и не могу сейчас: еду в Чехословакию и в Венгрию с лекциями. Заместителям скажу, чтоб прочитали. Попозже обсудим все, что вы напишете. Без этого труд не выйдет. Это я вам обещаю.

И на очередном заседании Ученого совета начальник академии упомянул, что на кафедре генерала Дубкова при разработке теоретического труда возникли серьезные разногласия. Необходимо всем ознакомиться со взглядами сторон и высказать свое мнение.

Рукопись Кучара была спешно размножена и быстро разошлась по кафедрам.

13

Уже через несколько дней многие преподаватели поздравили Кучара с интересной работой. Их рукопожатия, теплые слова означали согласие с ним, признание его взглядов. Груз сомнений свалился с плеч, стало легко, и подполковник расхаживал по академии свободным неторопливым шагом.

В конце недели к нему зашли дипломанты. Унылое выражение их лиц озадачило Кучара.

Начал Майер.

— Товарищ подполковник...

— Товарищ Майер, — добродушно прервал его Кучар, намереваясь расслабить скованность дипломанта. — Скоро закончите академию, а все еще подполь...ковник. Прижимайте язык не к небу, а к верхним зубам. Попробуйте.

Майер смутился, однако повторил слово правильно и стал излагать цель прихода:

— Я учился всего восемь лет. Математику знаю мало. Георгий десять лет. Тоже говорит — не все понял.

Растерянность слушателей насторожила преподавателя. Видимо, он усложнил расчеты и доказательства. Не поняли его дипломанты, могут не понять и другие.

Кучар посадил слушателей рядом с собой и начал объяснять. Разобрали примерно треть брошюры, когда у Стрельцова невольно вырвалось:

— Наши писания — лепет...

Фраза Стрельцова огорчила Кучара. Выходило, он выбил у дипломантов веру в значительность их труда. Это уже было опасно. Без веры защищать дипломы нельзя.

— Вы... — Кучар запнулся, подыскивая нужные слова. — Вы по-своему провели исследование новых вопросов и доступно изложили свои мнения.

— А от нас потребуют доказательств.

— Они у вас есть. И неплохие. Вы оценивали сражения прошлой войны и результаты испытаний нового оружия.

— Полковник Монаков тоже оценивал, а выводы у него совсем другие.

— Он оценивал их предвзято. Сравните его оценку известного вам сражения с оценкой комбрига Душкина.

Стрельцов перестал упорствовать, Майер облегченно вздохнул.

Зазвонил телефон. Кучар не сразу узнал голос начальника политотдела.

— Не узнали? Полетов.

— Слушаю вас, товарищ генерал.

— Вы не можете зайти ко мне?

— Могу, товарищ генерал.

— Тогда жду вас. Захватите с собой рукопись вашей монографии.

Кучар положил трубку.

— Извините. Приходите завтра. Только без паники. Поняли?

— Без помощи, кажется, не осилю вашу работу, — сказал Полетов, здороваясь с Кучаром. — Садитесь рядом. Понял я пока одно — математика по-настоящему вторгается в военное дело. Без нее нельзя глубоко про-

никнуть в суть сложного явления. Вопросов у меня много. На ответы потребуется, может быть, вечеров десять. Сможете уделить мне столько? Возможно, меньше. Когда-то ведь я нюхал высшую математику. В армию пошел со второго курса Свердловского политехнического института.

— Сколько потребуется, товарищ генерал.

— Не ужинали?

— Нет еще.

— Я тоже. Сейчас попрошу нам принести. А вы пока позвоните домой, предупредите, что задержитесь.

Полетов вышел, и Кучар вспомнил — завтра Ася просила встретиться. «Отложить? А вдруг ей очень нужна моя помощь? Не приду — она больше не позвонит, и я никогда ее не увижу».

От этого предположения у Кучара заняло под лопаткой. Он нетерпеливо поднял телефонную трубку, позвонил Асе и только потом жене.

14

У Курского вокзала Алов отстал от Дубковых, чтобы купить букет цветов. Настроение у него было тревожно-радостное. Со дня отъезда Светланы он засел за переделку диссертации и работал, как он говорил знакомым, больше лошади. Диссертация, казалось ему, становилась лучше, он — тоже. Исчезла неловкость от воспоминания причины, которая привела его к мысли жениться на Светлане, а в последние дни даже появилось беспокойство, и он принял его за рождение любви, той любви, которая приходит к человеку один раз и живет в нем уже до конца дней.

Виктор выбрал букет и направился в тоннель — сердце билось ровно и спокойно. Лишь когда он стал подниматься на перрон, оно забилося чаще и тревожнее, но без той сладостной боли, которую он испытывал три года назад, когда спешил на встречу с чудной беззаботной студенточкой или с балериной в Ташкенте.

Недовольно пыхтя железными ноздрями, прогрохотал паровоз, сдерживая напор набегающих на него вагонов. В четвертом ехала Светлана. Загорелая, веселая, она высунулась из окна и помахала рукой. Ее косы с распустившимися концами развевались по ветру. «Беда ми-

новала», — подумала Мария Петровна, и от радости на глазах у нее выступили слезы.

По оживленному смеху Светланы, когда она целовала отца и мать, Алов предположил, что она забыла Майера. Это рассеяло сомнения подполковника, и будущее показалось ему не столь уж безнадежным. Когда Светлана повернулась к нему, он шутливо выпятив грудь, преподнес ей цветы.

— О! — воскликнула она, принимая букет и чуть вскинув на него глаза. — Спасибо.

Во время обеда Светлана рассказывала о своем походе, о красотах высокогорного Кавказа и не сразу заметила, насколько своим, даже близким человеком в их семье стал Виктор Михайлович. С отцом он говорил по-прежнему непринужденно, не выказывая, впрочем, прежних отношений, небольшие услуги матери оказывал просто, без той подчеркнутой галантности, которой щеголял раньше. Такая манера, видимо, нравилась Марии Петровне, и она молча благодарила его, часто переводя свой взгляд с дочери на Алова.

Светлана случайно поймала один из таких взглядов матери, и ей вдруг показалось, что мама как бы примеряет ее к Виктору. Девушка с досадой подумала: «Неужели мама, моя мама, хочет чтобы я стала его...»

Встревоженная своим предположением, Светлана потеряла нить рассказа. Потом с трудом собралась с мыслями и закончила без прежнего оживления.

— ...Ну, только мы отскочили в сторону — мимо легковые машины. Не наши. Пассажиры такие надменные, в огромных темных очках. Все решили, что буржуи, и ребята свистнули им вдогонку.

— Сегодня можно посмотреть иностранцев безочкастых. Хотите? В Лужниках через час начало заключительных соревнований с американскими спортсменами.

Света посмотрела на отца, надеясь, что он возразит, и ей не придется отказывать и тем выдавать маме свое нежелание быть наедине с Виктором Михайловичем. Но Кирилл Платонович пробасил:

— Сходи. Я могу подвезти вас. Мне еще в академию нужно.

Светлане пришлось согласиться.

Людские ручьи сливались у проходных ворот, образуя сплошной поток. У большой арены он вновь разливался на протоки, напоминавшие дельту реки. Привлеченные на стадион сразу двумя матчами, легкоатлетическим и футбольным, люди спешили увидеть зеленое поле, спортсменов, услышать стотысячный гул и самим покричать, подурачиться, если гол забьет любимая команда.

Человеческая стремнина подхватила Виктора и Светлану и, протаскив сквозь ворота, выбросила на аллею. Тут куда легче было потерять друг друга, чем найти или хотя бы мельком увидеть знакомое лицо. И все же Светлана увидела его, Вольфганга. Он шел у самого края аллеи с капитаном Стрельцовым. Их обгоняли, они уступали дорогу. Какой-то парень, проскочив между Светланой и Виктором, оттеснил ее, и она, освободившись от цепкой руки подполковника, поплыла в людском потоке, не сопротивляясь, — он ведь нес ее к Вольфгангу.

Майер обернулся и заметил Светлану: В его взгляде девушка увидела с трудом укрощенную любовь и немую просьбу не мучить его — он, немец, не может рассчитывать на взаимность русской, особенно когда рядом с ней такой красивый подполковник.

«Вольфганг, зачем ты так плохо думаешь обо мне», — упрекнула Светлана Майера взглядом и протянула ему руку. Он неуверенно взял ее и, смущенный укором девушки, не решался ни пожать, ни тут же отпустить ее. Чтобы не смутить Вольфганга еще больше, Светлана терпеливо ждала, боясь неосторожного движения, которое напомнило бы ему, что так долго держать ее руку не совсем удобно. Затянувшееся рукопожатие шутливо прервал Стрельцов.

— А мне?

— И вам.

Подошел Алов. Он успел заметить, как растерянность на лице Вольфганга сменилась смущенной улыбкой, и догадался, каким был обращенный к нему взгляд Светланы. Подполковник решил было обидеться, но в конце концов счел за лучшее дружелюбно поздороваться с офицерами.

Все вместе направились к стадиону. Георгий и Майер — на восточную трибуну, Светлана с Аловым — на западную. Распрощавшись, Вольфганг посмотрел вслед

девушке. Алов крепко держал ее под руку. Она не отнимала руки, казалась веселой и довольной. «Как это понять? Ей приятно с ним?»

— Никак не пойму, почему вы разошлись? — проговорил Георгий за плечом Вольфганга.

— Видишь, ей приятно с ним.

— Балда ты, вот и все!

— Что такое балда?

— Думмкопф.

Вольфганг промолчал.

— Если ты будешь избегать ее, я отобью ее у этого хлюста. Только не для тебя. Слышишь?

— Да.

— Идем, скоро начало.

Светлана действительно больше не тяготилась обществом Виктора Михайловича — она увидела Вольфганга, и этого ей было достаточно.

15

Как-то получилось, что после первой встречи они назначили вторую. А третья произошла уже без уговора. С работы Кучар пошел пешком через парк — освежиться, как он объяснил сам себе свое намерение. Получилось так, что он подошел к месту второй встречи, и снова увидел там Асю. Свидания потянулись одно за другим. После занятий с начальником политотдела Кучар спешил в Центральный парк, где у золотой башни встречался с Асей. Они пересекали Нескучный сад и выходили к Калужской заставе.

Сегодня (это был последний вечер совместной работы с генералом Полетовым) Кучар шел на встречу с Асей с непонятной ему тревогой. Хотелось быстрее ее увидеть, а ноги... еле двигались, будто только что проделали долгий утомительный путь.

О том, что он был снова влюблен в Асю, Игнат понял давно. Но эта любовь не принесла ему радости: она была запретной, непозволительной в его положении и порождала в нем то безысходное чувство, которое испытывает осужденный, получивший отказ в ходатайстве о помиловании. И все же под семью замками таилась слабая надежда на будущее. В чем она — он не знал. Скорее, это было желание. Всякий раз, когда он пытался мысленно достичь его, на пути становилась дочь и по-

дурневшая, вся в слезах жена. Подняв руки, она кричала ему: «Куда; у тебя скоро будет второй ребенок!» Сын! И Кучар, встречаясь с Асей, говорил с ней о многом, но только не о своем и ее будущем.

Когда он подошел к заветному месту, Ася, увидев его, порывисто поднялась со скамейки и пошла навстречу. Чем различимее становились черты лица Игната, тем больше укорачивался ее шаг, неподалеку от него она остановилась.

— Случилось что? — спросила она пытливо.

— Нет. — Кучар попытался улыбнуться.

— У тебя вид утомленный... и расстроенный.

— Устал.

Ася поняла: Игнат не все сказал о причине своего удрученного настроения. Осторожно взяв его под руку, она пошла с ним по крутой извилистой тропинке. Уже на вершине склона Ася украдкой посмотрела на задумчивое лицо Игната. «О чем он думает, что решает? Спросить? Ответит ли? И лучше ли нам будет от полной ясности? Я же не думаю отнимать его у семьи». И все-таки желание узнать, услышать, что она любима, пересилило.

— О чем ты думаешь, Игнат? — осторожно спросила она.

Кучар не расслышал вопроса Аси. Он посмотрел на нее и только по запомнившимся звукам восстановил смысл ее слов. Ответил ей, когда они сели на скамейку.

— О чем я могу думать? Час радостей — дни мук. Почему? Люблю. Говорю второй раз в жизни. И опять тебе.

Признание родилось вместе с мучительной болью в груди. Сказал: «Люблю» — и не потянулся к ней. И Ася сама положила руки на плечи Игната. Он поднялся, посмотрел в ее все понимающие глаза. Забыв о том, что они в парке и кругом люди, он прижал ее к себе и поцеловал.

Какой-то прохожий недовольно кашлянул. Игнат оглянулся не сразу и увидел только спину, седую гриву и военную фуражку в руках за спиной. Вроде знакомый. Но кто? Он не стал догадываться.

— Знакомый? — встревоженным взглядом проводила Ася седовласого.

— Кажется.

— Расскажет в академии, чем мы тут занимались?

— Пусть.

— Я свободна, а ты...

— Объясню — поймут. Не поймут — получу взыскание. — В словах Игната была та обреченная решимость, которая говорила: недозволенное произошло не сейчас. Придется ответить — отвечу.

У выхода из парка Ася спросила:

— Сколько еще Лизе ходить?

— Около месяца.

— Как она чувствует себя?

— Как обычно. Если б...

— Что, если б?..

Кучар посмотрел на Асю и закончил:

— Дома я держу себя холодно и замкнуто. Она понимает. Ее упрек — хуже тяжкого взыскания.

— Может, мне быстрее уехать?

— Нет, — помедлив, ответил Игнат и тут же опустил голову.

Ася обрадовалась ответу Игната. Крепче прижала локтем его руку и быстро зашагала к троллейбусной остановке, увлекая его за собой.

Он шел рядом, боясь посмотреть ей в глаза. К счастью, троллейбус подошел тут же. Ася вскочила в салон, дверь захлопнулась, она так и не увидела выражения глаз Игната.

А он круто повернулся и пошел прочь, все ускоряя шаги, будто убегал от того места, где совершил преступление.

Перед тем как сказать: «Нет», Кучар мысленно увидел Лизу и подумал: «Может быть, она умрет от родов и тогда...» От такого предположения глаза его омертвели, лицо исказилось, словно кто-то в наказание причинил ему нестерпимую боль, и он прятал глаза, чтобы люди не узнали, о чем он подумал. Он гнал от себя эту чудовищную мысль, а она снова и снова возвращалась, льнула к нему. Чтобы убежать от нее, Кучар взял такси и помчался домой.

Через пять минут он был уже у двери в свою квартиру. Открыл ее. В комнате никого. На столе записка: «Лизу на скорой помощи отправили в родильный дом. Дочь у нас».

«На скорой помощи. Значит, ей плохо».

Но это уже не обрадовало его. Узнав у соседей, как все случилось, он тут же уехал в родильный дом.

Генерал Звездин собирался идти к Кучару, чтобы передать содержание своего разговора с начальником академии, когда ему позвонил секретарь партийной комиссии.

— Здравствуйте, Иван Васильевич,— услышал Звездин знакомый баритон,— Чистовин говорит. Я звоню вам вот по какому вопросу. Ваш Кучар занимается неблагоприятными делами.

— Какими?

— Своя жена в роддоме, а он увивается за женой другого.

Это было так непохоже на Кучара, что у Звездина непроизвольно вырвалось:

— Кучар?

— Да, да. Если бы сам не видел, тоже не поверил бы. Поцелуй в парке, даже не при луне. Думаю, надо заняться, иначе вы можете потерять коммуниста.— Звездин не знал, что и ответить. Не слыша в трубке его голоса, Чистовин добавил: — Спросите у подполковника Алова. Кучар встречается с его женой...

Подробности, которые сообщил секретарь партийной комиссии, свидетельствовали, что Кучар — волокита, двоедушный человек. На службе честен, как невинный юноша, а с женой — умелый лжец. И все же не верилось. Ведь весь он точно каменная глыба — и вдруг двухслойный. Неприятно, но, видимо, факт. Видеть его сейчас не хотелось. А надо: то, что он разрабатывает, очень важно и нужно.

Звездин пошел в отдел кадров и ознакомился с личным делом Кучара. Характеристики и аттестации за каждый год. А узнать, чем жил офицер, что его волновало и мучило, каков его характер и каковы наклонности, что в нем плохого, если даже он хороший, каким и аттестовался всегда, было невозможно. Только в аттестации, написанной полковником Саблиным почти десять лет назад, Звездин встретил несколько живых фраз: «В конце учебного года начал вести себя отчужденно, замкнуто. К предложению взять дипломную работу, которую можно было бы в последующем развернуть в диссертацию, отнесся без воодушевления, поскольку не собирается оставаться в Москве, хотя прежде намеревался посвя-

тить себя военно-педагогической работе. По окончании им академии предложение следует повторить. Думаю, когда боль от его неудачного увлечения пройдет, предложение будет принято».

«Неудачное увлечение», — повторил Звездин. Десять лет назад. Саблин, наверное, уже не помнит его. А может быть, помнит?

Звездин попросил Саблина зайти в партийное бюро.

— В вашей характеристике на Кучара, Федор Прокофьевич, есть вот это место. — Звездин раскрыл перед Саблиным личное дело. — Не можете ли пояснить его подробнее?

— А, — протянул Саблин, прочитав аттестацию. — У нас не принято писать в аттестациях о мелочах. Вот я и напустил дыму, надеясь, что умный человек догадается, а дурак не поймет и не наделает вреда. Алов и Кучар учились в моей группе. Как уже у них там получилось, не помню. Однако в делах любовных Алов обскакал Кучара. Неудача потрясла его, и он совершил глупость — женился на другой без любви.

— Жена Алова — та, которую любил Кучар?

— Да.

— Видимо, вернулась старая любовь...

— Вы думаете, его будет легко наставить на путь праведный?

— Нет. Но когда мне сказали о встречах Кучара с женой Алова, мне показалось, что у него пошленький роман. Теперь легче.

— И тяжелее. Кучара нелегко заставить отказаться от своих намерений.

— Как же к нему подступиться?

— Хорошенько узнайте, на что он решается.

Слухи поползли по всей академии. Вскоре они дошли и до Кучара. Когда он сам оценивал свое поведение, что-то заставляло его виновато отводить глаза от спрашивающих взглядов товарищей; когда же он доказывал себе, что ничего плохого между ним и Асей нет, разговоры вокруг их имен казались ему мещанской пошлостью. Упрямо наклонив голову, он ожесточенными глазами всматривался в лица встречных, пытаясь узнать, кто же из них распространяет о нем вздорные сплетни.

Легче становилось Кучару лишь после окончания рабочего дня, когда все уходило и он один оставался в

своим кабинетом. Кучар рассчитывал на самый плохой исход своего дела и спешил закончить монографию. А там хоть к черту на кулички. И чем быстрее, тем лучше.

Порой силы иссякали, и тогда он уходил из опустевшего здания академии в парк, где встречался с Асей. Она передавала ему посылки для Лизы, и они шли в запытавшееся в овраге среди деревьев кафе. Здесь всегда раздавался пьяный галдеж. Официантки, зная, что контроль сюда заглядывает редко, с посетителями разговаривали бесцеремонно. И все же Игнат и Ася предпочитали «свой час» провести в этом кафе. Сюда менее всего мог заглянуть нежелательный знакомый и помешать их встрече.

Как-то после работы Игнат заехал к Лизе, передал фрукты и записку. Сообщил ей, что поедет в лагерь детского сада навестить дочку. Переодевшись дома в штатский костюм, он направился к месту встречи с Асей.

В кафе было мало народу. Лишь в углу сидели четыре захмелевших парня. Вскоре трое из них вышли. Последний, допив пиво, попытался незаметно скрыться. Официантка, увидев пустой стол, выскочила из кухни и вцепилась в пьяного.

— Нажрались и удирать! А деньги я буду платить! Милиционер! Милиционер,— закричала она визгливо.

Парень оттолкнул ее и побежал к выходу. Кучар поднялся из-за стола и схватил беглеца за руку. Тот завопил благим матом:

— Братцы, наших бьют!

Откуда-то появились его друзья и полезли в драку. На шум и крик прибежал милиционер.

— В чем дело?

— Вот эти нажрали на двести рублей и хотели улизнуть.

— Врешь, сама мошенница! — закричал один из хулиганов. — Мы только на минутку по нужде вышли, а этот верзила полез драться с нашим товарищем.

— Ты врешь! — закричала официантка. — Вы начали драться!

— Дело темное, — сказал старшина. — Разберемся в отделении.

— Я никуда не пойду, — заявил Кучар, вспомнив, что

у него нет с собой документов и для подтверждения того, кто он, придется сказать, где он работает. И в академии станет известно, с кем опять он был в парке.

— Не советую! — пригрозил старшина. — Разберемся, все будет в порядке — придете доужинаете.

— Я сказал, мне нет необходимости к вам ходить.

На оглушительный свисток старшины прибежали три милиционера.

— Я пойду, — поневоле согласился Кучар, желая избежать шума, — только без нее. Ей нужно ехать домой.

— Нельзя. Она свидетель.

Пришлось совершить прогулку в отделение милиции. Там Кучар долго не хотел говорить, кто он, поскольку не считал себя в чем-либо виновным. Его упрямство разозлило дежурного, и он пригрозил арестом до выяснения личности. Кучар назвал себя. Дежурный справился о нем в академии. Данные подтвердились, и лейтенант милиции, с горьким сокрушением посмотрев на Игната и Асю, отпустил их.

Пристыженные, они вышли из отделения милиции.

— Что теперь с тобой будет? — спросила Ася.

— Все, кроме хорошего.

— Сколько горя я тебе принесла! Мне Виктор искорвал жизнь, а я тебе.

Ася заплакала. Игнат легонько притянул ее к себе, и она уткнулась лицом в его грудь. Кучар прижал ее голову, и долго так простояли они в тени деревьев, не зная, что им теперь делать. Потом Ася, откинув голову, решительно попросила:

— Проводи меня домой.

Весть о том, что подполковник Кучар был задержан милицией, уже на другой день стала известна многим. Подобного не только с преподавателями, но и со слушателями не случалось по меньшей мере лет пять. Когда она дошла до полковника Чистовина, он крайне возмущился. Коммунист, офицер, преподаватель военной академии задержан милицией! Можно представить, что он натворил!

Полный благородного гнева, он позвонил Звездину:

— Иван Васильевич! Что же творится в вашей партийной организации! Сигнализировал, просил принять

меры — и ничего. Вот и достукались. Вчера вашего Кучара задержала милиция и опять с той же женщиной.

Сердце Звездина упало: «Прошляпил, не удержал человека. Эх! Надо было не ждать приезда Саблина, а самому поговорить с ним».

— Что думаете предпринимать?

— Узнаю суть происшествия, тогда...

— Только не тяните. Иначе партийная комиссия сама займется им.

Чистовин не был уверен, что на кафедре как следует осудят тяжкий проступок Кучара, и он решил поставить в известность начальника политотдела с тем, чтобы получить разрешение разобрать дело коммуниста Кучара на заседании партийной комиссии.

Собрав свои записи, он направился к Полетову.

— С вашего разрешения, товарищ генерал. По весьма важному и срочному делу.

— Присаживайтесь.

— Вам доложили о задержке Кучара органами милиции?

— Да,— ответил спокойно Полетов.— Он задержал хулиганов.

— Это одна сторона происшествия, товарищ генерал,— возразил Чистовин.— Вторая заключается в том, что он долго не хотел назвать себя. Притом задержали его не одного, а с женщиной, в то время когда его жена лежит в родильном доме. С этой женщиной он встречается давно, используя для обмана жены свою работу с вами. Всякий раз, когда он уходил от вас, он встречался с женой подполковника Алова. Он воспользовался вашим доверием! Последнего шага, может быть, не было бы, если бы партийная организация кафедры вовремя пресекла аморальное поведение коммуниста Кучара. Я в свое время сигнализировал генералу Звездину, но он решительно ничего не предпринял. Такое либеральное отношение к коммунисту Кучару может дать повод другим... Думаю, подполковника Кучара надо срочно привлечь к строгой партийной ответственности.

Самым неприятным для Полетова было то, что после занятий с ним Кучар спешил к любовнице. Факты говорили, что все это именно так. Но как ни напрягал генерал свою память, он не мог припомнить ни одного движения, ни одного жеста, которые бы выдали нетерпение

Кучара, стремление скорее закончить занятие. Они всегда работали столько, сколько надо было ему, Полетову.

Факты, сообщенные Чистовиным, требовали воздействия и наказания. Только какого?

Полетов провел рукой по своей до глянца выбритой голове и спросил:

— Как вы намерены воздействовать на Кучара?

— Поскольку партбюро кафедры затягивает разбор дела Кучара, считаю, что парткомиссия обязана заняться им сама.

— Вы знаете, какую работу выполняет сейчас Кучар?

— Да. Однако, товарищ генерал, это не ограждает его от партийного контроля и воздействия. В первую очередь он коммунист, а потом уже все остальное — офицер, преподаватель, научный работник.

Щеки Чистовина покрылись густым румянцем, губы сжались в тонкие пластинки с неровными изломанными краями.

— По-моему, товарищ Чистовин, отделять коммуниста от офицера или вообще от дела, которое он выполняет, неверно. Коммуниста вообще я не представляю.

— Но, товарищ генерал, — озадаченно протянул Чистовин. — Что-то ведь должно отличать коммуниста от беспартийного?

— Его труд, дела, поступки.

— Хорошо трудиться может и беспартийный, а некоторые религиозные люди поступают по отношению к своей семье значительно лучше, чем коммунист Кучар.

— Да, хорошо может трудиться и беспартийный, а религиозный — человечно относиться к семье, — с терпеливым сожалением проговорил Полетов. — Но из этого совсем не следует, что отличие коммуниста — не в труде и поступках, а в чем-то другом. На труде и семье — человечество держится. А мы — за хорошую его жизнь.

— Кучар, товарищ генерал, семью разрушает.

— А если допустим, что ищет?.. Ищет лучшую семью.

— У него дети, товарищ генерал.

— Я же сказал — «допустим». Потом, искать — не всегда означает бросать уже созданную семью.

— Я вас не пойму, товарищ генерал. Вы против привлечения Кучара к партийной ответственности?

— За, товарищ Чистовин, за,— с досадой ответил Полетов. — Только, по-вашему, вероятно, привлечь — означает воздать так, чтоб надолго запомнил?

— К тем, кто нарушил Устав, партия всегда была строга.

— А к тем, кто ошибался?

— У Кучара не ошибка.

— Что у него, надо хорошо разобраться. И так, чтобы разбор не помешал делу, не убил в человеке стремление творить. То, что разрабатывает Кучар, очень важно. Познакомьтесь.

— Слушаюсь,— тихо ответил Чистовин, догадываясь о намерениях начальника политотдела.

Полетов вспомнил лицо подполковника с вздувшимися на висках венами и решил:

— Случай с Кучаром пусть обсудит партийная организация. Возможно, этого будет достаточно.

17

Отголоски разговоров, слухи, кривотолки жалили Кучара, как шмели. Он не оборонялся от них, поскольку знал — сам виноват. Только мрачнел, все больше уходил в себя.

Больнее всего Кучара уколола встреча с капитаном Майером. Заметив подполковника, он свернул в темный отсек коридора. Почему? Ученик стыдится поступков учителя? А как встретят его те пятнадцать, которым он отдавал все, что знал, что приобрел на войне, в книгах, в научных поисках?

По команде старшины группы слушатели встали, как на строевом занятии, и замерли. Старшина вытянулся, как-то неестественно откинул плечи назад и начал автоматически открывать и закрывать рот, словно выстреливая тяжелые каменные слова, которые больно разили Кучара. Упавшим голосом он произнес: «Прошу садиться» — и прошел к своему столу. Надо начинать занятие, но как вести его, если нет никакой надежды срастить совсем еще недавно крепкие, а сейчас порванные им самими связи.

«Может быть, не все поверили в мое падение?» — Кучар с надеждой и страхом посмотрел на Стрельцова. Тот хотя и сидел с опущенной головой, однако всем своим видом показывал: я понимаю и, если нужно, помогу, как

всегда. Кучар еще раз посмотрел на капитана, благодаря его взглядом за поддержку. Открыв журнал учета успеваемости, он уже нацелился карандашом на квадратик против фамилии Стрельцова и... раздумал. Бросить сразу в бой единственный резерв — слишком большой риск.

Подполковник, стараясь придать своему голосу прежнюю уверенность, приказал приготовить карты и записи и пошел между рядами столов. Чем дальше он шел, тем больше находил ошибок, грубых, непростительных для слушателей выпускного курса. За все время они впервые так плохо подготовились к занятиям. Почему? Не было времени? Или не поняли содержания лекции?

А объяснялось все очень просто. В конце последней лекции подполковник высказал несколько новых соображений. Они были слишком уж необычными, существенно отличались от прежних, и слушатели не знали, какими рекомендациями нужно пользоваться при решении практической задачи. Лишь Стрельцов объявил, что будет принимать решение на встречное сражение по-новому. Пригласить преподавателя на консультацию после всего, что с ним случилось, старшина группы не решился. У слушателей пошел разброд, у большинства решения оказались примитивными, задачи войскам шаблонными.

Подполковник вернулся к столу. Хотелось тут же высказать свои замечания, но, подумав, он сдержался: пусть сами убедятся, к чему может привести подобное планирование операций на войне.

Кучар вызвал старшину группы. Тот долго раскладывал свои записи и карандаши на столе. Подполковник не торопил. Наконец старшина довольно четко произнес вступительные фразы. Дальше заговорил сбивчивее, а вскоре и совсем запутался. Чем ниже опускалась голова преподавателя, тем неувереннее лепетал старшина, всегда такой собранный и умеющий точно сказать, что он хочет.

— Садитесь, — хмуро приказал Кучар. Для всех слушателей это означало: так плохо, что дальше некуда.

«Раз уж о решении старшины он такого мнения, — размышлял каждый, — что же он подумает и скажет об остальных. Старшину может пощадить, нам — выплет соли полной пригоршней».

Вздохнув, Кучар вызвал еще двух, наиболее сильных слушателей. Но толкового ответа так и не услышал.

Только подметил больше ошибок и лучше понял причину, почему слушатели плохо подготовились к занятиям. «Теперь можно разбирать ошибки. Разбор поможет многое исправить. Лучше сначала сказать о себе, потом спросить у них, тогда, может быть, взаимное понимание вернется».

— Почему так плохо подготовились к занятию? — спросил Кучар тем тоном, который разрешал им говорить всё.

Класс молчал. Подполковник медленно обвел взглядом слушателей. И только у двух в глазах он увидел легкую иронию. У остальных — покорное ожидание наказания за свою вину...

— Нежелание отвечать — трусость или протест, — твердо проговорил Кучар. Слушатели, словно придавленные этими словами, еще ниже склонились к столам. — Первое я исключаю — большинство из вас не раз ходило в атаку. А те, кто прямо шел на смерть, то есть вы, пехотинцы, — самые храбрые из всех, кто воевал. Значит, остается протест.

Класс шевельнулся, выражая несогласие. Преподаватель преднамеренно высказал это предположение, давая понять слушателям, что они имеют право на его осуждение.

— Я не мог к вам прийти на консультацию. Потому что был вызван в парткомиссию. Зачем? Задержал хулиганов и попал в милицию. — Кучар видел: класс и верил и не верил. По его словам, получалось, что он ни в чем не виноват. Почему же такой шум? Чтобы поверили, надо сказать все. — Да, я был не один. Допустимо это или нет — судить и осуждать вам и другим. За мной пока еще остается право спросить с вас, почему вы плохо подготовились к занятию. Никто, почти никто из вас не проявил инициативы, изобретательности, воли решить задачу самостоятельно, по-своему.

— Мы решали, как нам говорили на лекции, — буркнул чей-то упрямый голос.

— Вы не решали, а кроили, как портные: наложили выкройку, провели линии и пошли по ней ножницами. Отсюда примитив, шаблон. Как бы ни было вам обидно, сегодня я запишу в журнале, что вы плохо подготовились к занятиям. Теперь слушайте, к каким результатам могут привести ваши решения.

Кучар раскрыл тяжкие последствия, неизбежные при тех ошибках, которые допустили слушатели, и горечь, вызванная неприятной записью преподавателя в журнале, показалась им ничтожной. За плохую подготовку к занятиям поругают, но их неправильные решения — это тысячи загубленных человеческих жизней на войне. Слушая подполковника, класс молчал, будто уложенный шквальным огнем. Только Стрельцов спокойно делал пометки в своей рабочей тетради.

— Даю вам час на принятие нового решения, — подал команду преподаватель.

Слушатели зашелестели бумагами, задвигались, зашагали циркулями по картам. Курвиметры бороздили бумажные дороги, отмеряя расстояния, которые должны будут пройти войска за время операции.

Кучар сел за стол. Прошло всего два часа занятий, а усталость сковала все тело, ломило в висках. И все же было легче, чем два часа назад: пятнадцать человек поверили в него, а главное — забыли все на свете, кроме необходимости найти лучшее решение поставленной перед ними задачи.

Сразу после занятий Кучара пригласил к себе Звездин.

Когда Кучар вошел в комнату партбюро, Звездин, видимо, не услышал стука, он стоял у открытого окна, облокотившись на подоконник.

— Добрый день, — настороженно произнес Кучар.

— Присаживайтесь, — забыв ответить на приветствие, Звездин показал Кучару на стул и сам уселся за столом, напротив. Помолчали.

— Знаете, зачем пригласил?

— Догадываюсь.

— У меня плохо укладываются в голове ваши поступки. Ради миллионов людей делаете огромное дело, а с семьей поступаете по меньшей мере бездумно.

— Я готов ответить, — проговорил Кучар, задетый тем, что его чувство расценено как легкое увлечение.

— Готов? Собираетесь драться? Во имя чего?! — гневно блеснул суженными глазами Звездин.

Такой короткий вопрос, а ответить на него даже самому себе Кучар не мог. Что он может отстаивать, защищать? Право на свою любовь? Их две: Ася и дочь. Лиза тоже... Так просто не оторвешь от себя, не бросишь.

Он долго молчал, подыскивая хоть сколько-нибудь сносный ответ, но так и не нашел его.

— Вам предстоит ответить коммунистам на этот и многие другие вопросы. На партийном собрании молчанием не отделаетесь.

— Постараюсь ответить честно, — опустив голову, тихо проговорил Кучар.

Звездин видел — Кучар уже не упрямился. Но он все же недоумевал: такой огромный, сильный, умный, запутался, как трехпудовый сом в сети. Не знает, куда податься, как высвободиться из нее. Сеть не густая, сквозь нее все видно, только где конец и куда его разматывать, Кучар не знал. Надо помочь, иначе сам хватит лиха, да и семье придется не легко.

Глаза генерала стали опять добрыми и внимательными.

— Как вы думаете поступить с семьей?

— Не знаю, — после долгой паузы ответил Кучар. — До случая в кафе я не думал уходить от семьи. Теперь...

— Что — теперь?

— Не знаю, как мне быть. Уйти к Асе — бросить детей; остаться с Лизой... И раньше не часто нас посещала радость, теперь — подавно. Случившееся жена понять не захочет.

— Помогите — поймет: виноваты вы.

— Только время может помочь.

— Коммунисты долго ждать не будут.

— Обсуждайте.

— Без вашего решения обсуждение может кончиться для вас плохо.

— Я готов на все.

— Вот это «все» меньше всего нам нужно! — снова возмутился Звездин. — Мне кажется, вы плохо понимаете, что за труд вы разрабатываете.

— То, что я делаю, я сделаю.

— Как и когда — вот что важно. Я бы предпочел, чтобы силы, которые вымотают из вас всякие обсуждения, вы использовали бы для завершения своего труда.

— Труд я напишу.

— Его еще надо отстоять. Думаете, с Монаковым легко будет справиться?

— Если удастся найти комбрига Душкина!.. Ведь у него в каждой строчке правда. Если он подтвердит свои

записки документами, от подтасованных в угоду Дубкову выводов ничего не останется.

— Ну... взгляды генерала сложились под влиянием своего опыта...

— Все равно: его опыт — прошлый опыт, он — обуза при разработке современной теории.

— Ну, здесь, Игнат Петрович, вы перебарщиваете. Рассуждая по-вашему, всех воевавших надо из армии — метлой. В том числе, выходит, и вас. Только так никто не поступает — и неспроста. Беда генерала Дубкова и моя в другом. Из своего собственного опыта мы взяли то, что приносило победы, но не в начале, а в ходе войны.

Кучар слушал генерала с большим интересом. «Хорошо бы, — подумал он, — обнажить эту мысль в материалах Дубкова и Монакова. Их теория одряхлела бы у всех на глазах. Но время... Сделать бы основное».

Генерал, словно догадываясь, о чем думает подполковник, спросил:

— Как вы считаете, не выступить ли мне на заседании кафедры с самокритикой? Ну, попутно прихватить Дубкова и Монакова...

— Для меня это была бы большая помощь.

Участие Звездина отогрело Кучара. Он скупно улыбнулся. Хотелось поблагодарить генерала, сделать для него что-нибудь особенно хорошее. Нет, не для того, чтобы генерал защищал его на партийном собрании (он согласен получить то, что заработал), а из чувства благодарности за то, что не отвернулся, подал руку.

18

Генерал Дубков догадывался, по какому поводу его вызывает заместитель начальника академии. Он ожидал, что ему придется объяснять, почему на кафедре так низко пала дисциплина, возможно, выслушать упреки, серьезное предупреждение или что-нибудь подобное. И все же шел по вызову без досады — он хорошо знал зама. Конечно, тот все выскажет, но снисходительно, мягко. А пожалуй, следовало спросить пожестче. Поступок Кучара беспрецедентный для академии.

— Что у вас там стряслось? — спросил заместитель с той мягкой улыбкой, которая говорила Дубкову: «Конечно, вы сами можете навести на кафедре порядок, но

формальности требуют вмешательства командования, случай с Кучаром прогремел на всю академию».

— Мне несколько неудобно говорить об этом Кучаре, — издали начал Дубков. — В свое время меня обвинили в пристрастном к нему отношении. Но в последнее время он ведет себя так, что пройти мимо его проступков уже невозможно. Нельзя заниматься попустительством и дальше, так вся кафедра может разложиться.

— Ну, здесь вы перехватили через край, Кирилл Платонович. Что же, по-вашему, преподаватели только того и ждут, чтоб выкинуть номерок?

— Говоря «вся кафедра», я, конечно, не имел в виду всех преподавателей. Однако, случись подобное еще разок, другой, вы же сами скажете: кафедра Дубкова разложилась.

— Возможно, возможно... Какая же все-таки причина такого срама, который случился с Кучаром? Вроде серьезный человек...

— И более серьезные сбиваются с пути, когда, сделав что-нибудь чуть лучше других, считают, что им все позволено.

— По-вашему, то, что он пишет, все же ценно?

— В далеком будущем. И то, как сказать. Подполковник Кучар залетел слишком высоко, оторвался от земли, потому что после войны фактически в войсках не работал, не знает их возможности. Результат — нереальная на сегодняшний день теория.

Генерал Дубков говорил напористо и убежденно. Заместитель, мягкий по натуре человек, медленно сдавался и под конец спросил:

— Чего же, по-вашему, заслуживает Кучар?

— Ему надо послужить в войсках.

— Отчислить? Но он — кандидат наук, доцент. Таких не слишком густо в академии. Потом, мы обязаны предоставить ему возможность закончить важное исследование.

— После всего, что с ним случилось, его никто не будет слушать. На его месте я бы сам написал рапорт об отчислении из академии.

— Согласен, читать лекции, руководить группой ему затруднительно. И все же отчисление из академии — слишком тяжелая мера наказания.

— Я несколько удивлен, что в академии перевод в войска считается наказанием, — со скрытой иронией заметил Дубков. — Войска — практика. А практика — хлеб насущный для каждого теоретика, если он не собирается оторваться от грешной земли. Кучар дородный и то оторвался. Пора ему пожевать армейского хлеба. Кстати, там он легче переживет свои беды.

— Хорошо. Я скажу, чтоб его включили в число кандидатов на войсковую стажировку. Только не более чем на год.

— Это же по совместительству. Кто-то будет командовать, отвечать, а он только наблюдать. Такая стажировка мало что даст.

— Исключим из списков, вернуть его будет трудно.

— Нужен будет, вернем.

— Ну ладно, уговорили.

— Только прошу, пока ему об этом не объявлять: подумает — избавляемся.

— Если хотите, пожалуйста.

Домой Кирилл Платонович пришел довольный собой. Поцеловал Марию Петровну, подошел к дочери, сидевшей у стола, взял ее за косы.

— Ну-ка повернись налево, папка тебя поцелует.

Светлана встала, поцеловала отца в жесткую щеку и чуть нахмурила лоб.

— Колючий?

— Да.

— А кто не колючий? — пошутил Кирилл Платонович.

— Никто.

Шутливый вопрос отца Светлане был неприятен. Он напомнил ей об ухаживании Алова и молчании Вольфганга. Первый не отставал от нее, становился все назойливее, хотя она много раз давала ему понять, что его внимание решительно никогда не встретит ответа. Второй молчал. Почему? Ведь встреча на стадионе все объяснила. Или вспомнил обиду и решил не возобновлять прежних отношений? Нет. Так он поступить не мог. А может быть, он понял, как мне будет трудно одной в Германии? Ну тогда... мы расстанемся друзьями.

— Не думаешь ли ты связать свою жизнь с каким-

нибудь математическим агрегатом? — продолжал отец. — Ведь через полгода ты математик-кибернетик.

— Если не выйду замуж.

— Одно другому не помеха. Кстати, твоя мать была проворней.

— Мама?!

— Мама. В восемнадцать лет она взяла надо мной культурное шефство и до сих пор сохраняет его. Мать, куда мы идем сегодня?

— В Большой зал консерватории, — отозвалась с кухни Мария Петровна.

— Что там?

— Пятая симфония, Первый концерт и Итальянское каприччио Чайковского.

— Ого! Как же ты билеты достала? Надеюсь, пойдем всей семьей? — Второй вопрос был обращен уже к Светлане.

— Мне не хочется.

— Не увиливай. Зашлют куда-нибудь — не очень походишь на концерты.

— Слушать музыку можно везде, — опутив глаза, сказала Светлана: в ее мыслях возник Вольфганг, и она побоялась, что отец догадается об этом.

— Только без нас. Или нам за тобой скакать? Служу, дочка. А наша служба — лошадка. Куда скажут «но», туда и бежишь.

Кто достал билеты, Светлана поняла, когда заняла свое место в зале консерватории. Из потока людей вынырнул Виктор Михайлович. В штатском костюме он выглядел значительно моложе своих тридцати с небольшим лет.

— О, и ты здесь, — добродушно пробасил Кирилл Платонович.

— Ваш сосед, — ответил Алов, усаживаясь около Светланы. — Любопытно, дотянет наш старик в Первом концерте до Вана Клиберна?

— Почему же не дотянет? Если тряхнет стариной, может обойти, — возразил Дубков.

— Трудно, Кирилл Платонович. Клиберн в музыке что спутник в космосе.

— Ну и сравнил. Американцы запоролись со своими спутниками, вот и подбирают заменители.

— Послушаем.

Пока Дубков и Алов переговаривались, сцену заполнил чернофрачный оркестр. На органных трубах появились черные блики, которые придали им вид пушечных жерл, поднятых в зенит.

До музыки Кирилл Платонович, как он сам говорил о себе, был не особенно горазд. Однако по мере того как он посещал концерты, влечение к ней росло, музыка все больше заставляла его переживать минувшее.

Вышел дирижер, полный, мягкий, как подушка. А взмахнул своей палочкой — превратился в упругий скачущий мяч.

Зал притих. Скорбные звуки траурного марша широким потоком полились со сцены. Они напомнили Кириллу Платоновичу первые тяжелые утраты в сорок первом году. Ночь, слабый свет солярного факела. Ряд могил и траурный нестройный марш остатков полкового оркестра. Знал — больше не встанут, а не верилось, что для них это последний путь.

Дубков вздохнул, когда оркестр на нижних басах закончил первую часть симфонии.

После тяжелой первой части, вторая слушалась легче, особенно соло кларнета. «Так было в конце сорок первого и начале сорок второго, — думал Дубков, — когда после первой крупной победы верилось — противник скоро будет разбит».

Третья часть для Кирилла Платоновича была войной от Волги до Берлина. Не все было легко, но все же дошли до конца. В хорошем темпе, вот под такой же марш, каким заканчивалась симфония.

— Понравилось? — спросила Мария Петровна, выходя в антракте из зала.

— Всю войну вспомнил, — ответил Кирилл Платонович. — Сколько было горя, сумятицы, несчастий, а всегда верилось — победим.

В фойе Дубков увидел Кучара. В глубокой задумчивости он одиноко стоял в углу. Черный штатский костюм висел на нем, как после тяжелой болезни. «Уезжался», — подумал Дубков снисходительно и направился в буфет.

Алов слушал концерт, искоса поглядывая на Светлану и Кирилла Платоновича. Пока исполнялась Пятая

симфония, Света оставалась сама собой. Но когда начался Первый концерт, она словно унеслась из зала, заставив Алова угадывать, куда и с кем. Нет, она хотя и рядом, а далеко от него. Он со вздохом перевел глаза на Кирилла Платоновича. Тот выпрямился, его ноздри раздулись, как мехи. Казалось, он вот-вот сорвется и, как молодой, бросится в атаку.

Вдруг Светлана шевельнулась. Ее рука легла рядом с рукой Алова. Подполковник подвинулся к девушке и наклонился к ней, чтобы чувствовать ее близость.

Когда обессиленные руки пианиста упали с клавишей и, будто бескостные, повисли у ножек стула, зал встал, загудел в рукоплесканиях. Редкими громкими хлопками аплодировал и Кирилл Платонович. Мария Петровна прижалась к его плечу, еще не в силах стряхнуть с себя оцепенение. Светлана и Виктор каждый раз, когда сверху кричали «бис», усиливали хлопки, понимая, что переглядывались.

— Ну что, плох старик? — упрекнул Кирилл Платонович.

— Тряхнул стариной, — согласился Алов, понимая, что любой другой ответ сейчас не понравится Кириллу Платоновичу, а самое опасное — разъединит его и Светлану.

Итальянское каприччио — светлое и жизнерадостное — было вкусным легким десертным вином. Выпитое с особым удовольствием, оно вызывало веселое приятное возбуждение. Хотелось танцевать и шутить.

Светлана и Алов задержались в зале, воздавая должное исполнителям. Когда они вышли в вестибюль, Кирилла Платоновича и Марии Петровны там уже не было. Молодые люди остались одни. Алов решил воспользоваться случаем и предложил пройти пешком.

В последние дни он уже многое испробовал, чтобы расположить к себе Светлану, но результаты пока его не утешали. Девушка по-прежнему держалась с ним отчужденно, настороженно. Оставалось последнее — сойтись в своих чувствах, и теперь он продумывал лучшую форму признания. Знал, что слова о любви к Свет-

лане сможет произнести с чувством: не раз он уверял себя, что действительно любит ее. Однако к серьезному разговору он приступил лишь тогда, когда подошли к старому зданию университета.

— О чем вы думали, когда слушали концерт? — спросил он.

— О разном...

— И все же?

— Сейчас говорить еще не хочется.

— А мне хочется высказать все, что накопилось в душе.

— Говорите.

— Немного позже, у вашего дома, — вдруг испугавшись, ответил Алов и поспешил взять такси.

Светлана догадалась, о чем хочет сказать ей Виктор Михайлович. И все же не представляла себе, как может он говорить об этом: ее равнодушие мог заметить даже ограниченный человек.

Пока они ехали в машине, девушка убедила себя, что Виктор Михайлович будет говорить о концерте и, возможно, лишь намекнет о своих чувствах. Она постарается не заметить намека, промолчит, и все останется прежнему.

Во дворе они сели на скамейку у дремлющей густой липы.

Под настойчивым взглядом Алова Светлана наклонила голову. Виктору показалось, Света дала согласие выслушать его, и он начал свое объяснение.

— Ваша семья, Света, мне близка и не безразлична. С Кириллом Платоновичем нас связывают годы войны, его дружба с моим отцом. И все же не моя привязанность к Кириллу Платоновичу заставляет меня так часто посещать ваш дом. Вы знаете, кто влечет меня сюда. Я вышел из юношеского возраста и потому скажу без застенчивости: вы, Света. К вам я стремлюсь, как заблудившийся ночью путник стремится к свету. Странно? Мне тридцать четыре. К этим годам каждый человек, казалось бы, должен найти себя. А вот я еще не нашел. Юность слишком долго бродила во мне, и я заблудился в поисках. Я знаю, что мне надо идти туда, где вы, к Свете — свету. И как только я выйду из того лабиринта, в котором нахожусь, я сделаю самое значительное

в своей жизни, и это значительное будет посвящено вам...

Слова Алова сыпались на Светлану, как крупный холодный дождь с градом. Она сжалась, стараясь оградить свои чувства, которые силился всколыхнуть Виктор Михайлович. А тот говорил все с большим и большим воодушевлёнием. Понемногу Свете стало казаться, что он действительно ее любит.

И как ни хотелось ей поскорее уйти домой, она считала себя обязанной выслушать Виктора Михайловича и ответить, не оскорбляя его. Но вот Светлана стала внимательно вслушиваться в голос Алова. Его признание в любви звучало так же хорошо, как и его пение, и все же — странное дело — Светлане показалось, что в нем чего-то недоставало. А вскоре она уловила в его голосе фальшивые ноты, похожие на скрежет лодки, когда она на мелководе скребет дном по гальке. И как только это сравнение пришло ей в голову, она поняла, почему признание в любви Виктора Михайловича так неприятно отдается в ее сердце; любовь его мелкая, как ручей, бесплодная, как галька. Ей представилось виноватое лицо пианистки, которая аккомпанировала ему на концерте, она поняла все, что было между ними. И так поступал женатый человек! Подобных связей у него было, вероятно, много. Теперь всю эту грязь он хочет принести ей? Нет!

Вдруг он привлек ее к себе. Пораженная его дерзостью, Светлана непроизвольно приподнялась, и губы Виктора скользнули по ее губам. Она с силой оттолкнула Алова и вырвалась из его объятий. Ее щеки пылали от возмущения и негодования.

Ошеломленный столь резкой переменой ее настроения, Алов продолжал сидеть, не зная, что сказать и как выйти из затруднения, но, увидев, что Светлана, не спуская с него ненавидящих глаз, медленно отступает к дому, он в страхе бросился к ней.

— Света, еще пять минут, и я никогда к вам больше не приду, если только вы того сами не захотите. Я догадывался... но думал, что у вас просто увлечение. Надеюсь, вы поймете, что вас ждет в Германии, и мои шансы добиться вашей любви увеличатся. Поверьте, я ослеп от любви, не замечал, как далеки вы были от меня в тот момент, когда я попытался вас поцеловать. Любовь мно-

гое извиняет, — все более и более впадая в драматизм, говорил Алов. — Мне хочется верить, что мы останемся по-прежнему друзьями. И ваши родные не узнают о случившемся. Если позволите, я докажу свою дружбу. Я знаю отношения Кирилла Платоновича и Марии Петровны к вашему... (увлечению, хотел сказать он и на ходу поправился) избраннику...

— Нет!

С прежней настороженностью Светлана отступила еще на несколько шагов, повернулась и быстро пошла к подъезду. Сердце у нее стучало, лицо жег огонь. «Как показаться сейчас папе и маме, — думала она, — ведь они сразу обо всем догадаются. Они ждут меня, наверное, вместе с ним. Для этого и оставили нас вдвоем. Как они могли толкнуть меня в такую грязь!»

И родители для нее стали вдруг далекими и чужими. На щеках Светланы заблестели слезы. Ей больше не хотелось идти домой. Дождавшись, когда Алов скрылся за воротами, она вышла на улицу. Редкие пары неторопливо куда-то шли, о чем-то говорили, шутили, смеялись. А она одна!

— Одна, — вслух сказала Света, и звук собственного голоса, глухой и тоскливый, усилил внезапно возникшее одиночество. «Куда пойти, кому рассказать о гадком поступке, который позволил себе Алов. Кто поможет избавиться от его омерзительного поцелуя. Кто?»

Давно вынашиваемое решение созрело неожиданно. Света направилась к телефонной будке. Опустив монету и приложив к уху трубку, она вспомнила о родных. Что она скажет им, когда вернется домой? Согласятся ли они с ее решением? Подумала и ответила: «Сегодня они сами дали мне право распоряжаться собой».

С Вольфгангом она встретилась здесь же, у телефонной будки. Некоторое время стояли молча, не зная, что делать и что сказать друг другу. Прошедшая мимо машина заставила их очнуться. Вольфганг заглянул Свете в глаза и нежно взял ее под руку.

Ранний летний рассвет уже брезжил, когда они вернулись на то же место. Белое небо у Красных ворот рассек гранитный силуэт высотного здания. А над гостиницей «Ленинградская» мерцала еще не догоревшая звезда, одна из тех, что всю ночь смотрела, как они бродили по улицам Москвы.

Чем слабее тлело в сердце Кучара чувство привязанности к Лизе, тем чаще навещал он ее, стараясь в своих записках, которые вкладывал в передачи, быть как можно более человеческим. С приближением срока родов, он стал заходить в родильный дом ежедневно. Обычно в обеденный перерыв. Наблюдая за посетителями, он замечал, что здесь не было равнодушных. Среди них, с тревогой и надеждой ожидающих появления маленьких крикунов, он особенно остро испытывал чувство стыда за свое недавнее поведение.

Сегодня случилось иначе. На доске объявлений в зале ожидания он прочитал: «...сын, вес 4900». Ребенок в полтора раза был крупнее большинства новорожденных. «Как это Лиза смогла родить такого!» — подумал Игнат и впервые за все время ее пребывания в родильном доме у него защемило в груди. Он обрадовался этой боли. Пока она не прошла, сел за стол и переписал записку. Новая получилась лучше. Он с облегченным вложил ее в передачу.

Дома, не поужинав, начал уборку.

— Выметаєте сор, — обратилась к нему заглянувшая в дверь соседка.

— Надо, — скупно улыбнулся Игнат.

— Лучше было бы не заносить его в квартиру.

— Вы у себя каждый день убираете, — не понял Игнат.

— Сор сору — рознь, — соседка презрительным, уничтожающим взглядом измерила Игната и закончила: — Пора бы перестать приходить грязным в квартиру.

Кучар наконец понял, на что намекала соседка.

— Идите-ка вы со своей чистотой...

Его злые от нанесенной обиды глаза заставили соседку скрыться за дверью. Он пошатнулся, прилег на диван и попытался обдумать все, что с ним случилось за последнее время. Но мысли путались, обрывались, набегая одна на другую. Пролежав с полчаса и не разобравшись в сумятице чувств, с трудом вышел на улицу. Свежий воздух подкрепил его, в голове прояснилось. Он задумался о родившемся сыне, о дочери, о Лизе и тут же — об Асе. Лиза и Ася. У Лизы его дети. Большого она ему

не даст. Значит, в дальнейшем — совместная жизнь чуждых друг другу людей. Сейчас, когда он узнал, что снова любит Асю, когда изведal ее внимание, настороженную чуткость, способность с одного взгляда угадывать его мысли, заботы и желания, когда даже их молчание имело для него смысл и значение, свою прелесть, жизнь с Лизой казалась ему непосильным испытанием.

Кучар понимал, что какой-то выбор он должен сделать, что он должен решиться на что-то определенное, и как можно быстрее, до возвращения Лизы домой, до партийного собрания, которое назначено на понедельник. Там у него спросят, как он намерен жить дальше. Ответить «Не знаю» — он просто не сможет. И все же домой он вернулся без какого-либо твердого решения.

Зашел сосед.

— Извини жену за ее бестактность. Понимаешь... Она очень болезненно восприняла появление у вас второго ребенка.

Игнат кивнул головой. Помолчали. Евгений несколько раз пытался начать разговор, но каждый раз — воздерживался. Кучар сидел неподвижно, уставившись глазами в пол, будто забыв о том, что в комнате есть еще человек. Наконец Евгений заговорил.

— Какими бы неприятными для тебя ни были мои вопросы, я не могу их не задать.

— Пожалуйста, — неохотно проговорил Игнат.

— Если ты не в состоянии сегодня говорить по-человечески, может, перенесем беседу на другое время?

— Зачем? Уж лучше все сразу.

— Тогда скажи откровенно, как ты намерен поступить дальше?

— Тебя интересует моя нравственность? — Против желания у Кучара снова прорвалась несдержанность.

— Нет, твои дети и Лиза.

— А... — И уже вяло проговорил: — Не знаю.

— Когда же решишь?

— Постараюсь побыстрее.

— К чему больше склоняешься, можешь сказать?

— Уйти от детей я, кажется, не смогу. Остаться с ними — значит жить с Лизой. А как с ней жить — не знаю. Сердцу не прикажешь.

— Ты военный человек и должен приказывать не только другим.

— По приказу живут день, месяц, год, но не всю жизнь. Жить с человеком, которого не любишь, — значит на каждом шагу лгать ему, обманывать его, кривить душой. Не создан таким.

— Значит, ты больше склонен к разводу с Лизой?

— Возможно.

— С двумя ей будет трудно.

— Да.

— Может быть... — Евгений запнулся. — Может быть, согласитесь отдать нам Таню?

— Нет! Где бы я ни был, отцом для своих детей я буду! Извини, мне немного нехорошо. Что-то с головой... Пойду погуляю.

Кучар вернулся домой после двенадцати. Перекусил, попытался уснуть. Но сон не приходил. Страшно болела голова. Вдруг ему показалось, что диван наклонился и он падает на пол. Открыл глаза — равновесие постепенно восстановилось, зато по телу расплылась тошнотворная слабость. Захотелось, чтоб кто-нибудь был рядом. Уже засыпая, увидел сидящую у дивана Асю. Открыл глаза — она исчезла. И все же долго чувствовал на себе ее внимательный взгляд.

В девять позвонила Ася:

— Игнат, что ты собираешься делать?

— Поеду к дочери.

— А мне можно с тобой?

— Поезд отправляется в одиннадцать. Буду ждать у первого вагона.

Когда Игнат приехал на вокзал, Ася была уже там. В руках у нее был сверток с подарками для девочки.

Ася не согласилась идти на территорию дачи — не хотела, чтобы их лишний раз видели вместе, и потому несколько отстала от Кучара.

Таня заметила его издали. Смеясь и плача, она сломя голову бросилась к отцу. Запнувшись о кирпич, упала, рассекла колено и все же снова побежала к нему с прежней стремительностью. Ведь она не видела папу три воскресенья, а маму еще больше. Ей уже казалось, они рассердились на нее и больше никогда не приедут: она так плохо их слушалась.

Кучар на лету подхватил дочь и прижал к себе. Она обхватила его шею своими худыми ручонками, и отец почувствовал, что у него никогда не найдется силы расцепить их.

— Папа, папа, а почему не приехала мама?

— Она еще в больнице.

— Ты носил ей порошки, да? Она их пила?

— Пила.

— А когда мама ко мне приедет?

— Как только выздоровеет.

— Я хочу домой. Я не хочу здесь больше, — залилась вдруг слезами Таня. — Я уеду с тобой!

— Уедешь, уедешь, — старался утешить ее Кучар.

А она, почувствовав неправду в его словах, еще сильнее заплакала:

— Тогда тоже говорил: уедешь. Я уснула, а ты уехал без меня.

Они подошли к реке.

— Давай вымоем ножку.

Кучар снял с себя ботинки и брюки, внес дочурку в воду и осторожно промыл ссадину. На берегу обтер девочку своей майкой и прижал ее худое тельце к себе.

— Что ты привез, папа?

— У, целый чемодан, — спохватился отец. — Сейчас мы его откроем.

Таня взяла два апельсина и сказала:

— Это тебе, а этот мне.

— Все тебе.

— Нет, папочка. А вот эту самую красивую конфетку ты отнесешь маме. Хорошо?

— Завтра же отнесу, — пообещал Кучар и положил конфету в карман.

Ася долго ждала, когда же Игнат посмотрит в ее сторону. И не дождалась. Вот они съели апельсины. Вот он лег на спину, а дочь взобралась на него. Он поймал ее за руки, и они громко рассмеялись. Игра повторялась, и каждый раз они смеялись. Потом они принялись играть в салочки. Она крохотная, он громадный. Она бегала шустро, он неуклюже, а может, просто казался неуклюжим в трусах.

Ася невольно залюбовалась их игрой и радостно улы-

балась, слыша звонкий смех девочки. Но вот они опять уселись у чемоданчика, и Ася вдруг почувствовала себя одинокой, никому не нужной. Она глухо заплакала и, закрыв руками лицо, ничком повалилась на землю.

— Тетя, а тетя. Вы почему плачете?

— Я? — Ася подняла голову. Перед ней стояла дочка Игната. — Я не плачу, девочка. А как твое имя?

— Таня. Вас папа зовет.

«Все же он посмотрел в мою сторону», — с облегчением подумала Ася. Вытерла слезы и вместе с Таней пошла к Кучару.

— Вы уже познакомились? — приветливо спросил Игнат. Он уже был одет. Лицо его посвежело, смягчилось, подобрело. От его ласковой улыбки сразу прошло чувство горького одиночества. Ей стало легче, и в тон ему она ответила:

— Познакомились: она — Таня, я — тетя.

— Хотите рыбу ловить?

— Хочу, хочу! — шумливо согласилась Таня.

— А вы?

— Буду смотреть. — Ася покраснела. От непривычного «вы», даvido забытого в их отношениях, на нее повеяло какой-то отчужденностью.

Игнат направился за удилищами. Вскоре он вышел из кустарника с двумя длинными прутьями орешника. Таня успела забраться в речку и шлепала по воде босыми ножками так, что брызги летели во все стороны. Платице на ней было совсем мокрое.

Ася, наклонившись к девочке, уговаривала ее выйти из воды.

— Смотри, какая ты уже мокрая. Хватит, не то простудишься.

Таня, не отвечая, шла дальше.

— Папа будет недоволен твоим поведением.

Никакого внимания. Тогда Игнат пришел ей на помощь.

— Таня! — строго сказал он. — Выйди из воды. — Та повиновалась, поднялась на бугор и только тут заметила, что подол ее платья прилип к ногам.

— Давай повесим твое платье сушить, — предложила Ася,

Девочка приподняла руки. Ася сняла с нее платье, отжала, повесила на крышку чемодана.

Подул ветерок, девочка замерзла, насупилась.

Ася села рядом с ней, потом посадила ее к себе на колени и обняла.

Кучар смотрел, как неумело, не по-матерински Ася обращается с ребенком, и ему до боли стало жаль ее: Виктору она отдала слишком много, даже самое дорогое — право отзываться на слово «мама». А что ее ждет впереди?

20

В аудиторию, где собирались коммунисты, Кучар вошел последним. За ночь многое было им передумано, взвешено и решено. Почти на каждый из возможных на собрании вопросов, был найден более или менее обстоятельный и правильный ответ. Но на один, в котором как бы суммировалась суть всех: «Если сейчас пришел к решению расстаться с Аловой, почему не сделал этого раньше?» — ответ не приходил. «Сказать, что очень любил Асю, но тогда коммунисты могут подумать, что сейчас он любит ее меньше и вообще любовь его оказалась мимолетным увлечением. А это совсем не так. Ответить: заставили дети — они были и раньше. Сослаться на то, что любовь — высокое чувство, оно вдохновляло многих на прекрасные свершения и потому позволительно каждому, Кучар тоже не решался, поскольку возвращенная любовь к Асе его ни на что не вдохновила. Где же ответ? «Выходит, я должен осудить свою любовь и связанные с ней поступки?» С этими еще не созревшими мыслями он и перешагнул порог аудитории. Невольно остановился, потом сделал шаг, окинул взглядом товарищей. Он верил, что может подойти к любому из них, сесть рядом, и никто не отодвинется, и все же не решился — сел один, в последнем ряду.

Звездин открыл собрание, избрали президиум — все как всегда. А вот повестку дня председательствующий произнес с запинками — слишком она была необычна для коммунистов кафедры.

После короткого пояснения Звездиным сути персонального дела Кучару пришлось выйти на трибуну, стать лицом к коммунистам и давать ответы на вопросы. Их было меньше, чем он предполагал, но каждый требовал

ясного, определенного ответа. И может быть потому, что Кучар ничего не скрыл от коммунистов, четко определил грани между хорошим и плохим в своем поведении, речи коммунистов были острыми, но щадящими. Лишь Алов к одной его вине приплел другую, надуманную — плохое научное руководство им, диссертантом.

Прения закончены, и вот Кучару предстоит дать окончательный ответ, как он думает жить дальше? Все уже им решено, но стиснутые губы не хотят пропустить ни единого слова. Сказать его — значит привести в действие свое решение, то есть ампутировать то, чторосло в него, было близко его сердцу, но вытесняло тех людей, которые были его семьей и лишения которых не позволяли бы ему прямо смотреть в глаза товарищам по партии и службе. После долгого молчания он заставил себя объявить о своем решении оставить Асю и сохранить свою семью.

Открытая рана нестерпимо щемила, не было силы позвонить Асе и рассказать о случившемся. Часа два он сидел в кабинете и только потом вспомнил о взыскании. Однако от этого наказания ни боль, ни обида не отзывались в нем.

Асе позвонил уже из дому.

— Где ты был? — сразу спросила она.

— Бродил. Ты уже знаешь?

— Да. Заходил Виктор и сказал очередную гадость.

— Он, видимо, сказал правду, Ася. Оставить детей — я не могу.

— Понимаю тебя, — после долгого молчания тихо ответила Ася. — Ты меня проводишь?

— Обязательно.

— Может, мне поговорить с Лизой? Как женщина с женщиной.

— Я сам поговорю с ней, Ася. Когда ты собираешься уезжать?

— Как уволюсь, сразу уеду.

Последние слова Ася проговорила сквозь слезы, и сразу же в трубке раздались частые гудки. Он долго не клал трубку на рычаг, будто именно это движение должно было порвать последнюю нить, связывающую его с Асей. Наконец, рука сама собой опустилась и положила трубку на рычаг. Все. «Как же быть с Лизой? — спросил

он себя. — Написать? Всего не опишешь. Попросить свидания? При чужих людях разговора не получится. Подождать возвращения домой? А вдруг она узнает обо всем от других, и я окажусь вредным трусишкой?»

Кучар встал, принялся бродить по комнате. Наткнулся на холодильник — и сразу почувствовал голод. Достал колбасу, масло. Хлеба не оказалось. Просить у соседей тоже не хотелось. Заварив чай, присел ужинать.

У соседей работал телевизор. Кучар включил свой. Заканчивалась передача последних известий — диктор рассказывал о летнем отдыхе трудящихся. «В отпуск бы, — подумал Кучар и тут же спохватился. — Не придется: с двумя Лизе не управиться».

Диктор исчез с экрана, и Кучар вспомнил: надо спать. Достал бромурал, положил на ладонь две таблетки.

— Без совета врача принимать такими дозами нельзя, — услышал он предупреждающий голос Евгения.

— Ничего.

— Думаешь, здоровья на сто лет хватит?

— Согласен и на шестьдесят.

— Ты очень плохо выглядишь, Игнат.

— Вот закончу один алгоритм, очень интересный, и передохну.

— Тебе надо сходить к врачу или вызвать его сюда. Завтра же. А теперь пойдем поужинаем.

— Твоя дуется.

— Пусть. Мы на кухне.

Стол был накрыт на двоих. Игнату Евгений налил большую рюмку коньяку, себе вина,

Выпили без тоста.

— Что получил?

— Выговор.

— Значит, остаешься с семьей?

— Остаюсь. Только вот Лиза как?

— Думаешь — не поймет?

Игнат промолчал.

— В том, что она часто не понимает тебя, виноват и ты. Внешне ты постоянен, и, кажется, чего проще узнать, о чем ты думаешь, что тебе нужно. Но это не так.

Твои мысли, настроение всегда в движении. И я временами не могу понять тебя.

— Ася понимала.

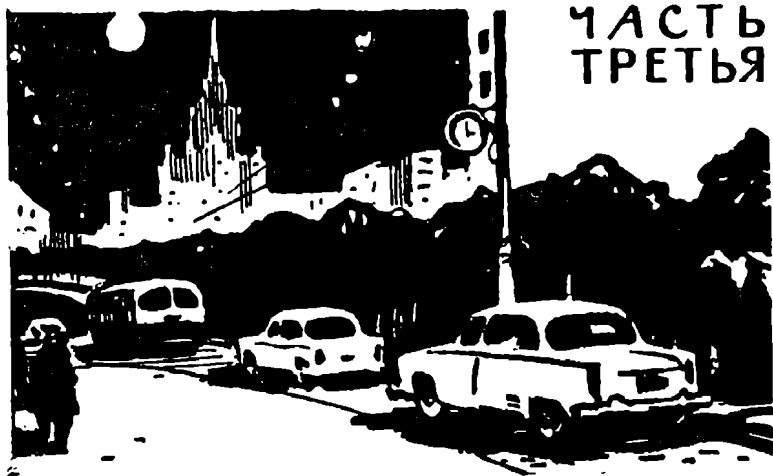
— С твоей помощью. Ты открывал ей все или многое, что тебя волновало. Согласен, не всегда говорил. Когда настроение не скрывается, не маскируется, узнать его нетрудно.

— Возможно.

Евгений налил еще по рюмке.

— За твое примирение с Лизой.

Игнат приподнял рюмку и одним глотком выпил ее содержимое.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Как-то Чистовин зашел к Звездину.

— Жду, Иван Васильевич, жду, — озабоченно проговорил он. — Не догадываетесь? Решение партийного собрания жду.

— А-а! Вот немного освобожусь, оформлю протокол.

— Когда?

— На следующей неделе обязательно.

— Желательно в субботу. В следующий вторник будем рассматривать ваше решение. Таков порядок.

— Хорошо. К субботе все сделаю. Если члены партийной комиссии согласны с решением собрания коммунистов кафедры, думаю, нет необходимости тревожить Кучара.

— Не знаю, Иван Васильевич, не знаю. Лично я нахожу ваше решение слишком мягким. Возможно, придется вас поправлять.

— Дело же не в строгости наказания, а в его действительности. Кучар решил исправиться — к чему же оглушать его?

— Подобные проступки не должны забываться: выговор следует записать в учетную карточку. Чтобы и дру-

гие знали: безнравственные поступки безнаказанными не останутся.

— Почему свое мнение вы не высказали на собрании? Поправили бы наших коммунистов.

— Ну, знаете, — замялся Чистовин. — Я не мог выступать от имени всей парткомиссии.

— Надо было выступить от себя лично, если видели, что мы ошибаемся.

— Надо будет — выступим! Примем решение, тогда и выступим, разъясним точку зрения парткомиссии.

— У военных точки зрения высказываются до принятия решения! — вспыхнул Звездин. — Почему вы считаете, что ваше решение будет более правильным, чем решение тридцати коммунистов?!

— В партийную комиссию академии избраны наиболее опытные товарищи.

— В нашей организации опытных не меньше, и потому с ее решением надо считаться, а не брать его на прицел из своего дота.

— Ну, знаете, — растерялся было Чистовин. — Назвать партийный орган, избранный партийной конференцией, дотом... По меньшей мере, это неуважение не только к членам партийной комиссии, но и ко всем коммунистам академии. Удивляюсь, что вы, старый коммунист, не понимаете роли партийных комиссий. Может быть, мои слова прозвучат не особенно благозвучно, но скажу: мы ассенизаторы партии, призванные очищать ее ряды от всего, что в ней появится зловонного, что может как-то запятнать ее честь и совесть. Я горжусь такой работой и буду выполнять ее, пока будут силы и пока мне будут доверять коммунисты.

— Хорошо, что далеко не каждый член партийной комиссии понимает свою роль так, как вы: ошибся человек, оступился — выскрести, выбросить его.

— Вы, вы, товарищ генерал, неправильно истолковали мои слова, — попятился Чистовин, поняв, что выразился неудачно. — Мы чистим не только ряды партии, но и людей... Тех, с которых еще можно отчистить ржавчину. Такие дела мы разбирали и немало вернули в парторганизации действительно обновленных людей.

— К несчастью, не всем коммунистам полезна чистка с наждачком.

— Можно подумать, что когда-то вам пришлось перенести эту нелегкую очистительную процедуру.

— Ошибаетесь. За четверть века пребывания в партии я не получил от нее даже замечания.

Недовольные концом беседы, они умолкли. В эту минуту зазвонил телефон. Звездин вяло протянул к нему руку.

— Что? — тревожно и удивленно проговорил он. Немного погодя трубка, скользя по щеке, легла на стол. — Кучар... не сможет присутствовать на заседании партийной комиссии. Кажется, на этот раз действительно обойдется без вашего вмешательства.

2

Узнав о случившемся, Полетов позвонил в санитарную часть. Главный врач ответил:

— У подполковника Кучара вероятнее всего произошло динамическое нарушение кровообращения головного мозга. Потеряв равновесие, он сильно ударился затылочной частью об пол.

— И что же... — нетерпеливо спросил Полетов.

— Возможно, получил серьезную контузию, возможно, произошло сотрясение мозга. Еще не уточнили.

— Причина?

— Трудно сказать. У нас он ни разу не был. Полагаю — переутомление.

— Где он сейчас?

— Направлен в главный госпиталь.

— Попрошу вас, — уже спокойнее сказал Полетов, — уточнить диагноз, выяснить причину заболевания и сколько он пролежит.

— Слушаюсь.

Полетов положил трубку и торопливо закурил. В кабинет вошел настороженный Чистовин. Цепкие глаза его пытались проникнуть в мысли начальника, узнать, не шел ли здесь разговор о нем. Присев, он поправил свалившуюся на лоб седую прядь, вздохнул и проговорил:

— Вы были правы, товарищ генерал, предупредив меня о Кучаре. Я не допускал мысли, что он такой... такой огромный и сильный, вдруг рухнет. Каково его состояние?

— Нелегкое, предполагают сотрясение мозга.

— Да? Когда с ним это случилось, я был у генерала Звездина. Он не звонил вам?

— Нет.

— Мы говорили о решении партийного собрания. Я высказал мнение, что наложенное взыскание следовало зафиксировать в учетной карточке. Генерал не согласился. Каждый из нас стал доказывать свою точку зрения. В данном случае Звездин, вероятно, более верно судил о Кучаре. Но... мне кажется, из частного случая он сделал неверный вывод.

— Какой?

— Он назвал нашу партийную комиссию дотом и считает, что в академии она не нужна. Пусть я оказался не прав, но нельзя же из-за этого замахиваться на партийный орган, который живет десятилетия, проверен жизнью.

— Не могу судить, прав или нет Звездин. Не слышал, что он сказал. Я поговорю с ним... Но не надо, товарищ Чистовин, на все проверенное жизнью, как вы говорите, ставшее привычным, смотреть как на неизменное. Это же не диалектично. Вы хорошо знаете: все течет, все изменяется, — с иронией заметил Полетов.

— Со временем, возможно...

— Время бесконечно. Жизнь требует таких форм партийной работы, которые лучше всего ее устраивают. Я, например, думаю: не следует ли и мою и подобные ей партийные должности в армии сделать выборными? Это может повысить ответственность перед рядовыми членами партии, расширить внутрипартийную демократию, развязать инициативу.

«К чему он так подробно объясняет мне не столь уж сложные истины? Усомнился в моих способностях?» По коже Чистовина пробежал озноб, когда он подумал о возможных последствиях — ведь осенью переборы...

Со Звездиным Полетов встретился на следующий день в перерыве заседания Ученого совета.

— Не вовремя свалился Кучар, — заговорил Звездин, когда они отошли в сторонку.

— Звонил сегодня в госпиталь. Встанет на ноги не раньше чем через месяц. У него сотрясение мозга.

Оба промолчали. Полетов предложил папиросу и тут же спохватился:

— Вы же не курите. А меня без дыму раздувает, боюсь превратиться в шар.

— За компанию могу испортить папиросу.

— Плохо, что и после госпиталя беды Кучара не кончатся, — задумчиво проговорил Полетов, закуривая. — Он решил остаться с женой и детьми. Но как будет с ними жить, думаю, и сам не знает. И что скажет ему жена, когда ей все станет известно?

— Задача, действительно, ему предстоит нелегкая.

— Как-то надо помочь. Вы не возьметесь с ней поговорить?

— Честно признаться, вести с женщинами разговоры не мастак.

— Тогда давайте сделаем так: завтра она выписывается из родильного дома. Вы и я — два генерала! — встретим ее, отвезем домой, там с ней и поговорим.

— С радостью.

— Теперь второй вопрос. В разговоре с Чистовиным вы, кажется, ратовали за ликвидацию парткомиссии?

— Было такое. Раскипятился и — сорвалось. Ни наша, ни другие парткомиссии, в академиях не представляют всех партийных организаций и перед ними не отчитываются. Не лучше ли вместо политотдела и парткомиссии в академии иметь какой-то один выборный орган, который бы не только занимался персональными делами, но и всей партийной работой?

— А может, и мою персону надо избирать?

— Не знаю, — замялся Звездин.

— Подумайте, в этом есть резон. Ну, пошли заседать, — оборвал он сам себя и тут же добавил: — А к этой мысли мы еще вернемся.

3

Шел второй месяц тревожных ожиданий, нестерпимых мук, тоски по дому — почти месяц из-за больных почек и две недели после тяжелых родов. Как хотелось Лизе иметь сына минувшей осенью и как страшен и порой немил он был сейчас. Что она будет делать с двумя, если Игнат бросит ее? А сердце чуяло — к этому все идет.

Как приехала его любовь, он стал совсем чужой. Не посмотрит, не приласкает. Ни разу не спросил, как ребенок, сын, беспокоит ли, мучает. Что делать? Уехать в деревню к своим — стыдно, жить с двадцати семи лет и до старости одинокой — небольшое счастье.

А часом позже она думала совсем иначе. Назло мужу ей хотелось вырастить хороших детей, которые бы, став взрослыми, отвергли его. Неожиданно вспомнила картину «Вернулся», которую видела на выставке. На место изображенных на ней людей поставила свою семью. Она — готовит ужин, дочь, большая, красивая, — чертит, изобретает машину, сын поменьше — читает книгу. Игнат входит и говорит: «Здравствуйте», а дочь с сыном молчат.

— Разве они забыли меня? — спрашивает он ее.

— Спроси сам.

Игнат обращается к дочери. Та отвернулась. Спрашивает сына. Тот — вылитый отец, и все же говорит: «Простите, я вас не знаю».

Но как ни обидно было Лизе (чужие люди проводили ее в роддом), все же, когда сестра сказала ей, что ночью приезжал муж и уехал только утром, она обрадовалась, забыла все обиды и готова была уверить девушку, что Игнат у нее хороший, не проводил ее лишь потому, что был занят: он пишет большую книгу, а она, чтоб не отрывать его от работы, не позвонила ему на службу.

Днем он привез ей все необходимое. И записку. Нежную и робкую. На душе стало еще легче. В последующие дни Игнат навещал Лизу часто, и ее совсем покинули тревожные мысли. Она думала теперь только о том, как бы ее болезнь не отразилась на здоровье ребенка: пила все, что давали врачи, ходила сколько требовали, терпеливо выслушивала советы по обезболиванию родов.

Когда начались мучительные схватки и от боли потемнело в глазах, Лиза вспоминала Игната. Лишь на родильном столе она не смогла думать о нем, как не могла и ощутить свое тело: оно куда-то исчезло, осталась только одна непереносимая боль.

Вернулся Игнат во сне. Какой он, она не смогла хорошо разглядеть: ее кто-то толкнул, и Игнат исчез. Она поняла — ее будят. Но вместо того чтобы открыть глаза, еще плотнее закрыла их, надеясь, что в темноте он явит-

ся к ней еще раз, улыбнется, и она ему скажет: «Сын родился!»

Когда наконец проснулась, увидела на тележке четырех ребят. Своего узнала сразу — самый большой, самый лобастый, в отца. А как он сильно схватил грудь, до боли! Насытившись, уснул, не выпуская соска изо рта. От горячих губ сына Лизе стало спокойно и радостно, ей снова захотелось уснуть и во сне увидеть мужа.

Появление ребенка изменило унылую больничную обстановку. Сын рос, требовательно кричал, когда был голоден. Его басовитый залиvistый крик надоедал няне. Лиза его ждала и, когда приближался час кормления, уже заранее прислушивалась.

Письма и записки Игната были теплые, и душу Лизы уже ничто не омрачало.

Незадолго до выписки Лиза получила от Игната письмо. В нем он подробно описывал свою поездку к дочери. Лишь в последних строчках мельком упомянул, что его дело разбирали на партсобрании и он получил взыскание. За что, сообщит, когда она вернется домой.

А часом позже ей передали еще один сверток с яблоками и апельсинами. От соседки. В записке та упомянула, за что Игната чуть не исключили из партии.

От неожиданного известия Лизу бросило в жар. В тот же день пропало молоко. Ночью она металась и забылась только к утру. Весь следующий день пролежала неподвижно, с открытыми глазами, но ни разу не посмотрела на плачущего сына. Потом ее охватила ярость. Она металась по палате, требовала ребенка, врача, капризно жаловалась, будто ее не лечат. Измучив себя и других, уснула. Утром вернулось молоко. Когда принесли сына, тот залился молоком, а Лиза, глядя в его еще ничего не понимающие глазки, — слезами.

Неожиданно Игнат перестал приходить в роддом. Сначала Лиза думала: «От стыда не показывает глаз, — наверное, узнал, что у меня была соседка». А потом мелькнула мысль: «А может, ушел?!» Предположение испугало ее так, что у нее перехватило дыхание. И тут же из груди ее вырвался истошный крик, от которого всполошилась вся палата. Лишь к вечеру соседки по палате несколько успокоили ее. Но душевного покоя она так и не обрела. Уже все уснули, а она долго еще твер-

дила про себя: «Игнат дома, дома, но я не сообщу ему о дне выписки. Пусть почувствует...»

В день выписки Лизу с сыном на руках у выхода встретили два генерала. Все толпившиеся в вестибюле обратили на нее внимание. Смутившись, она опустила ресницы. Жалость к себе — ее с ребенком встречают чужие люди — сдавила грудь.

— Здравствуйте, Лиза, — отечески сказал Полетов.

— Здравствуйте, — еле слышно ответила Лиза.

— Я Полетов, а это Иван Васильевич Звездин. Коллега Игната Петровича по работе.

В то время, когда Полетов протянул руки, чтобы взять ребенка, у Лизы возникло обидное и страшное предположение: почему чужой человек, а не Игнат хочет взять ее ребенка? Они узнали, когда она выписывается, а он нет. Ушел, бросил? Она прижала сына к груди и расширенными от страха черными глазами спросила: «Где Игнат?! Где?!»

Улыбка сошла с лица Полетова. Он понял причину смятения молодой женщины. И хотя истина могла быть для нее вторым ударом, он решился сказать ей все.

— Ваш муж в госпитале. Не скрою, болен тяжело, пролежит долго. Теперь дайте мне ребенка, мы отвезем вас домой.

Руки Лизы сразу обессилели, разжались. Полетов взял ребенка. Через одеяло и пеленки ощутил новую жизнь и, хотя все еще видел перед собой оцепеневшие от страха глаза молодой женщины, широко улыбнулся новому человеку.

Вместив в себя пассажиров, голубая «волга» рванула с места. Милиционеры, словно догадываясь, что она везет нового гражданина, на всех перекрестках давали зеленый свет.

Лиза первой вошла в квартиру. Против ожидания комната была тщательно убрана. Лишь некоторые вещи стояли не на своих местах. Значит, убирали чужие руки. Чьи? Не «ее» ли?

— У вас немножечко похозяинничал женсовет. Что не так — извините, — сказал Полетов.

— Спасибо. Все хорошо.

Лиза опустилась на стул, но тут же вскочила, взяла у Полетова ребенка и принялась освобождать его от

одеял и пеленок. Прохладный воздух комнаты защекотал ему носик, он сморщил его, чихнул и закричал.

Пока мать ухаживала за сыном, Полетов и Звездин присели на диван.

— Вам ничего не нужно купить? — неловко спросил Звездин. — Я бы сходил...

— Спасибо, я сама.

— Не стесняйтесь нагрузить его десятком заданий, — пришел Полетов на помощь Звездину. — Он — партийный секретарь. Обязан. И скажу — умеет покупать. Кстати, у него ваши деньги. Выгружайте, — обратился он к Звездину.

Тот достал из кармана пачку денег и положил на стол.

— Я все же пойду кое-что куплю.

Лиза не стала больше возражать.

Когда сын тихо и неровно засопел, Лиза не сразу отошла от него, хотя ноги ее уже устали: она повернулась и по внимательно изучающим ее глазам генерала поняла, он хочет с ней о чем-то говорить. Наверное, будет пытаться оправдывать Игната.

— Елизавета Васильевна, может быть, вам больно сегодня говорить о вашем муже... — Лиза повернула лицо к окну, застыла. — Но, мне кажется, лучше сегодня же узнать все, что с ним случилось.

— Я знаю.

— От кого? — спросил Полетов, желая найти возможность продолжения столь резко прерванного Лизой разговора.

— Нашлись добрые люди.

— Добрые ли?

— Не все ли равно?

— Если бы Игнат Петрович был вам безразличен и у вас на руках не было бы двух детей...

— Для него все, а он... Век бы ему не выходить из госпиталя, — раздраженно перебила она генерала.

Полетов не стал возражать, хорошо зная, что такие слова похожи на угрозу матери убить собственного ребенка; но самое большое, на что она решается, — дать увесистый шлепок. Помолчав, он, как бы подумав вслух, сказал:

— Ваш муж действительно может оттуда не вернуться... — Лиза резко повернула к нему голову с расширен-

ными от ужаса глазами, и Полетов поспешил доскзать: — Скоро.

Услышав конец фразы, Лиза вдруг подумала, что генерал только пугает, что с Игнатом ничего опасного не случилось. От нее просто хотят, чтобы она не поднимала шума. Она возмутилась и снова отвернулась к окну. Полетову пришлось начать все сначала.

— Ваш муж действительно серьезно болен. От переутомления и нервного истощения с ним случился обморок. Он ударился головой об пол и получил сотрясение мозга.

— Если бы думал о семье, а не о ...никаких обмороков с ним бы не было.

— Елизавета Васильевна, когда Игнат Петрович делал вам предложение, он сказал вам о том, что кого-то любит?

— Сказал, — не сразу ответила Лиза.

— Зачем же вы согласились стать его женой? Любить сразу двух он не мог, вы это должны были знать.

Голова Лизы медленно склонилась на руку, лежавшую на столе, глаза заволокло слезами. «Зачем согласилась? — думала она. — Разве я знала, что из этого получится?»

— Я не намерен оправдывать вашего мужа, — заговорил Полетов, видя, что Лиза не отвечает на его вопрос. — За свой проступок он нами уже наказан. Вы пострадали, и вам хочется отплатить ему. Ваше желание объяснимо, но больше наказывать его нельзя.

— Почему?! Не перенесет, не выдержит?! Я подожду. Но пусть знает, что я не буду больше терпеть!

— Чего вы добьетесь? Только сорвете злость. А дальше что? От ваших упреков более внимательным он не сделается.

— От добрых слов он тоже не менялся.

— У вас двое детей, Елизавета Васильевна. Какими они вырастут, если между вами не будет доброго согласия? Да и вам самим, думаете, будет легче?

— Мне все равно.

— Не верю. Вы сейчас обижены, потому так и говорите. — Помолчав, Полетов добавил: — Ваш муж дал партийное слово сделать все возможное, чтоб наладить жизнь в семье.

— Ах, слово...

— Разве он когда-нибудь вам лгал? Нам — нет.

— Вся наша совместная десятилетняя жизнь — ложь.

— Минуту назад вы сказали, что все знали о нем и об Аловой.

Лиза осеклась. Как ни хотелось ей сейчас возразить собеседнику и еще раз укорить Игната, упрек генерала остановил ее. Она виновато взглянула на него и, не зная, что сказать, начала ладонью гладить скатерть на столе.

— Вы, возможно, думаете: внимание мужа и после того, как его предупредили на партсобрании, не будет больше, чем в прошлом. Возразить и тем более пообещать вам что-то, конечно, трудно. И все же верьте, надежда на лучшее есть. Он окончательно расстался с Аловой. И не собирается больше с нею встречаться. Любви к другой он искать тоже не будет. В течение десяти лет он этого не делал?

— Нет.

— И времени на это у него не будет. Он хорошо знает свои обязанности отца. Любит дочь, полюбит сына. Мы, военные, более равнодушны к сыновьям. Потом, раз уж он решил сделать все, чтобы ваша семейная жизнь наладилась, он будет искать к этому пути. Помогите и не отталкивайте его.

— Легко говорить...

— Согласен, говорить легче. Но все же что-то делать надо.

— Такой, как он хочет, я все равно не стану. У нее не было детей, у меня их двое.

— Если очень сильно захотеть, можно понять многое. Быть равной с мужем не обязательно, но идти за ним надо. А вы, мне кажется, нередко поступаете напротив.

— Ах, наслушаешься его молчания, не то еще захочется сделать!

Лиза опять разволновалась, хотя прежнего упрямства в ней уже не было. Полетов не стал ей противоречить. Подождал, пока она успокоится и только затем продолжил разговор.

— Игнат Петрович нужен не только вам. Он очень нужен академии. Надо сделать все, чтоб он быстрее встал и приступил к работе. То, что можете сделать вы, не под силу врачам. Или, наоборот, то, чего добьются они, вы сможете свести на нет. Если хотите быстрее выздоровления Игната Петровича, было бы хорошо, если

бы вы все, что произошло с ним, восприняли бы как болезнь. Больных не винят и не упрекают. Думаю, он оценит вас за это. Сможете?

— Не знаю, — после долгого молчания ответила Лиза неохотно.

— Тогда обещайте мне одно: пока не пройдет у вас обида, не ходите к нему.

В знак согласия Лиза молча наклонила голову.

4

В то время когда подполковник Кучар попал в госпиталь, дипломные работы Стрельцова и Майера переписывались на машинке. Руководителю оставалось прочитать их в последний раз и дать заключение. О том, что оно будет по меньшей мере хорошим, дипломанты не сомневались: последние замечания подполковника были весьма доброжелательные.

До защиты дипломных работ перед государственной комиссией оставалось немного времени, а в состоянии здоровья Кучара значительных улучшений не ожидалось. Вот почему дипломантам назначили других руководителей: Стрельцову — полковника Монакова, Майеру — полковника Дуку.

Сброшюровав свое первое творение, Стрельцов отнес его Монакову. Уже на следующий день тот вызвал его к себе. Встретил любезно.

— Откровенно говоря, с вами, как с начинающим военным писателем, было интересно познакомиться. Видимо, поработали немало и усердно.

— Благодарю. Год в научном кружке и почти столько же на последнем курсе.

Монаков перелистал несколько страниц, удерживая на лице снисходительную улыбку.

— Я бы с удовольствием написал вам хороший, больше того — отличный отзыв, если бы... если бы в дипломной работе не чувствовалось чрезмерное влияние прежнего руководителя, подполковника Кучара.

— А если влияние было хорошим?

— В том-то и дело, что оно завело вас в темные дебри. — Полковник выждал, пока Стрельцов отдышится от столь неожиданного для него отзыва, и продолжал: — Вы вправе не соглашаться со мной. Вполне понятно — столько работали над темой, сжились с результатами

своего исследования и верите в них. Но... — Монаков многозначительно прервал фразу и вопросительно посмотрел на капитана.

— Слушаю вас! — напрягаясь и сдерживая себя, произнес Стрельцов.

Монаков ожидал, что Стрельцов станет доказывать свою правоту, и тогда, используя слабые доводы собеседника, легче будет заставить его отказаться от неверных убеждений. А капитан, судя по всему, сам сначала хотел узнать, в чем ошибаются он и его руководитель, а потом уже ринуться в спор. Но спорить Монакову не хотелось (капитан — знакомый дочери), хотя он был совершенно уверен, что, будучи даже в чем-то неправым, сможет склонить к своему мнению любого слушателя. Поэтому он начал издали, стремясь незаметно подвести капитана к своим взглядам. Он подробно раскрыл историю споров между сторонниками стремительных и осмотрительных действий, назвал десятки ученых, которые в прошлом ломали копья на теоретических турнирах. В заключение привел цитату из одного довоенного теоретика: «Со времени Наполеона и Клаузевица идет острая борьба между защитниками позиционных и наступательных форм борьбы. Поскольку в мирное время нельзя выявить победителя, а следовательно, примирить враждующих, создатели уставов обычно соглашались с доводами одних и делают низкий поклон другим. Так рождается официальная точка зрения — теоретическое кредо».

— Теперь вам понятна теоретическая кухня? — спросил Монаков, намекая, что дальнейший спор между ними не имеет смысла: не мы решаем, чему быть и чему не быть.

— Понятно, товарищ полковник, — ответил Стрельцов. — Но в конечном итоге на войне споры разрешались?

— Да. В обороне жестко позиционные формы всегда одерживали верх.

— В прошлом. Сейчас создались совершенно иные условия войны, особенно в начальном периоде.

Монаков понял опрометчивость своей излишней откровенности, тут же убрал с лица доверительную улыбку и заговорил сухо, с раздражением.

— Согласен. Но вопрос: будет ли война более маневренной или она будет позиционной — туманный. Даже

Фуллер, которого нельзя упрекнуть в недооценке влияния техники на ведение войны, еще в пятьдесят третьем году заметил, что, если еще будут вестись войны, атомное оружие изменит лишь методы их ведения, а на основных тактических элементах оно отразится не более, чем открытие пороха.

— Фуллер — буржуазный теоретик...

— Не все буржуазное глупо, — перебил Монаков.

— Согласен, но все же вывод его ограничен. Порох не сделал бурной революции потому, что техника изготовления огнестрельного оружия была низкой. Иное дело сейчас, когда налаживается серийное производство ракет.

— Нельзя желаемое выдавать за действительное. Допустим даже, что вы правы. Ракет в ближайшее время будет много. О ядерном же оружии этого сказать будет нельзя, если не получит быстрого развития термоядерное. Это одна сторона. Раскрывая возможности ядерного оружия, вы их чрезмерно преувеличиваете. Вы пишете: ядерный снаряд в двадцать килотонн заменяет четыреста тысяч снарядов. По энергии — да, по боевому эффекту — нет. Ибо у ядерного заряда огромные избыточные энергии. Чтобы поразить человека, нужно избыточное давление всего в одну треть атмосферы. Фактически в эпицентре и вблизи от него оно в сотни и тысячи раз больше.

Просчет был настолько очевидным, что у Стрельцова посерело в глазах: выходило, дипломная работа написана неверно. Капитан стал вспоминать последнее объяснение руководителя. Он тоже исключал избыточную энергию, учитывал вероятность попадания, а результат поражения получался все же высокий. Почему? За минуту молчания вспомнилось немного. «Не всякую цель надо уничтожать полностью; из суммы целей надо выбрать наиболее важные, поражение которых нарушает целостность боевого организма и ведет к быстрому его разгрому. При массированном применении ядерного оружия возникают дополнительные результаты в виде огромной степени подавления противостоящего противника».

Монаков, выслушав дипломанта, сочувственно заметил:

— Все это слова, очень хорошие, но... малоубедительные. Живое будет собрано, организовано и снова

брошено в бой. Помните, шестую армию немцев мы уничтожали трижды, а она снова и снова появлялась перед нашими войсками.

Стрельцов хорошо помнил, как была разгромлена шестая немецкая армия у берегов Волги. Какие потери она понесла при втором и третьем разгромах, он не знал и потому не мог возразить полковнику, хотя угадывал кажущуюся правильность замечания: теоретик кафедры не мог не знать, что для разгрома противника никогда не требовалось полного его уничтожения.

— Влияние элемента подавления ядерным оружием на разгром противника будет определено. Подполковник Кучар кое-что рассчитал.

— Допустим. Но защита диплома через месяц.

— Я буду защищать то, что написал. Ваше замечание учту...

— Уверенность — хорошее качество. Однако без веских доказательств дипломную работу защитить невозможно.

— Попробую.

— Не советую, — все еще строго произнес Монаков и вдруг умолк: упорство слушателя насторожило его. Значительно мягче он добавил: — Предположим — вы правы, ваши предложения оригинальны, даже ценны. Но, поверьте, никто их не поддержит. Ведь члены комиссии будут придерживаться требований программы, существующих уставов и практики войск. Вы знаете военных людей: скромностью они не страдают, особенно войсковые, а они-то в основном и будут председателями подкомиссий. Каждый из них посчитает себя оскорбленным, если вы, отстаивая свою правоту, скажете: «Прав я, а не вы». Капитан хочет нас учить, подумают они, и так вас разнесут, что трудно сейчас предположить, чем все это кончится.

Стрельцову хотелось возразить: «Далеко не все такие», но он промолчал.

Молчание Стрельцова Монаков понял по-своему: капитан заколебался и его можно теперь переубедить окончательно.

— Вы, видимо, считаете — на переделку надо много времени, а защита и госэкзамены на носу. При ваших способностях нужна, ну самое большое... неделя. Требуется изменить текст лишь в нескольких местах, и диплом.

ная работа будет и дышать новым и не раздражать защитников старого.

Ласковые и, казалось, проникнутые желанием добра слова полковника на некоторое время обескуражили капитана. Он не нашелся еще что ответить, а Монаков уже открыл его работу и начал показывать, что и как надо изменить. Действительно, переделка выходила небольшой и получиться могло и достаточно оригинально и без значительного отрыва от программы.

Ловкость Монакова поразила и в то же время возмутила Стрельцова. То, что он предлагал, было остроумной манипуляцией, обеспечивало удачную защиту и одновременно ставило капитана в ряд противников дела своего учителя.

— Ничего я переделывать не буду!

— Как?! — растерянно ахнул Монаков.

— Не буду.

— Вы... вы отдаете отчет в том, что говорите?!

Наступило тягостное молчание. Поначалу Монаков смотрел на отвернувшегося Стрельцова умоляюще: мол, к чему нам ссориться, думаете, все благо жизни в драке? Потом опомнился и с начальнической строгостью заявил:

— Как хотите. Ваш отказ я вынужден доложить начальнику кафедры. Не хотелось — вынуждаете. Думаю, с такой дипломной работой вы даже к защите не будете допущены. Советую подумать основательно!

Монаков протянул рукопись и, все еще не веря до конца в решение капитана, не спускал с него своих выпуклых глаз. Стрельцов взял дипломную работу, четко повернулся и быстро вышел из кабинета.

Через неделю капитан Майер пошел к полковнику Дуке. Накануне он встретился со Стрельцовым. Угрюмый и все еще злой, тот не стал подробно объяснять причину своего плохого настроения. Но и без этого было ясно. Значит, у него, Вольфганга, итог может быть такой же. И если Георгий не сдался, то и он тоже не сдастся.

Продумав еще раз заранее подготовленные ответы на возможные вопросы, Майер с решительным видом предстал перед своим новым руководителем.

Полковник Дука улыбнулся: воинственность в настроении слушателя бросалась в глаза. Чуть приподняв-

шись, он через стол протянул Майеру руку и пригласил сесть.

Вольфганга смутила добродушно-снисходительная улыбка полковника. Он несколько растерялся и, чтобы не выдать своего состояния, присел поодаль от стола.

— Садитесь рядом, удобней будет разговаривать. Вот так. Теперь начнем вместе смотреть и хорошее и... надуманное. Признаю, русским языком вы овладели хорошо.

— Кое-что поправлял подполковник Кучар.

— Кое-что не в счет. У вас хорошая логика, доказываете надежно. Но кое-где не свели концы с концами. Не верите? Внимательно читайте конец второго раздела и заключение.

Майер пробежал глазами указанные места. Вроде все правильно.

— Не нашли ошибку? Читайте еще раз.

— Здесь все правильно.

— Так ли? Согласен, оборона должна быть более гибкой, эластичной, как стальная пружина. Хорошо сказано. Но и такой, чтобы противник, прогибая стальную полосу вашей обороны, как бы увеличивал ее силу, накопление которой позволяло бы выбросить его не только за передний край, но и к черту на кулички. Слышали такое русское выражение?

— Нет.

— Туда, где живут черти, да еще в самый дальний куток, угол их темной хаты. Согласны?

— Согласен.

— Вот и хорошо. Иди, дружок, переделай, а я тем временем напишу отзыв.

Радостный и взволнованный, Майер торопливо встал и начал благодарить полковника. Тот довольно заулыбался и пробасил:

— Бывает промашка. Но вовремя увидеть и поправить ее — тут кроме ума надо иметь и опыт. Ну, будь здоров. К концу недели жду. Пойдем к начальнику кафедры.

В течение двух часов начальник кафедры ознакомился с дипломной работой капитана Майера и тут же вызвал полковника Дуку.

— Что вы ему написали?!

— Отзыв, Кирилл Платонович, — с напускным добродушием ответил Дука.

— Отзыв! Да его и близко к защите допускать нельзя. — Дубкова возмутили добродушие и фамильярность полковника, хотя равенство лет, прежние заслуги и учеба на одном курсе в академии позволяли Дуке обращаться к генералу по имени-отчеству. — Заставьте переделать. Иначе он не будет допущен к защите. Поняли?

— Понял. Только я не могу этого сделать. Я считаю работу верной, написал положительный отзыв и не изменю его... Не акробат. Слишком мясист. Поговорите с ним сами, если считаете это нужным.

Начальник кафедры имел право без объяснений не допустить дипломанта к защите. Два обстоятельства склонили его к встрече: Майер — иностранец, надо соблюсти такт, а главное — генералу захотелось увидеть человека, который намерен увезти с собой его единственную дочь.

Когда Майер вошел, генерал встал. Воинская четкость, хорошая строевая выправка и корректный тон, каким докладывал о себе немецкий офицер, понравились генералу. Он подал слушателю руку, пригласил сесть.

— Я вас вызвал для того, чтобы прямо сказать: дипломную работу вы написали вопреки коренным положениям военной теории и программы академии, по которой вы учились.

Капитан Майер не решился ответить так, как ему хотелось: перед ним был генерал и отец Светланы. Одобрительный взгляд полковника, однако, прибавил ему уверенности, и он тихо возразил:

— Теория все время меняется...

— Правильно. Но те изменения, о которых пишете вы, нереальны на сегодняшний день, да и на завтрашний. Вы воевали? — вдруг неожиданно спросил Дубков.

— Нет, — ответил Майер и покраснел: он подумал, что генерал упомянет что-нибудь из недавнего прошлого немцев.

— То-то. А я оборонялся и наступал. Как только в обороне мы начинали маневрировать, то оказывались

за сотню километров от прежнего рубежа. То же было и с немецкими войсками. Держат фронт — рвем с трудом, с большими потерями, начнут выравнивать линию фронта — оказываются за сотни километров. Так было, так будет. А вы здесь понаписали о смене, перемещении, переменном переднем крае... Не пойдет!

Майер выждал, не скажет ли генерал еще что-нибудь, и только тогда заговорил:

— Маневр и отвод войск с переднего края в обороне были и раньше, вы это знаете. Сейчас они имеют особое значение. Я убежден в этом.

— Убежден... Перед войной у нас все были убеждены — обороняться будем недолго. Получилось не так. Вот и «убежден»!

— То, что вы назвали, — не главное в дипломной работе, — Вольфганг начал волноваться и сразу заговорил с акцентом.

— Это, что ли, главное? — показал Дубков на раздел в середине рукописи.

— Да.

— Здесь как раз самая большая ваша ошибка!

Генерал спохватился — замечание он высказал слишком резко. Чтобы немного успокоиться, раскрыл портсигар, предложил закурить Дуке и Вольфгангу. Вольфганг отказался, Дука же взял папиросу и, чтобы не затруднять разговор начальника кафедры со слушателем, попросил разрешения выйти.

Сделав несколько затяжек, генерал начал объяснять, в чем, по его мнению, дипломант допустил ошибки. Вольфганг слушал внимательно, ничем не выказывая своего несогласия. Поэтому генерал заключил, что он убедил слушателя. В конце он наставнически сказал:

— Вам, товарищ офицер, особенно надо думать о стойкости. Территория вашего государства — один оперативный шаг. Начнете по-своему маневрировать и принесете большую беду.

— Но я рассматриваю маневр в строго определенных границах, — вдруг услышал Дубков совсем не то, что ждал.

Настойчивость капитана поразила Дубкова.

— В таком случае нам не о чем больше говорить. Можете оставаться при своем мнении.

В тот вечер генерал Дубков приехал на дачу поздно, уставший, озабоченный.

— Что случилось? — спросила Мария Петровна.

— Два слушателя взбунтовались.

— Как?

— Отказались переделывать дипломные работы. Пришлось разбираться. Один наш, другой...

Дубков кивнул в сторону комнаты, где читала Светлана.

— Что же им будет?

— Что? Вместо диплома получают бумажку — столько-то лет проходили по академии.

Светлана поняла — разговор идет о Вольфганге. А «наш», — наверное, Стрельцов. Она положила книгу на стол и сделала шаг к двери, прислушиваясь к разговору родителей.

— Они знают, чем может кончиться их упрямство?

— Знают.

— И решились не выполнять распоряжение...

— Формально они имеют право выдвигать любую теорию. Но если бы за свои ошибки отвечали только они, черт с ними, ломайте себе голову, если хочется. Но из-за них другие попадут в акт государственной комиссии, а там и в приказ Министра. Вся армия будет смеяться над кафедрой и академией. Знакомым на глаза не покажешься.

— А как отнесется к этому она?

— Если не потеряла голову, то поймет.

На следующее утро Светлана уехала в Москву. С трудом по телефону разыскала Вольфганга. В обеденный перерыв они встретились в сквере.

— Что у тебя с дипломной работой, Воля?

— Написал, думал — все хорошо. А вышло нехорошо, — грустно ответил Вольфганг.

— Что нехорошо?

— Георгию и мне предложили переделать дипломные работы.

— А вы отказались?

— Отказались.

— Вы знаете, чем это может кончиться? — с тревогой спросила Света,

— Знаем. Все может кончиться очень плохо.

— Как же... дальше?

Вольфганг понял, что недоговорила Света: что им делать, если он не закончит академию? И хотя с одной стороны этот вопрос говорил о том, что его поступок усложнил для нее разрешение нелегких отношений с родными, он все же понравился ему: Света серьезно думает об их будущем. Это обязывает и его сказать ей все, что может с ним случиться.

— Если меня не оставят в армии, я могу работать на заводе. Я токарь. Это немного... не то что офицер. Но потом я поступлю в институт. Буду инженером...

— Ты не забывай, что Монаков ученый; папа тоже знает военное дело. Возможно, правы они?

— Подполковник Кучар тоже ученый.

— Разве он не может ошибиться?

— Может. Но я сам много думал. Очень много, Света, потому что большая война не обойдет Германию. Я должен очень хорошо знать, понимать, как надо вести бой в начале войны. Чтобы не пустить германских реваншистов и их союзников на мою землю.

Света задумалась. Ответ Вольфганга требовал, чтобы и она ответила, на что способна решиться.

И тут ее кольнула мысль: «А как же мама и папа! Ведь им я куда больше обязана!» Эти не желавшие примирения чувства столкнулись в ее груди. От вызванной ими боли у нее навернулись слезы. Она подумала: «Как они не могут понять, что он ни в чем не виноват!»

Вольфганг всполошился, увидев слезы Светы.

— Света, я плохо сказал, да? — спросил он, пересев на другую сторону, чтобы видеть ее лицо. — Но я не мог иначе...

Светлана хотела ответить, что не от его слов ей трудно, но не могла: перед глазами стояла мама, вся в слезах, и папа, гневный, проклинаящий. Они просили и требовали молчать, не давать советов и обещаний. Мысленно она возражала им: «Вы же его не знаете. Познакомьтесь, он хороший». Но строгость глаз родных не исчезала.

Вольфганг с тревогой следил, как менялось выражение лица Светы. Вот просохли слезы, поднялись брови, разгладился лоб...

— Поступай, как считаешь нужным, — наконец произнесла Света. — Все, что нужно тебе, нужно и мне.

— Хорошо, Света. Но ты так печально говоришь об этом. Может, лучше... поступить иначе. Ты боишься ехать в Германию?

— Нет, нет, Вольфганг! Я думаю не об этом.

— О чем же, Света?

— О маме и папе. Они должны тебя принять как близкого человека. Иначе мне будет трудно. Пони-маешь?

Вольфганг не ответил. Он вспомнил отца Светланы, сурового генерала, и счастье, такое близкое, сразу от-далилось, как тогда, когда они перестали встречаться.

— Ты не надеешься, что мы уедем вместе?

— Мало очень.

— Надо все испробовать. Ты только потерпи. Хо-рошо?

— Хорошо, Света. Я все вытерплю. Я буду очень ждать.

— Вот и хорошо.

Света еще не знала, что она предпримет, но готов-ность Вольфганга ждать, терпеть вернула ей надежду. Она повеселела. Ее оживление передалось Вольфгангу, и померкнувшее счастье снова засветилось в их глазах.

6

Полковник Монаков закрыл за собой дверь, сделал несколько шагов по коридору, остановился и, взглянув на две объемистые рабочие тетради, вздохнул. Лицо его приняло страдальческое выражение. Рукопись гла-вы, которую он спешно разрабатывал за Кучара, была пухлой и... несовершенной. Переработать бы ее как сле-дует, но генерал Дубков торопит, торопит нервозно, с раздражением. И это более всего заставляет трево-житься: раз генерал выходит из себя, болезнь Кучара, наверное, мало что изменила. Но именно поэтому и сто-ило бы отделать главу как следует.

— Прошу извинить, — услышал Монаков тихий стар-ческий голос. Он приподнял голову и встретился с се-рыми поблекшими глазами. — Как пройти к генералу Звездину?

— Вторая дверь с левой стороны. Там есть надпись.

Медленно, будто боясь потерять равновесие, старик пошел по коридору. Его походка, сгорбленная фигура, особенно тонкая шея, каким-то чудом державшая трясущуюся голову с острыми скулами и редкими синева-то-белыми волосами, красноречивее всяких слов говорили о его физическом состоянии, о нелегко прожитых годах. И тем явственнее ощущалось стремление старика во что бы то ни стало куда-то дойти.

У двери партбюро старичок по-военному одернул пиджак, выпрямился и постучал, став при этом в профиль к Монакову. Тот от неожиданности вздрогнул — в этом болезненном и хилом старичке он узнал комбрига Душкина, командира корпуса, попавшего в окружение осенью сорок первого года.

Пораженный неожиданной встречей, Монаков вернулся к себе в кабинет и, как подкошенный, рухнул на диван. Ослабевшей рукой провел по голове, смахнув на лоб свои редкие длинные волосы. Они мешали ему, но он и не думал поправлять их: то, что пришло с этим Душкиным, могло окончиться в десять раз хуже, чем провал с монографией.

С гордо вскинутой головой старик вошел в кабинет Звездина и официально представился.

— Мне передали, — начал Душкин, усаживаясь в предложенное ему кресло, — что вы мною интересовались. Пришел выразить свою признательность.

— Не за что, Николай Степанович, если разрешите вас так называть.

Старик медленно и несколько настороженно поднял голову, словно вспоминая смысл забытых слов.

— Пожалуйста, — наконец ответил он, запнувшись, и эта запинка выдала охватившее его волнение. Успокоившись, он спросил: — По какому вопросу вы мною интересовались? Вы знали, где я был?

— Догадывался.

— И все же...

— Я уверен в вашей невинности.

— Откуда у вас такая уверенность? Некоторые убеждены как раз в противоположном.

— Вы Вольфганга Майера знаете?

— Вольфганга?.. Да.

— Он привез ваши записки, которые вы оставили у его матери.

— О! — вырвалось у Душкина.

— Вам плохо? — забеспокоился Звездин.

— Нет. Но дайте, если можно, воды.

Душкин отпил полстакана, отдышался и сделал еще глоток.

— Думал — умру, не оправдавшись.

— Вас же освободили.

— Случайно. В архиве нашли запись беседы Гитлера со мной. Он предложил мне командовать корпусом — я отказался, хотя точно знал свой дальнейший путь — концлагерь, смерть... Лишь поэтому и освободили. Но это не полное оправдание. Да, я остался жить, а где те тридцать тысяч, что легли? Кто-то виноват в их смерти?!

— На войне погибли миллионы.

Этим замечанием Звездин хотел смягчить сказанное Душкиным, но тот не согласился.

— Жертвы жертвам рознь. Я хочу разобраться. Если командующий допустил ошибку, надо предостеречь других. Но... надо быть совершенно невоенным человеком, чтобы обречь корпус на явную гибель.

— Как же вам помогут ваши записи? Они ведь не являются документом.

— В тетрадях зашифрованы координаты спрятанных документов и знамен. Буду признателен, если поспособствуете их отысканию.

— Конечно. Сегодня же переговорю с историками. Думаю, они с радостью поедут с вами.

— Не откажите еще в одной просьбе: вызовите сюда Вольфганга. Я понял, он у вас...

— Да, он офицер, учится.

Звездин позвонил на курс. Через некоторое время в кабинет вошел Майер.

— Узнаете? — Звездин кивком показал на Душкина.

Вольфганг нахмурил брови, пытаясь припомнить старика. Душкин не выдержал и обратился к нему по-немецки:

— Вольф, как поживает мама?

— О, наш генерал! — И молодой человек порывисто пожал руку Душкина. — Где вы жили? Я четыре года в Москве и не нашел вас.

— Меня нельзя было найти. Был далеко от Москвы. Очень далеко.

— Мама передала мне вашу тетрадь: хотел отдать вам, но...

— Теперь это можно сделать.

— Она на кафедре истории. Я сейчас...

— Никуда не ходи, успеется. Дай я на тебя еще посмотрю. Совсем большой. Женился, наверное?

— Нет еще, — потупясь ответил Вольфганг.

— Когда будешь жениться, напиши мне. Обязательно приеду. Твоей маме хочу сказать большое, очень большое спасибо.

— Я здесь буду жениться. Совсем скоро.

— Да?! В недалеком прошлом даже предположение о подобном могло показаться невероятным. Что ж, хорошо. Хорошо... хорошо...

Но каждое его «хорошо» произносилось все с большим усилием, а последнее осталось недоговоренным. Старик закрыл глаза, будто от острой боли, и глубоко вздохнул.

— Может быть, позвать врача?

— Не нужно. Боль не от недуга. У меня был сын, ровесник Вольфганга. В ту ночь, когда началась война, семья выехала ко мне на границу. Семнадцать лет спустя я узнал: все погибли от бомбежки.

Душкин говорил так, словно заранее возражал против сочувствия: ему плохо, но он военный человек и давно приучил себя переносить горе, много горя.

7

В академии все пришло в движение — из отпуска вернулся начальник. За его долгое отсутствие накопилось немало дел, которые мог разрешить только он. И к нему хлынули со всех кафедр и отделов. Пробриться через адъютанта и секретаря было нелегко. Дубков сделал ход конем: зашел к заместителю и вместе с ним попал в кабинет начальника академии.

Генерал выглядел посвежевшим: мелкие морщины на его коричневом от загара лице расправились, а крупные, оттого что их не засмолило солнце, казались белыми и потому помелевшими; уменьшилась сутуловатость,

веселей был взгляд, и весь он выглядел моложе лет на десять.

— Как отдохнули? — спросил заместитель.

— Хорошо, — ответил начальник коротко, улыбнувшись. И в свою очередь спросил: — Как у вас дела?

— Академия пока стоит.

— А если бы еще месяц не был?

— Не ручаюсь, — развел руками заместитель.

— А как кафедра?

— Пришел доложить, — ответил Дубков, сохраняя на лице серьезное строгое выражение.

— Слушаю. — Оживленность начальника академии исчезла.

— Учебный процесс на кафедре идет без существенных изменений. Разработка монографии несколько задерживается.

— Почему?

— Один автор, подполковник Кучар, заболел. Генерал Звездин... усомнился в правильности того, что написал, и хочет переделывать свою главу.

Начальник академии опустил глаза. Дубков замолк в ожидании вопроса, но вопрос так и не последовал, и он продолжал:

— Я обращаюсь к вам с ходатайством о продлении срока написания монографии и о привлечении к работе одного-двух новых авторов.

— Почему новых? Кучар что, надолго заболел?

— Он здесь... изрядно напроказничал, мягко говоря. Сейчас в госпитале — сотрясение мозга. А потом... после отпуска я, по согласованию с Дмитрием Поликарповичем, решил направить его в войска.

Дубков опять остановился в ожидании вопроса. А начальник академии обдумывал его слова и молчал. Дубков понял, что он должен объяснить все.

— После такой болезни, товарищ генерал, он едва ли сможет выдержать большое напряжение. Потом, он довольно сильно запутался в личных делах. После всего такого... работать в академии я бы не смог. Считаю, душевную драму он легче перенесет в войсках, где мало кто его знает.

— Он много недоделал?

— Он закончил свои главы. Но... авторский коллектив не нашел возможным включить их в монографию

в том виде, в каком они написаны. Их надо основательно перерабатывать.

— Так у вас не один, а двое отколовшихся?

— Генерал Звездин разрабатывает второстепенную проблему, и расхождение с ним, в сущности, не принципиальное, — поспешил объяснить Дубков. — А Кучар, по моему, просто начитался фантастической литературы и взлетел так высоко, что потерял из виду землю. Если разрешите, я доложу существо наших расхождений?

— Да, пожалуйста.

Генерал Дубков, сохраняя на лице прежнее, официально-строгое и внешне беспристрастное выражение, коротко изложил взгляды сторон, стараясь убедить начальника академии: вам докладывается все, судите сами, правильно или нет я поступил.

Заместитель добродушно улыбнулся, не то осуждая Дубкова, не то поддерживая его.

— А как вы думаете, Дмитрий Поликарпович?

— Я не успел еще досконально изучить существо разногласий в авторском коллективе по материалам монографии. Но я был на обсуждении научного сообщения. Сначала мысли подполковника Кучара выглядели довольно оригинально, а доказательства убедительно. Я не могу согласиться с Кириллом Платоновичем, что молодой ученый исходит из фантастических предположений. И все же надо сказать, взлет его мысли слишком необычен и, я бы сказал, почти нереален. По крайней мере, на ближайшие годы. Здесь я не могу не согласиться с Кириллом Платоновичем: нам в первую очередь нужна теория, которая позволит держать армию в постоянной и высокой боевой готовности. Война может возникнуть в любой день и час. По крайней мере, так было почти каждый год, начиная с пятидесятого. Корея, Суэц, угроза интервенции в Сирии, интервенция в Ливане, Иордании. Сейчас все вроде утихло. Но Америка и Англия не выводят свои войска с Ближнего Востока. На следующий год они могут выкинуть что-нибудь посерьезнее.

Начальник академии внимательно слушал своего заместителя. Но когда тот начал повторяться, задумался: «То, что война может вспыхнуть в любой из дней, в известной степени имеет под собой почву. Поэтому войскам надо сказать, как следует сегодня использовать

в бою и операции технику и людей. Но ни одна по-настоящему верная теория не разрабатывалась с учетом только ближних, казалось бы неотложных, задач. По ближнему ориентиру все направления кажутся правильными. И если Кучар выбрал более дальний ориентир, то, конечно, он ближе к истине. Но если, как говорят, он оторвался от грешной земли, это немногим лучше близорукости. Нужно прочесть его материалы. Похоже, меня заговаривают».

Но, вспомнив, сколько ему предстоит в ближайшее время прочесть, сколько рассмотреть и решить накопившихся неотложных дел, начальник решил отложить ознакомление с монографией: до ее издания еще далеко.

«Когда заместитель наконец остановился, начальник академии, немного подумав, объявил решение:

— Дмитрий Поликарпович! Изучите все, что относится к монографии, и недели через две доложите мне свое мнение.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Второе. Если для Кучара полезно побывать в войсках, пусть едет. Год — срок небольшой. Все же до отъезда используйте его в авторском коллективе. Он знающий ученый, на стажировку дайте задание, поддерживайте связь.

Заместитель и генерал Дубков обменялись взглядами. Они приняли несколько иное решение. «Как быть? — спрашивали глаза заместителя. — Не лучше ли доложить?»

Дубков нагнул голову. Его жест означал: «Я сам, потом». Объяснить свой поступок сейчас он не решился: какие бы слова ни были им сказаны, откомандирование Кучара после того, как начальник академии узнал о разногласиях в авторском коллективе, трудно воспринять иначе, как намерение избавиться от неугодного автора.

Начальник академии заметил этот немой разговор. Его серые умные глаза настороженно расширились, готовые стать беспощадными, если обнаружится, что генералы поступили или собираются поступить не так, как он сказал, или не так, как нужно.

Генералы выпрямились, готовые ответить на вопрос начальника, если он будет задан, или тут же уйти, если им разрешат.

Начальник академии не считал нужным проверять возникшее подозрение — он уверил себя, что генералы не могли руководствоваться другими мотивами, чем те, которые были ему доложены.

От начальника академии генерал Дубков вышел измученный, точно находился под долгим артиллерийским обстрелом, во время которого надежда остаться в живых давно исчезла и оставалось лишь гадать о том, какой снаряд тебя прикончит. Казалось бы, беду пронесло и можно с облегчением вздохнуть, забыть тягостный разговор, но преследовал вопрос начальника академии: «Так у вас не один, а двое отколовшихся». Этот вопрос требовал и иного решения судьбы Кучара, и иного порядка дальнейшей работы над монографией. Но как поправишь, если документы на откомандирование Кучара уже у Министра? Что он подумает, когда их затребуют назад?

С полчаса просидел Дубков в своем кабинете, а заставить себя приступить к работе не мог. Потянуло домой, хотелось верить, что там станет легче: Маша и дочь без объяснений поймут, что с ним творится, и помогут забыть неприятности.

Мария Петровна сама ждала его возвращения. Вскоре после обеда она вышла к озеру и на противоположной стороне увидела Свету с немецким офицером. Дочь в чем-то убеждала его, звала с собой. Он отрицательно качал головой, не соглашался. Обменявшись еще несколькими словами, они поцеловались, и дочь пошла домой одна. Мария Петровна догадалась, куда и зачем звала Света молодого человека: дочь хотела познакомиться с ней.

Света подходила к дому с отблеском той радости на лице, которую ей дало свидание с Вольфгангом. На террасе она лицом к лицу столкнулась с матерью. Глаза Марии Петровны, испуганные, растерянные, молили ни о чем не просить и не говорить. И Света поняла: мама видела ее с Вольфгангом, догадалась о ее намерениях и не может отпустить ее от себя так далеко. Дотронувшись губами до щеки матери, девушка присела на стул. Обе долго молчали, не зная, как приступить к объяснению. Света невидящими глазами смотрела себе под ноги, Мария Петровна не спускала с дочери глаз.

Угрюмое выражение лица Светы больше, чем слова, убеждали Марию Петровну в том, что если сегодня дочь еще пожалеет ее и промолчит, то завтра или недель позже снова придет к ней с тем же. Не лучше ли выслушать и пережить все сегодня?

— Говори, Света, я видела вас, — промолвила Мария Петровна, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

— Я люблю Вольфганга.

— А как же мы?

Светлана промолчала.

— Ты решила с ним уехать?

— Да.

— Нет! — Мария Петровна приподняла дрожащие ладони, будто преграждая дочери путь к опасности. — Они отняли у меня Мишу и Володю. Тебя я не отдам! — Вольфганг не виноват.

Не в силах произнести ни слова, Мария Петровна покачала головой. Светлана порывисто встала, взяла мать за руки и умоляюще заговорила:

— Мама! Пойми нас, мама! Я сказала Вольфгангу, что ты примешь его как близкого, поможешь нам.

— Не могу!

— Я прошу тебя, мама.

— Нет, своими руками я тебя им не отдам! Не отдам!

— Мама! Я прошу, прошу тебя помочь мне! — Последние слова Светлана проговорила почти с угрозой. Отвернувшись, она отошла к столу и оттуда бросила еще более безжалостное: — Я не могу не поехать туда. И если мы расстанемся холодно, там мне будет очень тяжело.

«Очень тяжело, — повторила про себя Мария Петровна, — и все-таки ты решаешься туда ехать?!»

Как подкошенная, она опустилась на стул, но тут же вскочила и подошла к Светлане.

— Нет, нет, ты не поедешь туда! Слышишь! — Но ее гневные, строгие слова, не раз выручавшие ее в прошлом, сейчас, она видела это, не произвели на Светлану никакого впечатления.

— Я поеду! — решительно ответила она.

Мария Петровна не знала, что еще сказать и как дальше поступать. Обессиленная, она смотрела на дочь, точно та сию минуту уходила от нее навсегда.

Кирилл Платонович приехал домой усталый, взвинченный. Ему хотелось отдохнуть в кругу семьи, почувствовать ее тепло и внимание. Увидев жену в шезлонге, с мокрой марлей на лбу, он заторопился к ней.

— Что с тобой, Маша?

Мария Петровна вздохнула и, не открывая глаз, устало прошептала:

— Спроси у нее.

Кирилл Платонович выпрямился, его лицо приняло суровое выражение, но Светлана не ответила на его просительный взгляд.

— Может быть, ты расскажешь? — спросил он недовольно, и в его голосе прозвучали приказные нотки. Светлана опять промолчала. Мария Петровна, испугавшись гнева мужа, объяснила:

— Она решила уехать от нас.

Отец повернулся к дочери, которая тонкими трепещущими пальцами мяла сорванный лист сирени. Ее обиженные глаза удержали отца от резкости. Он опустил на скамейку, и его прямая спина, которая не гнулась с сорок первого года, сгорбилась от внезапно навалившейся усталости.

— Видимо, не нужны стали, можно и бросить, — повернув голову к Марии Петровне, проговорил он наконец. — Выросла.

— Неправда, — без упрёка ответила Светлана.

— Ты нам нужна, мы просим тебя остаться с нами. А ты уезжаешь...

— Все равно уеду: университет закончу — в Москве не оставят.

— Все равно, да не все равно. Куда уедешь ты, сможем уехать и мы. Или хотя бы погостить у тебя.

— В гости можно приехать и туда. Многие ездят на экскурсии.

— Избавь! — резко бросил Кирилл Платонович. — Я еще не забыл, кем погублены твои братья.

Света не сразу собралась с силами ответить на обидные для нее слова.

— Да, я еду к немцам. Ну и что же? Ты же учишь их воевать.

Логика дочери поставила Кирилла Платоновича в затруднительное положение. Он начал искать возраже-

ния, но они не приходили, и неожиданно для себя он выпалил ходячее изречение:

— Военным далеко не всегда приходится делать то, что хочется. Есть соглашение — я его выполняю.

— Не верю!

— Не веришь?! — В голосе Кирилла Платоновича вместе с удивлением прозвучала признательность, он был рад, что дочь думает о нем лучше, чем следовало бы думать после произнесенных им в запальчивости слов. «Действительно, я еще помню утрату сыновей, многих друзей и тысяч подчиненных. Но во мне нет к немцам прежней ненависти и даже неприязни. Я их учу не хуже своих. И далеко не потому, что есть соглашение. Так в благодарность хотя бы за это могли же они оставить мне дочь, единственную дочь!»

Взвинтив себя, Дубков довольно резко спросил Светлану:

— Кроме красивых слов, он сказал тебе, что может не получить диплома?!

— Сказал, — помедлив, ответила Светлана. — Он мне все сказал. Но у него есть специальность. Сначала закончу университет я, потом он.

Кирилл Платонович видел: дочь говорила правду. Она смело посмотрела отцу в глаза, и, когда поднялись ее темные ресницы, открылась вся ее душа. И было ясно, что в ней нет ни капельки лжи. Но это сейчас почему-то еще больше рассердило отца.

— Вот что! — В голосе Кирилла Платоновича набухла и тут же прорвалась угроза. — Или ты выкинешь из головы всю эту блажь, или... можешь уходить от нас.

Он хотел по-военному, решительно сломить упорство дочери, но, к его ужасу, угроза привела к совсем неожиданному результату: Светлана сделала шаг, потом другой, постояла и, не глядя на них, сделала еще несколько шагов. Наконец решившись, она быстро пошла к калитке. За поворотом высокий крыжовник скрыл ее синее, в кольцах, платье. И только прямая шея да узел кос видны были до самой калитки, где девушка на мгновение остановилась. Потом калитка открылась, хлопнула, и Света исчезла.

Как ни тяжело было Лизе с двумя детьми, как ни уставала она, обида, вызванная изменой мужа, проходила медленно. Уложив детей в постель, она давала волю своим чувствам. Но в середине второй недели она начала сдаваться. Тоска все настойчивее тянула ее к Игнату. Одна за другой забывались собственные угрозы. Лишь две из них она все еще собиралась осуществить: дать понять мужу, что она не забудет измены, и до выхода Игната из госпиталя не показывать ему сына.

В воскресенье утром она достала свое лучшее платье, отгладила его, но, подумав, снова повесила в шкаф. И хотя на улице было солнечно и тепло, она надела коричневый с лазурными прожилками костюм строгого покроя. В нем было немножко тесно, — видимо, пополнела. Она подошла к зеркалу. «Конечно, пополнела, — определила, взглянув на распиравшую жакет грудь, на приподнявший фалды живот. — Надо ограничить себя. А как же сын? Он большой, в отца, ему много надо».

Оставив детей с соседкой, она уехала в госпиталь, рассчитывая вернуться к очередному кормлению.

Когда она вошла в приемную госпитального отделения, ее покорило от больничного запаха, еле уловимого, но надоевшего ей еще в родильном доме. На стульях, тихо переговариваясь, сидели несколько старух с озабоченными и скорбными лицами. У открытого окна, что-то рассматривая в садике, стояла молодая женщина в гладком синем платье.

Вошла сестра. Шепот умолк, все повернулось к ней. Женщина в синем платье догнала ее у двери, ведущей в палаты, и настойчиво попросила:

— Девушка, вы передадите записку?

— Кому?

— Кучару.

Лиза испуганно впиалась глазами в спину женщины и безотчетно проговорила: «Она! Она! Зачем она здесь?!»

— Сегодня посещение больных разрешено только родственникам. А подполковнику Кучару лишние волнения вообще противопоказаны, — недовольным тоном ответила сестра, беря записку.

Слова сестры помогли Лизе осознать, что только она сегодня, завтра — всегда может входить к Игнату. Больше никто! Лиза встала и гордо посмотрела на Асю.

Ася направилась к окну. Поравнявшись с Лизой, она невольно посмотрела на нее, почувствовав ее уничтожающий взгляд.

— Вы — Лиза? — спросила она примирительно и несколько смущенно.

— Да, — ответила та.

Посетителям разрешили войти в палаты. Лиза и Ася остались одни.

— Извините меня. Я не могла не прийти.

— Зачем?!

— Объяснять трудно, вам особенно — вы жена. Скажите, как его состояние? Я не могу уехать, не узнав, что с ним.

— Вам лучше знать: вы его видели значительно позже меня.

Безжалостная резкость Лизы уязвила Асю. Сдерживая себя, она упрекнула:

— Зачем так, Лиза? Вы счастливее меня и уже поэтому должны быть великодушнее.

Лиза поняла и опрометчивость своего ответа, и то, за что Игнат любит эту женщину. Смешавшись, она не нашла что ответить. Ася посмотрела на нее добрыми, полными бескорыстной зависти глазами и сказала:

— Вам надо идти. Пусть Игнат не отвечает на мою записку. Только прошу вас, когда выйдете из палаты, скажите, как он. Я подожду здесь. И завтра же уеду.

Лиза не смогла ни отказать, ни согласиться с настойчивой просьбой той, которую минуту назад была готова уничтожить своим презрением. Неловко повернувшись, она торопливо пошла к двери, но тут же остановилась: идти к Игнату, ощущая рядом ту, которую он любит и которая для него чем-то лучше ее, Лизы, вдруг показалось ей невозможным.

Никогда с такой отчетливостью не обнажалась для нее правда — Игнат не любит ее. Не осталось никаких иллюзий, никаких надежд на взаимную любовь, а жизнь без нее — лишь тягостная необходимость. И вновь появилась обида за исковерканную судьбу, и в душе снова начала скапливаться палящая отравка, которую хотелось выплеснуть ему в глаза...

Лиза вспомнила летнюю ночь, с которой начались ее теперешние мучения. И как ни хотелось ей считать Игната единственным виновником своего неудачного за-

мужества, она все же сознавалась себе — он предлагал подождать с женитьбой. Ей же казалось тогда, что остаться брошенной, одинокой просто невыносимо, и своими упреками она заставила его решиться. А теперь вот мучается, и он тоже. Но если они разойдутся теперь, будут мучиться и дети. Ради них он решил остаться с семьей. И лишать детей отца, а себя мужа... Нет... Но как же жить, как вернуть хотя бы прежнее к себе расположение после всего, что у него было с этой?

Тягостные думы Лизы прервал голос сестры: «Гражданка Кучар, проходите в палату».

Лиза заторопилась по коридору, но у палаты опять остановилась. «Что мне ему сказать?» — в смятении подумала она. В памяти возникли слова генерала Полетова: «Игнат болен, больных не винят и не упрекают».

— Много не говорите, ему вредно, — наставляла сестра.

Когда Лиза вошла в палату, Игнат настороженно, словно в ожидании неизбежной тягостной неприятности, повернул к ней голову. Он ждал упреков, горьких слез, но увидел только ее измученные глаза. Они упрекали и просили, понимали случившееся и не знали, как разрешить его. В этом смятении Лизы было столько беспомощности и желания найти выход, стать нужной и близкой ему, что все, что отталкивало его в ней прежде, исчезло. Сейчас она виделась ему совсем другой, все понявшей и много обещающей. Он закрыл глаза, чтобы сохранить ее новый образ.

Лиза не выдержала взгляда мужа, который как бы подтверждал все то, о чем она думала в приемной и в коридоре. Но когда она снова посмотрела на него, глаза Игната уже закрылись, а плечи, как после освобождения от тяжелой ноши, с облегчением опустились на подушки. Лиза опять вспомнила слова Полетова и осторожно подошла к кровати. На тумбочке увидела конверт. От нее... Сердце вдруг замерло, но тут же учащенно забилося: конверт не был вскрыт.

— Возьми стул, — тихо предложил Игнат, не открывая глаз.

Лиза поспешно исполнила его просьбу.

— Как дочь, дети?

— Хорошо.

— Как ты себя чувствуешь?

- Тоже хорошо.
- Кто-нибудь помогает?
- Я управляюсь.
- Кто остался с детьми?
- Соседка.

Опять помолчали.

— Надо сына назвать, Игнат.

— А как бы ты хотела?

— Сын тебе, тебе и называть.

— Спасибо. Но... дай ему имя ты...

Лиза знала, почему он отказывается, и ей захотелось дать ему понять, что, если все пойдет к лучшему, она не будет помнить зла.

— Он весь в тебя...

— Хорошо, назовем его Петрусем, как твоего брата. С родины не было писем?

— Одно. В деревне собираются поставить памятник партизанам. Имя Петруся тоже напишут.

— Съездить домой надо. Давно не были.

— Выздоровеешь — поедем. Как раз охота начнет-ся. — Помолчав, Лиза сказала: — Мне пора ехать кормить Петруся.

Игнат кивнул головой.

— Тебе принести что-нибудь?

— Здесь всего достаточно.

— А может быть? Ты похудел.

— Копченой рыбы хочется.

— Я принесу. Ну, я пойду.

Лиза поцеловала его в белый, бескровный лоб и бесшумно направилась к двери.

— Лиза, — позвал ее Игнат. — Возьми вот эту записку. Верни.

В приемной Лизу встретила Ася.

— Ну как?

— Все хорошо, — спрятав глаза, ответила Лиза. По взгляду Аси она поняла, что та ждет большего. Ей надо знать, как о ней думает Игнат, не попросил ли он их помириться и обоим думать и заботиться о нем. Весь ответ — в ее нераспечатанном письме. Он так суров, что Лиза не решилась передать его этой измученной женщине. Сжав конверт в кармане, она торопливо проговорила:

— Извините, мне надо домой."

Расставаясь у входа, Ася попросила:
— Не думайте обо мне плохо.
Лиза ничего не ответила.

9

Прошел сильный ливень. Потоки серой воды, сплетаясь у обочин мостовой и унося первые желтые листья, устремлялись в водосточные колодцы. Глянцевитый асфальт, на котором все еще подпрыгивали и разлетались мелкими брызгами редкие капли дождя, пожелтел от вечерних огней, которые шпалерами плоских столбов уходили вдаль и там расплывались, образуя причудливые огненные течения.

Капитан Стрельцов мрачно смотрел на освещенную улицу. Час назад он получил строгое внушение от начальника курса: до экзаменов неделя, а дипломная работа все еще не готова.

Вернувшись к себе, Стрельцов открыл дипломную работу и пробежал несколько страниц. Менять хоть что-нибудь не поднималась рука. Как только прошел гром, он распахнул окно и сделал глубокий вдох.

— Стрельцов! — окликнул его дежурный. — Гошка! Оглох, что ли? Тебе звонит какая-то мамзель.

— Сам ты мамзель.

— А чего она не говорит, кто такая? Еще фыркает.

В учебной части Стрельцов взял трубку и мрачно произнес:

— Да, слушаю.

— Вы что такой грозный?

— Эдит?

— Вроде. Ищу вас полчаса. Суббота, а вы еще работаете.

— У вас веселое настроение.

— А у вас, слышу, наоборот. Отчего?

— Ваш папа испортил, — не меняя тона, ответил Георгий.

— Хотите, посодействую?

— Нет уж, как-нибудь разберусь сам...

— Зря. Может быть, сегодня встретимся?

— Если мое настроение вас не пугает...

— Нисколько. Даже любопытно: Георгий — и вдруг зол!

В веселости Эдит слышалось что-то новое, но Стрельцову было не до психологического анализа. Переодевшись в штатский костюм, он сел в троллейбус и направился к Калужскому метро, куда должна была подъехать Эдит. Он опоздал; Эдит стояла у перил, тонкая, стройная, безразличная к любопытным взглядам молодых людей. Как только Георгий взял ее за руку, она оживилась, с интересом осмотрела его новый костюм.

— На вас настоящий цивилизованный костюм. По последней моде.

— Поскольку на узких брюках экономится материал, даже интендантство ввело новую моду. Куда мы направимся? В «Прагу»?

— Оттуда далеко домой.

— На цивилизованном транспорте — пятнадцать минут.

Георгий взял такси, и они поехали на Арбат.

— Я не понимаю, — начала разговор Эдит, — почему из-за каких-то принципов вы портите себе жизнь?

— Вы о чем?

— О вашей дипломной работе.

— Наши принципы — жизнь людей.

Стрельцов вновь озлобился, уловив в словах Эдит почти тот же смысл, что и в речах ее отца.

— Георгий, только откровенно, вы действительно очень верите в их важность, ценность, не знаю еще как сказать?

— Да.

— И будете отстаивать их, как пишут в газетах, не на жизнь, а на смерть?

— Мирные баталии оканчиваются без смертных исходов. Просто не дадут диплом — и все.

— И куда тогда?

— Куда-нибудь. Как говорят, в народное хозяйство.

— И вы действительно готовы на такую жертву?! — допытывалась Эдит с тем интересом, в котором были и сомнение и желание поверить в то, что Георгий говорит не просто пышные фразы. Люди, она это усвоила из разговоров родных и друзей, поступают обычно далеко не так, как говорят на службе.

Стрельцова привлек интерес Эдит к его будущему. Прежде ничего подобного не было — она не подавала виду, что он для нее больше, чем просто хороший зна-

комый, не старалась сделать их отношения более близкими. А сегодня — расспросы, раздумья, вера и неверие. Полюбила? Только как? Маловероятно, чтобы у нее хватило сил нести все тяготы жизни жены рядового армейского офицера? Но за сегодняшний ее звонок, когда на душе так тошно, спасибо. Георгий смягчился и грустно пошутил:

— Героическое чаще всего совершается по стечению обстоятельств.

Бородатый швейцар, весь расписанный золотыми галунами, широко раскрыл массивную дверь. Выпятив грудь, он быстрыми наметанными глазами осмотрел молодых людей. По его оценке они не относились к лимонадной молодежи, и голова его с достоинством чуть подалась вперед, губы, скрытые в белых усах и бороде, выпустили сочное приглашение: «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста».

Мягкие ковры легче эскалатора потянули их вверх.

Они вошли в первый зал. Он был почти полон. Свободные места были только у прохода. Эдит отрицательно качнула головой, и они пошли в следующий. Она впереди, уверенно балансируя на высоких каблуках-шпильках, он сзади, украдкой любуясь ее изящными ногами и тонкой гибкой фигурой.

Пройдя мимо оркестра, они вошли во второй зал. Эдит чуть сбавила шаг, глазами пробежала по рядам столиков и, увидев в углу свободные места, направилась к ним.

Нудно, как с похмелья, затянул оркестр. На танцевальный круг вышло всего две пары: юнец с семнадцатилетней девушкой, склонившей на его впалую грудь фальшиво-скорбную головку, и тучный лысый дядя с дамой лет тридцати с небольшим.

Георгий пригласил Эдит. Та, чуть помедлив, согласилась. Весь танец они молчали. Заговорили снова, лишь когда удалился официант.

— Может быть, рюмку этого, — Георгий глазами показал на коньяк. — Чтобы вы быстрее забыли о моем дурном настроении.

— Вам хочется?

— Да.

— Тогда налейте полрюмки и разбавьте шампанским.

- Мою просьбу вы выполняете наполовину.
- Шампанское я пью за исполнение своих желаний.
- Какие они?
- Эдит подумала.
- Чтобы исчезло... «вы».
- Я согласен.

Через некоторое время к ним подошел Оскар с высокой девушкой в узком черном платье, плотно облегавшем ее развитое гибкое тело. Прическа «юность мира» однако не могла замаскировать ее тридцатилетие и расчетливый опыт. Оскар был уже заметно навеселе. Присев, он одним духом выпил налитую Георгием рюмку, закинул правую руку за спинку стула и спросил:

- Что, поговорим?
- Пожалуйста, — ответил Стрельцов.
- Капитан, скажи откровенно, ты готов жертвовать?
- Чем?
- Собой.
- Ради чего?
- Высшего идеала.
- Вашего или моего?
- Нашего. Мы одну землю топчем.
- Жертвовать собой за Родину, по меньшей мере, мой долг, и я готов его выполнить в любое время.
- В смысле заплатить за те суммы, которые вам выдают ежемесячно.

Сдерживая себя, Стрельцов медленно процедил:

— Мне было семнадцать, когда я добровольно ушел в армию. Я боялся не войны, на которой могут убить, а того, что она кончится раньше, чем меня выпустят из военного училища. Всего один месяц, но я ходил в атаки. Если бы кто-нибудь сказал мне, что в армию я рвался из-за лейтенантского жалования, он запомнил бы это на всю жизнь.

- Капитан, к чему сердиться?
- Не пытайтесь наступать мне на ноги.
- Добро, уговорились. Собственно, почему вы приписываете монополию на защиту страны военной касте? Нас тоже призовут. Мы тоже готовим себя к жертве.

— Как это вы делаете?

— Просто, без громких слов. Стремлюсь понять через созерцание и ощущение... Понимаете меня?!

— Нет.

— Красоту и прелесть человеческого бытия... на современном этапе развития общества.

— Туманно, Осик, — с усмешкой заметила Эдит.

— Обнаженная ясность уничтожает красоту. Вы были на выставке художников Фестиваля молодых? — обратился Оскар к Стрельцову.

— Да.

— И как?

— Мазня.

— Уже сотни тысяч, миллионы восхищаются новым отражением мира. А вы — мазня. Причина таких суждений в том, что большинство люда привыкло к старому реализму, поскольку он давал простые картинки — фотографии бытия. Посмотрел — ясно, думать не надо...

— Вас не заставляли думать картины Репина или Сурикова?

— Над ними не думают, их читают, коротко или долго — в зависимости от грамотности человека.

— Допустим, но от чтения возникают же какие-то мысли и чувства?

— Самые утилитарные: мальчик, слушайся маму, юноша, спеши на целинные земли. Реализм исчерпал себя. Простое время, простые чувства и мысли, какие были у людей до века атома и электроники, он выразил. Согласен — превосходно, и потому выше Репина никто из современных реалистов, несмотря на самые совершенные тренировки, не прыгнул. Чтобы выразить ткань чувств и мыслей современного человека, нужна новая живопись — лаконичная и неказистая на вид, как математическая формула, геометрическая фигура или причудливое сплетение линий радиоэлектронных приборов.

— В большинстве это не картины, а какие-то ребусы.

— Для некоторых. Новое надо научиться обозревать и понимать. Обычную, так называемую классическую живопись, например, тоже рекомендуют смотреть издали. Вблизи грубость красок разрушает иллюзию отраженной действительности. Старый реализм нуждается в том, чтобы на него глядели под определенным углом. Новое искусство также требует своего угла зрения. На новую картину открытыми глазами надо смотреть только один миг. Мозаика красок вызовет у вас определенные ощущения и ассоциации. Затем посмотрите на сим-

фонию красок через ресницы, и вам откроется весь удивительный мир, изображенный на новой картине.

— Вы знакомы с гносеологией? — спросил Стрельцов.

— Разумеется. По курсу гуманитарного заведения.

— Как же может изображение изуродованных лиц, фигур вызвать представление о действительности? Одноглазых, безлобых, лишенных элементарной пропорции существ нет.

— Представьте, — с превосходством заметил Оскар.

— В таком случае, они — патологические отклонения. Люди, в своем большинстве, видят красоту в изящных пропорциях.

— Так было тысячу лет. Наступило иное время. Оно меняет представление о пропорциях. Всего с десяток лет назад кубический или параллелепипедный дом, тем более дворец, вызывал у бородатых эстетов гримасу отвращения. Для них эти строения были шизофренией времени. Сейчас такие архитектурные решения становятся нормой. Придет время — и в живописи, а затем и в литературе появятся новые каноны.

— Мир никогда не примирится с уродством.

— Но если люди научатся в этом уродстве видеть мир прекрасного?

— В лучшем случае это будет горестное заблуждение немногих. Если нормальный человек после обозрения такой мазни представит себе нечто иное, прекрасное, соответствующее действительности, — значит, он просто-напросто вызовет эти представления в своем воображении на основе прежних впечатлений, прошлого опыта.

— Вы недурно знаете политграмоту, капитан. Но человеческая психология сложнее ее. Картина вызвала во мне представление, настроение, черт знает что еще. Она познакомила меня с чем-то новым, оригинальным. И я ей благодарен, склоняю перед ней голову.

— Живопись призвана писать жизнь — живых людей, живой мир. Что от жизни в хаосе красок, в мазне ослиного хвоста? Какое отношение имеет такое разнообразие к живописи?

— Такое же, как вот это, — Оскар широким жестом обвел зал. — Если бы здесь не было приятно, вы бы не пришли.

— Если так, то всю жизнь можно свести к жратве. Тогда уже человека трудно отличить от той, что хрюкает!

— Не горячитесь, капитан. Вы ушли от ответа.

— Нисколько. Как и многие здесь, я зашел поужинать. Целый день я и они занимались другим, главным.

— Работой? Но люди и работают-то для того, чтобы жить.

— Работу вы отделяете от жизни: работа для жизни. Это плохо прикрытая философия кормушки.

Эдит следила за спором с нарастающим вниманием. Она тоже считала: работа — для жизни. Удовлётворение в процессе работы находят только люди примитивные.

Но вот Георгий не примитивен, а думает и поступает, как те, о которых пишут в газетах. От этого он не становится схематично-однообразным. Наоборот, он значительно интереснее Оскара. Он горд иной, чем Оскар, гордостью и свои убеждения защищает с настоящей страстью. И, даже не совсем понимая его, ему веришь. А Осик, когда-то такой оригинальный, рядом с ним кажется глубокомысленным фиглярством.

Значит, красота — не в оригинальности. Красота — в устремленности к хорошему, тому хорошему, которое признается большинством людей.

Когда спор перекинулся в область литературы, Георгий, знавший жизнь шире и глубже, колотил Оскара, хотя и с легкой усмешкой, но беспощадно. Оригинальная независимость художника для Эдит казалась уже истрепанным лоскутом блеклой материи. И сам Оскар был весь чужой, от многих зависимый, даже от Георгия, коньяк которого он пил, и, конечно, от этой женщины с прической «юность мира», которая старше его годами и, судя по всему, надеется приручить его к себе.

Обострившийся спор заставил Эдит насторожиться. Оскар все чаще переводил злые глаза с Георгия на нее. В них была угроза: улыбайтесь, смеяться буду я.

— Наша литература ищет обтекаемых форм, — мрачно отбивался Оскар.

— Бывало и так. Но не литература, а только некоторые литераторы. И те лечатся. «Батальоны просят огня» Бондарева читали?

— Допустим.

— Читали или нет?

— Ну, нет.

— Первый раз слышу откровенное признание. Прочитайте. Вся повесть сварена из штыков, а они, если вы знаете, очень колются.

— Ерунда. Не может быть, чтобы позволили копать-ся в темных углах, там, где у всякого человека черти.

— Теперь понятно.

— Что?

— Фауст поступал по велению одного черта, вы — целой своры. — И пока Оскар отыскивал, чем бы ответить, Стрельцов добавил: — Вы ищете единоверных, видимо, потому, что одному неудобно чесаться, когда черти особенно беспокоят.

— Я их давно нашел! — Оскар победно встал. — А вы их... подобрали.

— Мерзостью защищаются отъявленные негодяи. Не бойся, бить не буду, можешь дожевывать спокойно, но без нас.

Не обмолвившись ни словом, Георгий и Эдит прошли от Арбата до Большого Каменного моста. Остановились у перил. Москва-река, украшенная отраженными огнями, сонно катила свои бурые воды. Из-под моста, отваливая водяные пласты, вынырнул белый теплоход. На верхней палубе было несколько пар. Некоторые стояли или сидели, тесно прижавшись друг к другу, иные стеснялись и старались держаться на почтительном расстоянии, но у всех было одно общее — душевная близость. Она вызвала у Эдит острое желание ощутить такую же близость с Георгием. Сегодня она возникла между ними. Оскар ее разрушил. Как ее вернуть? Сказать, что Оскар солгал? Но теперь уже поздно. Рассказать, что между ними было? Но Георгию и так ясно. Что же делать?

Георгий остановил такси. Вскоре они были у ее дома. Прощаясь, Эдит спросила:

— Ты ненавидишь меня?!

— Нет.

— Но и не любишь? — грустно и чуть вопросительно проговорила Эдит.

— Сегодня я был рад нашей встрече. Ее нам испортили. Я не собираюсь осуждать тебя. Но я не знаю, вер-

нутя ли ко мне те добрые чувства, которые ты вызывала у меня.

— Спасибо за правду. Разреши мне написать тебе, когда я поступлю в институт?

— Мы встретимся или я напишу сам... если смогу.

Во вторник Стрельцова снова вызвал начальник курса.

— Проходите, — пригласил полнощекый полковник с маленькими придирчивыми глазами. — Что сделали с дипломом?

— Пока ничего, — ответил Стрельцов.

— Почему?!

— Не могу решить, какие места переделывать.

— Вы военный человек и должны понимать, чем все это может кончиться. Я попрошу перенести защиту на неделю. Если к этому времени не успеете переделать, вините себя!

От начальника курса Стрельцов вышел надломленный. Что делать дальше? Стоять, пока добьют, или уклониться?

Уклониться — означало изменить в дипломной работе основные выводы, сделать их такими же или похожими на выводы полковника Монакова и пойти против Кучара.

Стрельцов знал, как именуются такие поступки, и его покорило. Оставить дипломную работу без изменения — значит не выполнить приказ: ведь требование начальника курса иначе понять нельзя. Где же выход? И он решил пойти к подполковнику Кучару, посоветоваться, попросить его, получить согласие сделать тактический ход, маневр, а после защиты опять вступить в бой.

В палату Кучара Стрельцов вошел, проклиная и себя и свое решение. Стыд и смущение еще больше усилились, оттого что подполковник встретил его радостно, как близкого.

— Спасибо, что навестили. Подыхаю от скуки. Читать не разрешают, думать тоже. Присаживайтесь. Что нового в академии?

— Меня сестра предупредила...

— Ничего. Я уже окреп.

Стрельцов рассказал о том, что объявился комбриг Душкин, что Монаков мечется, как заяц перед гибелью, что Вольфганг ходил к заместителю начальника академии...

— Что же сказал ему тот? — перебил Кучар.

— Пока спор не решен, посоветовал дипломную тему вывести на защиту по изведенной орбите.

Кучар задумался. На висках вздулись извилистые вены. Под теменем возникла колющая точка, которая стала быстро уходить куда-то вглубь, вызывая острую боль. Он встал, левой рукой обхватил лоб и зашагал по палате. Через несколько минут прилег. Стрельцов не решался попросить разрешения уйти. Молчание прервал сам Кучар.

— Вы чем-то озабочены?

— Ничего, товарищ подполковник, — хотел уклониться Стрельцов.

— Говорите, мне уже хорошо.

Стрельцов недоверчиво посмотрел на Кучара и рассказал о нависшей над ним угрозе.

— Что же?

— Столько лет вытягивал из себя жилы и не получить диплома...

— Так.

По глухому, недовольному тону, которым было произнесено это короткое слово, Стрельцов понял: подполковник догадался, с какой целью он навестил его. «Может, промолчать? Хотя он и догадался, но у него не будет в этом случае видимой причины отталкивать меня от себя. Со временем он забудет об этом и можно будет вернуть его расположение... И в конечном итоге, — круто изменив ход мысли, заключил Стрельцов, — оказаться не просто шкурником по обстоятельствам, а расчетливым, самоусовершенствованным! Нет! Говори прямо, с чем пришел, проверь свои сомнения и сделай так, чтоб никогда больше не тянуло тебя к подленькому соблазну».

— В тактике есть принцип: не удастся взять лобовым ударом, применяется обход. Без вас ни я, ни Майер дипломов не защитим. Что это для нас значит — вы понимаете... Если же изменить кое-что в тексте и конечные выводы, существо дипломной работы сохранится. На защите можно будет проскочить. А потом... обернуться троянским конем и снова напасть на них.

Кучар молчал долго, обдумывая сказанное капитаном, для которого защита дипломной работы была вопросом всей дальнейшей службы, а значит, и жизни. В той борьбе, которая идет в академии за новую теорию начального периода, жертва, то есть провал капитана, пусть даже громкий, мало что даст. Ему же, видимо, причинит много бед. Будь дело только в этом, можно было бы согласиться со слушателем. Но у Кучара не было уверенности, что тем самым он не приучит капитана отступать всегда, когда в жизни, и особенно на войне, встретятся трудности.

— То, что вы, капитан Стрельцов, назвали маневром, именуется по-другому: мягко — отступлением, точно же — сдачей в плен, пусть даже с твердым намерением совершить побег. Приучите себя к подобным маневрам, в бою всякий успех противника будет вам казаться катастрофой. А это — гибель не только вас, как командира, но и гибель многих ваших подчиненных. — Кучар посмотрел на Стрельцова, который склонил голову, скрывая прокушенную губу. — Не поймите, что мне нужна ваша жертва. Мною, кем ли другим теория будет доведена до конца и без вас. Но, сдавшись сейчас, может быть, у порога победы, вы всю жизнь потом будете проклинять себя и, наверное, перестанете быть Стрельцовым. Таким, каким я вас знал и уважал.

— Я не сдамся, — хрипло проговорил Стрельцов. — Если можете, забудьте все, что я вам говорил.

— Забыть? Постараюсь. Завтра же идите на прием к Полетову. Он расчистит вам дорогу к защите. Остальное зависит от вас. Теперь немного посидим молча, а потом вы мне еще что-нибудь расскажете.

Когда Стрельцов немного успокоился, Кучар в шутку спросил:

— Свадьба у вас не предполагается?

— Пока нет.

— Неужели у вас нет близкой девушки?

— Была.

— Кто она?

— Дочь... Монакова, — признался Стрельцов.

— Она в отца?

— Нет, но и не идеал.

— Едва ли вы найдете образ, созданный вашим

воображением. Важно — любите ли вы ее и сможет ли она не только любить, но и понимать вас?

— Не лучше ли жениться на скромной порядочной девушке, чем на сомнительном идеале?

— Чтобы потом мучить ее и себя! — услышал он в ответ чужой, натруженный голос.

Стрельцов робко взглянул на подполковника. Тот лежал с закрытыми глазами, плотно сжав челюсти. Капитану стала понятна опрометчивость высказанных им слов; он увидел, чего стоило подполковнику решение вернуться в семью.

10

Генерал Полетов возмутился, узнав о предполагаемом откомандировании Кучара из академии. Вопрос решали без него. Значит, или с ним не хотят считаться, или его хотели поставить перед совершившимся фактом, чтобы он не мог уже ничего изменить. Надо идти к начальнику академии, тем более что уже накопилось порядочно дел, требующих обстоятельного разговора. Он хотел доложить начальнику академии свое мнение о труде по начальному периоду войны, добиться разрешения на защиту дипломных работ Стрельцова и Майера, выяснить допустимые границы в спорах по теоретическим вопросам — это еще не было выяснено между ними, хотя они уже год работают вместе. А теперь вот еще Кучар...

Однако генерал не торопился на прием. Большой разговор требует большой подготовки. Он знал эрудицию начальника академии, его огромный опыт крупного военачальника и потому готовился к разговору основательно: изучил все написанное авторами труда, прочитал дипломные работы Стрельцова и Майера, узнал, что вопрос об откомандировании Кучара из академии уже находится в управлении кадров и вот-вот будет доложен Министру, перечитал необходимую литературу, которая могла пригодиться при разговоре.

При входе Полетова начальник академии, как обычно, встал из-за стола и вышел ему навстречу. В его нетвердых шагах, слабом рукопожатии — во всем была заметна навалившаяся на него старость. Только взгляд его умных глаз по-прежнему оставался твердым и проницательным.

— Как поохотились, Александр Иванович? — спросил Полетов.

Глаза начальника потеплели.

— Ничего. Добыл как раз норму. Три селезня все же ушли с мушки. Руки стали не те.

— С чем вернулись другие?

— Все хорошо. Дубков отличился. Гуся взял. Со штрафом. Говорит, забыл о запрете. Покупайте ружье. Отдых — царственный.

— К весне решусь.

— Охоты еще полтора месяца. Советую съездить, не пожалеете. Если рука не поднимается на дичь, посмотрите Волгу. Восхитительна.

— Пришлось посмотреть и покупаться в сорок втором.

— В сорок втором было не до ее красот, — убрав улыбку, проговорил начальник академии. После небольшой паузы произнес: — Так, — давая понять, что неофициальную часть разговора можно закончить.

— У меня несколько вопросов, Александр Иванович, если вы располагаете временем...

— Да.

— Мне стало известно, что подполковник Кучар откомандировывается из академии.

— Да, на стажировку.

— Нет, Александр Иванович. В войска он направляется с исключением из списков академии.

Морщины на лбу начальника академии сдвинулись у переносья. Выходит, ему неправильно доложили. Факт был настолько неприятным и редким, что в него не хотелось верить.

— Через год он будет отозван. Понадобится — и раньше. После болезни, говорят, ему надо отдохнуть.

— Откомандирование из академии для Кучара будет тяжелым ударом: он расценит его как наказание. За свою ошибку он получил сполна. То, что Кучар делает в разработке теории начального периода войны, — если подойти к этому без предубеждения — обязывает кафедру оставить его на месте и предоставить ему время для завершения монографии.

Во время длинной реплики Полетова начальник академии закрыл глаза и задумался. Слова Полетова подтверждали его догадку, что с разработкой монографии

о боевых действиях в начале войны у Дубкова не все благополучно.

Когда Полетов остановился, он спросил:

— Ведь Кучар работает в составе авторского коллектива?

— То, что он написал, отвергнуто генералом Дубковым. Автоматически его исключили из числа авторов, а его главы спешно переделываются.

— Неужели Дубков дошел до такой глупости — в одиночку решать, что в теории верно, а что нет?

— Его поддерживают профессор Монаков и еще кое-кто. Но с ними решительно не согласен генерал Звездин, серьезные возражения высказал полковник Саблин. Казалось бы, при таком положении следовало еще раз обсудить различные точки зрения и выяснить наиболее верную. Но Кирилл Платонович, объявив, что всю ответственность за труд берет на себя, принуждает всех писать так, как он считает правильным. А его взгляды в основном зиждятся на личном опыте и здравом смысле.

— То и другое для военного человека, в том числе и для теоретика, весьма полезные качества. Здравый смысл в командире Наполеон ценил больше образованности.

— Согласен с вами, здравый смысл нужен. Но полагаться только на него, когда военного человека все плотнее окружает сложнейшая техника, крайне опасно. Энгельс в свое время говорил, что ошибаются и здравомыслящие, когда в основе исследования лежит только один здравый человеческий смысл. А между тем именно этот смысл, да к тому же не совсем здравый, привел генерала Дубкова фактически к провалу в разработке труда о начальном периоде войны.

Оценка труда Полетовым расходилась с мнением другого заместителя, генерала Сизова, который только вчера доложил предварительный результат изучения рукописных материалов авторского коллектива. Тот был склонен к тому, что после некоторой доработки может получиться весьма нужный и ценный труд.

— По-вашему, целый коллектив во главе с опытным генералом ошибся, а подполковник Кучар, видевший войну в лучшем случае глазами полкового офицера, определил характер будущей войны и все вытекающие

отсюда стратегические и тактические задачи с точностью астронома. — Начальник академии чуть усмехнулся и добавил: — Вы знаете, закономерности боев, сражений и в целом войн довольно общи и релятивны. Как этого не заметили опытные преподаватели — Звездин и Саблин и не поправили Кучара.

— Я не могу поручиться за абсолютную точность теории Кучара. Но в том, что он заглянул в будущее дальше, а значит, ближе находится к истине, вполне уверен.

— Мне, конечно, трудно судить, кто из них в большей степени прав: мои суждения основаны на докладе Дмитрия Поликарповича. Все же мне не верится, чтобы целый авторский коллектив не сделал ничего полезного. Как бы ни были колоссальны изменения в средствах вооруженной борьбы, раз старые будут участвовать в ней и решать какие-то задачи, войска что-то возьмут из старых форм борьбы, пусть очень немного. Кучар, как мне доложили, отрицает все прошлое.

— Я не считаю теорию Кучара законченной. Однако отрицание им научных результатов генерала Дубкова и профессора Монакова верно. Если разрешите, я постараюсь коротко изложить свое понимание обеих теорий.

Начальник академии согласился не сразу. Второй раз ему приходится выслушивать мнения, не составив своего. Но откладывать разговор, когда обнаружились столь серьезные недостатки и разногласия, было нельзя. Кивком он разрешил Полетову говорить.

Привычно погладив розовую лысину широкой ладонью, Полетов начал излагать мнения сторон. Сначала, стараясь быть предельно точным, ничего не скрывая и не прибавляя от себя, он изложил положения и доказательства Дубкова и Монакова. Затем так же объективно и беспристрастно — Кучара. Такой прием, считал Полетов, позволит начальнику академии сравнить достоинства и недостатки обеих теорий и выработать свое мнение о них.

По мере того как Полетов углублялся в сущность проблемы, выражение недоверия постепенно исчезало с лица начальника академии. Видно было, что он обдумывает и тут же на лету оценивает доказательства обеих сторон. Сначала он делал пометки карандашом у

себя в блокноте. Но когда существо метода исследования Кучара было им уяснено, он отложил карандаш и удобно откинулся на спинку кресла. Немного погодя он снова взял карандаш и начал постукивать им по столу. На его лице появилось сдерживаемое недовольство. Ему было досадно, что он очутился в таком неудобном положении. Час назад он выгораживал Дубкова, а через несколько минут, видимо, придется менять свое мнение и о Дубкове и о Кучаре. Давно уже выработав для себя правило принимать решения основательно, на длительное время, он не мог простить себе такого промаха. Не мог простить и тем, кто ввел его в заблуждение.

Полетов еще говорил, когда начальник академии нажал кнопку. В приемной отозвался звонок, продолжительный, недовольный.

— Вызовите генерала Дубкова и Дмитрия Поликарповича, — приказал он вошедшему адъютанту.

Первым явился заместитель. Поклонившись, он с непринужденной улыбкой прошел к указанному месту.

Генерал Дубков, услышав, что его вызывают вместе с Дмитрием Поликарповичем, с силой потянул побелевшим носом воздух, стараясь освободиться от налетевшего испуга.

В приемной, чтобы окончательно отогнать недоброе предчувствие, спросил адъютанта:

— За чем меня вызывает Александр Иванович?

Адъютант пожал плечами.

Выпрямившись и одернув рукава кителя, Дубков постучал в дверь и четким шагом вошел в кабинет.

Начальник академии прервал его доклад. Встал, но не вышел навстречу. Поздоровался через стол. Все это Дубков отметил про себя, собираясь с духом, чтобы перенести неизбежный удар.

После небольшой паузы начальник академии обратился к заместителю:

— Дмитрий Поликарпович, вы читали материалы подполковника Кучара?

— Только то, что им написано для монографии, разрабатываемой авторским коллективом под руководством Кирилла Платоновича, — промолвил тот нетвердо, услышав жесткие нотки в голосе начальника академии. — Сейчас знакомлюсь с другими его рукописными мате-

риалами и встретил уже ряд весьма интересных мыслей.

Дубков наклонил голову и подумал: «Заплясал отходную. Ну, держись, Кирилл!»

— А вы? — обратился к нему начальник академии.

— Все читал.

— Доложите ваше понимание его взглядов и ваши опровержения.

— Я читал давно. Разрешите минут пять подумать?

— Пожалуйста, хоть десять. Мы выпьем чаю.

Дубков склонился над листом бумаги. Написал основные вопросы, посередине листа провел линию. Поле слева — для взглядов Кучара, поле справа — для своих опровержений. Поставил цифру «1». Еще раз записал содержание первого вопроса. Но ни один из десятков сложных расчетов не воскресал в памяти. А без них опровергать Кучара, сознавал Дубков, бесполезно. Показать себя недостаточно осведомленным в том, что разрабатывал его подчиненный, было еще хуже, Дубков решил обойти трудные места и поспешно стал записывать справа основные выводы Кучара, а слева делать свои пометки.

Прошло десять минут, и Дубкову пришлось попросить еще пять. Наконец поставил последнюю точку. Пробежал глазами свои записи, но они показались ему недостаточно убедительными, и он стал читать их еще раз, чтобы кое-что поправить и добавить. Перечитывая, он вдруг ясно понял, что в его доводах и опровержениях лишь видимость доказательств. По сравнению с убедительной логикой Кучара рассуждения Монакова и его самого — просто набор трескучих слов. Щеголять ими перед начальником академии, если тот прочитал монографию Кучара, было бы смешно. Нет, лучше оказаться битым, чем смешным. «Взгляды Кучара надо доложить как можно полнее, показать, что в них хорошо разобрался. Главный довод против них — они пригодятся не сегодня и даже не завтра».

Придя к такому решению, Дубков встал, доложил о своей готовности. Генералы повернулись к нему.

Смысл взглядов Кучара Кирилл Платонович изложил довольно обстоятельно и верно. Единственно, что он позволил себе, это подчеркнуть, что они могут быть полезными лишь в довольно отдаленном будущем. Окончив, он

опустился на стул. Судя по выражению лиц генералов, своим докладом он произвел неплохое впечатление.

Первым заговорил начальник академии.

— Видите, Кирилл Платонович, когда о противнике скажут правду, он представляется совсем иным.

Дубков наклонил голову.

— Кирилл Платонович, — обратился Полетов. — Судя по вашему докладу, вы вполне разобрались в суждениях Кучара, видите в них много полезного. Почему же вы решили от него избавиться?

— Вы отлично знаете, он сам себя скомпрометировал. Его проступок должен был быть наказан. К тому же я считаю, ему самому лучше некоторое время побыть среди людей, которые не знают его истории.

— Вы добились не временного откомандирования, а исключения его из списков. На практику, но без возвращения в академию.

— Во-первых, я не считаю службу в строю позорной для преподавателя академии. Во-вторых, он с не меньшим успехом может работать над монографией и там.

— Но согласитесь, она была бы окончена значительно позже, чем надо.

— Ну... на полгода, год.

— Значит, между откомандированием Кучара и зажимом его работы ничего общего нет?

— Нет.

— Как же понять ваше решение не допускать к защите дипломантов капитана Стрельцова и капитана Майера?

Дубков молчал.

— По инструкции дипломанты могут выносить на защиту то, с чем они пришли, разобравшись в теме.

— Выпускать на защиту перед государственной комиссией то, что выходит за рамки программы и официальных положений, значит, ставить не только кафедру, но и академию в неловкое положение. В акте могут записать, что в академии учат не тому, чему надо. Как докладывали мне, такие случаи были.

— Были, — подтвердил начальник академии. — Были и остались только случаями. — Как же вы, Дмитрий Поликарпович, просмотрели всю эту возню на кафедре?

Вопрос был задан столь неожиданно, что заместитель вздрогнул.

— Я, товарищ генерал, — залепетал тот, — был на научном сообщении. Рассчитывал, как только труд будет доведен до авторской готовности, изучить его.

— А предписание откомандировать Кучара?

— Кирилл Платонович настоял... Он хозяин кафедры.

— А вы были хозяином академии, — сухо и насмешливо возразил начальник академии, как бы говоря: «Вам ли, такому большому генералу, оправдываться подобным образом!» При этом он окинул своего заместителя таким взглядом, что тот почувствовал, будто по его телу прошли металлической щеткой. Сизов невольно оторвался от стула и приподнялся.

— Сидите.

— Решение будет такое, — с заметной усталостью проговорил начальник академии и, подумав немного, продолжал: — Монографию Кучара размножить в том виде, как она есть. Позвоните ему, Дмитрий Поликарпович, и спросите разрешения. Скажите, я прошу. В срочном порядке изучить ее всем членам Ученого совета и преподавателям и быть готовым высказать свое мнение на расширенном заседании совета. Это один вопрос. Второй — надо разобраться, почему в академии стало возможным применение недозволенных приемов научной борьбы. Доклад об этом прошу подготовить вас, Николай Николаевич.

— Слушаюсь, — ответил Полетов. Он хотел уточнить срок, но видя, что начальник академии о чем-то размышляет, промолчал.

— Любопытно, — промолвил начальник академии, все еще думая, — вроде умный вы человек, генерал Дубков; а поступаете порой так, что диву даешься. Почему вы тесните тех, кто пытается думать чуть-чуть иначе, чем вы?

Разбитый обрушившимися ударами Дубков понял, что многое из того, что он недавно считал верным, теперь стало в значительной степени неправильным, устаревшим.

— Академия, считаю я, готовит военных людей, командиров, — начал он, собрав все силы, чтобы сохранить достоинство военачальника. — Многие слушатели будут ими. А качества волевого командира вырабатываются не лекциями, а всем укладом воинской службы, примером, который показывают старшие, осуществляя

на практической работе проверенные многими войнами принципы. Ганнибал разбил римлян потому, что у них было два начальника. Союзники под Аустерлицем потерпели поражение потому, что командующих и советчиков было еще больше. У нас тоже долгое время держались за двух начальников. Отказались.

В современных условиях, когда участь не одного солдата, а целых частей и соединений будет решаться в минуты, а порой и в секунды, всякие согласования пагубны. Стало быть, коллегиальность недопустима там, где полнота ответственности, а значит, и свобода в действиях должна быть представлена одному человеку.

— Генерал Дубков, — спокойно обратился начальник академии. — Вы Людендорфа читали? Этот генерал объясняет поражения немецкой армии в первой мировой войне тем, что военным не была предоставлена полная свобода действий. Теперь сравните то, что вы нам сказали, с тем, что написал Людендорф. Почти полное совпадение.

Замечание начальника академии раскрыло Дубкову опасную несостоятельность его взглядов. Когда-то во время войны он, не обратив внимания на предупреждения солдата, проскочил на «виллисе» за передний край и чуть было не попал в руки противника. Тогда все обошлось благополучно. Теперь он опять проскочил линию, но другого, идеологического фронта и оказался рядом с самым реакционным немецким генералом, учеников которого он бил в их же казармах. Назад надо...

— Как же понимать тогда... единоначалие? — попытался еще раз оправдаться Дубков, чувствуя, как шевелятся на голове редкие волосы. — Беспрекословное повиновение позволило немцам создать крепкую боевую машину. Помните, Сталин во время войны даже призывал кое-чему у них поучиться.

— Кирилл Платонович, — с горьким сожалением отозвался Полетов, — до сих пор не понять существа нашего коммунистического единоначалия... непростительно. Партия не собирается упразднить принцип единоначалия. Она будет его укреплять и дальше, вырабатывая у командиров глубокую партийность, высокую требовательность к себе и к подчиненным, повышая их воинское мастерство. Но укреплять — не значит прощать ошибки. Ведь без критики ошибок политически недалекие коман-

диры нередко скатываются к произволу. Удержать авторитет такого командира невозможно самыми крепкими подпорками. Авторитет голый власти был отвергнут на октябрьском Пленуме ЦК вместе с ее главным защитником. А вы все еще пытаетесь отстаивать его.

— Единоначалие в наше время, генерал Дубков, — сказал начальник академии, — когда в армии столько сложнейшей техники, — это, если хотите, умение извлечь из всех специалистов и рядовых исполнителей все, что они могут дать, и своим решением направить это к достижению избранной цели. Извлекать всегда легко, когда человек сам предлагает все, что у него есть лучшего. Но если вы для людей просто лицо, занимающее должность, к тому же плохо использующее предоставляемую власть, много они вам не дадут. И прекратим пока эту дискуссию...

11

Беды так и сыпались на генерала Дубкова. И хотя за свою тридцатилетнюю службу он перенес их немало и был достаточно закален, последние были для него особенно тяжелыми именно потому, что он сам же обрушил их на свою немолодую голову.

Вопреки надеждам дочь так и не вернулась домой. Лишь один раз в его отсутствие она заглянула к ним и сказала, что вышла замуж. «Вышла без согласия родителей. И поделом, сам, своими же руками оторвал ее от себя и выпроводил за дверь».

Еще горше были другие события.

Как участника описанного Монаковым сражения, Душкина недели две тому назад попросили прочитать главы, написанные профессором. Спустя два дня он пришел в кабинет начальника кафедры весь взъерошенный, колкий, будто обросший острыми шипами.

— Добрый день, Николай Степанович, — обратился к нему Дубков, видя, что тот забыл даже поздороваться.

— Прошу извинить. Здравствуйте. Если разрешите, я начну изложение своих замечаний?

— Как вам угодно.

— То, что написал полковник Монаков, — сразу потеряв сдержанность, начал Душкин, — вымысел! Иных слов я и не могу употребить, извините! Мне трудно вам сейчас это доказать, но поверьте человеку, который ни

разу в жизни не лгал. Я не думаю ни о каком благополучии — оно мне не нужно. Весь смысл оставшихся на мою долю дней состоит в том, чтобы восстановить правду и снять с себя клевету. Навсегда. Чтобы имя Душкина после его смерти не трепал какой-нибудь неосведомленный Монаков.

Не верить Душкину Дубков не мог. Слишком много перенес этот человек на двух войнах и в плену, чтобы на исходе жизни соблазниться ложью. Подавленный приближающимся неминуемым позором, Кирилл. Платонович возразил ему, скорее, машинально, чтобы как-то отгородиться от Монакова, а не поставить под сомнение то, что сказал Душкин:

— Полковник Монаков тоже участвовал в описываемом им сражении.

— Значит, он лишенный чести офицер.

— Если вы докажете... от души пожму вашу руку.

— Докажу. В Брянскую область направляется экспедиция искать зарытые в землю документы штаба корпуса. В Киеве живет бывший командующий армией. Я ему написал письмо. Во избежание неприятностей советую не спешить с опубликованием сочинения Монакова.

— Могу сообщить вам, оно вообще не будет опубликовано, — обреченно проговорил Дубков.

Район, где семнадцать лет назад героически погибли десятки тысяч людей из корпуса Душкина, был совсем уже не таким, каким он сохранился в памяти комбрига. Близлежащие деревни разрослись, обновились. На окраинах под черепичными крышами стояли длинные белые скотные дворы. Весело поблескивали чисто вымытыми стеклами дома колхозников. Только церковь имела довольно неприглядный вид: крест из позолоченного стал бурым, купол колокольни порыжел от ржавчины и во многих местах прохудился, беленые стены облупились, и грязно-оранжевые кирпичи выглядывали из них, как верблюжья шерсть из дырявой подкладки.

Лес тоже отступил от деревни. Желтое пшеничное поле бороздил красный самоходный комбайн.

В первые дни поисков Душкин держался стойко, хотя каждая вырытая солдатами яма казалась ему огромным искривленным в издевательской усмешке ртом.

Несмотря на невероятную усталость, ночами он не мог спокойно спать. Сотни раз вспоминал тот вечер, когда по его приказу закапывали документы и знамена. Но слишком многое отпечаталось с тех пор в его мозгу, и отыскать нужное сейчас было нелегко.

На рассвете Душкин вышел из дома. Желтоватый восток, плотная тень леса, силуэты деревни чем-то напомнили ему давний вечер. Он вышел за огороды, осмотрелся и над зубчатой стеной леса увидел верхушку старого криворукого дуба. Душкин припомнил, что сначала намеревался зарыть ящики вблизи него. Потом раздумал — дуб слишком заметный ориентир — и приказал пройти по тропе глубже в лес.

И он заторопился к лесу. Но возле дуба не было никакой тропы. Он упал на колени и пополз по траве. Между листвой и былинками разглядел пунктирную стежку подорожника, которая уходила в глубь леса.

Через полчаса на лесной поляне, одной стороной спускавшейся по косогору к речке, он отыскал ориентир и по нему — вмятину в земле. Обессиленный, он присел к дереву и очнулся лишь тогда, когда поднявшееся солнце нашло в густых ветвях просвет и согрело его своими мягкими утренними лучами.

Монаков вошел в комнату партийного бюро, обвел всех просиявшим взглядом и задержал свои выпуклые глаза на Звездине.

Несколько в сторонке от членов партийного бюро, у самого окна, сидело двое гражданских: в одном Монаков узнал Душкина, другого не успел рассмотреть.

— Мы вас пригласили, Семен Семенович, чтобы выяснить, почему в описании известного вам сражения вы допустили неточности, а местами даже грубые искажения действительности.

Монаков молчал, собираясь с мыслями.

— Видите ли, — начал он, попеременно заглядывая в глаза членам партийного бюро. — Любой боевой документ не в состоянии отразить многообразия происходивших операций и событий. Еще Лев Николаевич Толстой, касаясь героического поступка генерала Раевского и его сыновей на мосту в Смоленске, поставил под сомнение, что все произошло именно так. Ибо в бою люди не все-

гда замечают, кто и когда совершает героическое, а видят лишь то, что происходит непосредственно вокруг них, и окончательный итог сражения. К тому же надо учесть, что операцию я описывал при минимальном количестве документов. При такой опорной сети, как говорят топографы, легко допустить ошибку. Я ее и допустил.

— Вы были очевидцем сражения...

— Был, Иван Васильевич. Но следует учесть — сражение было очень давно. Из памяти любого человека могут выпасть не только второстепенные, но и весьма важные детали.

— В вашем описании и выводах есть такие места, которые нельзя назвать только ошибками. В них — искажение истины, такие домыслы, которые никак не вяжутся с документами, имевшимися в вашем распоряжении.

Монаков взглянул на Звездина. «Какой он сегодня суровый! Да и Саблин не пожалеет». Осторожно втянув вздрагивающими ноздрями воздух, он заговорил с отчаянной решимостью:

— В самом начале исследования я высказал Кириллу Платоновичу ряд мыслей, которые мало чем отличались от выводов подполковника Кучара. Пробовал отстаивать их. Но... изменить убеждения Кирилла Платоновича... оказалось невозможно. Как военный человек, я был вынужден... подчиниться. Научное выражение этого — поиск убедительных обоснований, подтверждений, доказательств...

— Проще говоря, — гневно прервал Саблин, — поиск выдумок и ловких искажений! Знаете, как это называется? — И, не получив ответа, сам добавил: — Научное шулерство!

Звездин остановил Саблина. Раскрывать перед Монаковым все, что знало партийное бюро, было еще рано.

— Вы меня знаете? — отозвался незнакомый голос от окна.

— Вы, товарищ командующий?!

— Что, изменился?

— Да... очень.

— Не удивительно. Ведь прошло семнадцать лет. Было время и состариться, было время и о многом по-

размыслить... Семен Семенович, помните тот вечер, когда танки противника прорвались к штабу армии?

— Да, тогда погиб начальник штаба, многие офицеры; если бы не ваши энергичные меры, последствия были бы еще более печальными.

— Куда вы отвели штаб?

— В полосу корпуса Душкина, как вы мне приказали.

— Что произошло потом?

— Я потерял связь с вами.

— Когда возникла угроза окружения корпуса Душкина?

— Примерно в середине второго дня операции.

— Почему же вы не приняли должных мер, чтобы воспрепятствовать окружению?

— У меня не было сил.

— Тогда надо было отвести корпус.

— Вы собирались нанести контрудар.

— При условии, если удержим реку Сужень. Когда это условие исчезло?

— На второй день утром.

— Вы, начальник оперативного отдела, офицер с высшим военным образованием, тогда могли сделать такой же вывод?

— Я сделал. Но отдавать приказ на отход имели право только вы.

— Я, — горько проговорил Фролов. — Имел, но не мог. С вами ушли все средства управления. У вас было все, и вы ничего не сделали.

— На третий день я подготовил приказ...

— А что мне сказали, когда я вас нашел? «Приказ был отдан, но комбриг Душкин сдал корпус в плен». Корпус же еще десять дней вел бои.

— Я поверил листовкам противника...

— Потому что хотели поверить! — внезапно побавровев, выпалил Фролов. — Знали, придется оправдываться. Тогда ранение помогло вам укрыться в тылу. Но тысячи погибших все эти годы обвиняли вас. И вот результат: чтобы оправдать себя, вы исказили историю сражения.

Раздался стук в дверь, и в кабинет Кирилла Платоновича вошел согнувшийся, одряхлевший Монаков.

— Кирилл Платонович, — начал полковник дрожащим голосом. — У каждого человека, видимо, бывают минуты, когда он лишен возможности... управлять своими чувствами. Со многими это было, особенно в сорок первом. То же случилось и со мной. Потом до самого ранения я честно выполнял свой воинский долг...

— Что вам от меня надо? — перебил его Кирилл Платонович.

— Мне кажется, такого сурового наказания, как исключение из партии, достаточно за одну ошибку. Помогите мне остаться в армии... в академии, — робко пролепетал Монаков, видя покрасневшие от гнева глаза начальника кафедры.

— Рассчитали, что запутавшись с вами в одном деле, я пойду и дальше по той же дорожке? Нет! За свое я получу то, что заслужил. — Дубков встал, уперся сжатыми кулаками в край стола и прохрипел: — А вы уходите! И чтобы я вас больше здесь не видел!

Трясущимися руками Монаков открыл дверь и выскочил из кабинета.

Дубков, с избытком хватив позора, стоял остолебеневший, не в силах даже подумать, как можно восстановить у людей доброе мнение о себе.

12

В начале второго месяца пребывания в госпитале Кучар почувствовал себя не только вполне здоровым, но и отдохнувшим. А лечащий врач все еще держал его под своим контролем и даже не называл срока выписки. Самое большее, на что он согласился, это перевести его в общую палату. А вскоре врач разрешил ему ходить по всему отделению и читать сколько хочется, видимо зная, что госпитальная обстановка не особенно предрасполагает к этому занятию.

Дня три Игнат присматривался и прислушивался к больным. Многие из них были фронтовиками. Часами они вспоминали боевые годы, рассказывали о подвигах, совершенных и несовершенных.

В минуты затишья Кучар возвращался к мысли о семье. Пытался представить себе сына, а видел только дочь. Видел и Лизу. Как ни вытесняла ее Ася, воспоминание о которой все еще болью отзывалось в сердце, Лиза осталась в нем — ушла в самую глубину, сжалась,

замерла, но сохранилась. Когда Лиза появлялась такой, какой пришла в первый раз в госпиталь, он старался удержать ее в памяти, рассматривал, искал большего, чем успел увидеть в короткие минуты ее посещений. Но лишь только она казалась ему прежней, сразу отворачивался и открывал глаза.

С трудом верилось в изменение Лизы к лучшему, и все же тоска по ней, как запах дыма домашнего очага после долгого скитания, потянула его домой.

После консилиума Кучара наконец выписали. Пока добирался до Калужской заставы, хотелось ехать быстрее. А попал в свой район — испугался близкой встречи: вдруг все произойдет не так, как хочется.

На перекрестке Ленинского и Университетского проспектов он сошел с автобуса и к Черемушкам направился пешком, чтобы успокоиться и подготовить себя к встрече. От угла дома с криком: «Папка!» — к нему бросилась дочь. Кучар увидел — прямо на нее мчался автобус. Гибель казалась неминуемой, но шофер резко затормозил и повернул машину вправо. Игнат подхватил Таню на руки и, шатаясь от испуга, пошел к дому. А девочка, не сознавая, как близка была от смерти, обхватила его за шею и, плача от радости, повторяла: «Папка, папка».

— Ты почему не дома? Я же позвонил — скоро буду, — все еще с дрожью в голосе упрекнул Игнат.

— Мама разрешила, — оправдывалась Таня, почувствовав свою вину и видя, что отец сердится.

— Наверное, во дворе?

— Да.

— Зачем же ты вышла на улицу?

— Тебя встречать. Позвонил — а все нет и нет.

— Тебя чуть машина не задавила.

Дочь промолчала, от радости плохо сознавая пережитую опасность. Игнат недовольно подумал о Лизе: «Как она могла выпустить дочь одну? Ясно ведь — во дворе ее не заставишь ждать отца». Но через несколько шагов, поймав себя на желании упрекнуть жену, он решил: «Если хочешь примирения, даже упоминать о происшедшем на улице случае не нужно».

Кнопку звонка нажала дочь. Звонила долго, как для торжественного сбора. Дверь открыла Лиза, радостная и встревоженная.

— Мой папка, мой папка! — приплясывая на руках

отца, закричала Таня. Ее звонкий радостный крик тут же разрядил натянутость между Игнатом и Лизой.

— Тише, Таня, братика разбудишь, — упрекнула ее ласково мать.

— Не дам папку, мой папка! — с шаловливым упорством твердила дочь.

— А как же наш Петрусь будет жить без папки? Ты его любишь?

— Люблю.

— Дай нам посмотреть братика.

Игнат взглянул на Лизу. Та отвела глаза, и он понял истинный смысл ее слов: она позволяла ему не целовать себя, если он не может, согласна подождать. Поставив дочь на пол, он подошел к Лизе. Голова ее медленно склонилась к нему на грудь. Плечи дрогнули. Скрывая слезы, она сильнее прижалась лбом к его жесткому кителю. Игнат постоял секунду, потом нагнулся и через завитушки волос поцеловал ее в затылок. Ноги Лизы, измученной долгим ожиданием такой ласки и тревогами за детей и за себя, подкосились. Игнат подхватил ее и, как девочку, поднял на руки.

— Успокойся. Успокойся, Лиза, — попросил он. — Я вернулся. Больше со мной ничего не случится.

Эти слова имели двойной смысл: он вернулся из госпиталя и из долгих блужданий вдали от семьи; он вылечился — и вылечился окончательно, больше он никуда от нее не уйдет и никогда больше не огорчит ее. Лиза поняла: Игнат говорит о том, что вернулся домой навсегда и никто, кроме нее и детей, ему не нужен.

Дочь с недоумением смотрела на них. И, не понимая, почему плачет мать и что говорит отец, она заторопила их:

— Мама, ты же хотела показать братика! Мама!

Лиза вытерла слезы и подошла к кровати. Лобастый, с черными редкими волосами, сын ровно дышал, безразличный ко всему: к сестре, к матери, к отцу и даже к собственному существованию. Освобожденный от пеленок, он поднял вверх руки со сжатыми в кулачки бело-розовыми пальцами и засучил ногами. Почувствовав холод, он недовольно закричал, скривив в обиде губы.

— Перед твоим приходом меняла пеленки, и опять напрудил.

— Давай я его подержу.

Игнат поднял сына на своих широких ладонях и еще раз осмотрел от ножек до серо-синих глаз. «Человек, — подумал Игнат. — Может быть, на его долю не выпадут те мытарства и несчастья, которые достались нам? Хотя бы...»

Игнат положил сына на свежую пеленку, Лиза вернула его, и он тут же уснул.

— Много кричит?

— Нет. Молчаливый, как и ты.

В дверь постучали, вошел сосед.

— С возвращением... — приветствовал он тихо, взглянув в глаза Игнату и стараясь узнать — всей ли душой его друг вернулся в семью.

— Спасибо, — ответил Кучар.

— Сыном любовался? Покрупней тебя будет. Закричит — на восьмом этаже слышно. Только скоро перестану слышать его голос... С новостью я к вам. Мне дают квартиру, вам — нашу комнату...

— Далеко уедете?

— Далеко, в Мазилово.

— Скоро будет прямой путь, двадцать минут — и у нас.

— А вы у нас?

Игнат понял: друг спрашивал — намерен ли он помнить обиду, причиненную ему его женой.

— Как всегда.

Сосед ушел.

— Игнаша, открой бутылки и консервы, пока я принесу обед.

Через пять минут все уже было на столе. Все самое любимое Игнатом.

Игнат налил себе столичной, Лизе цинандали. Поднял рюмку, задумался.

— За сына, — предложила Лиза.

— Нет. За тебя, за твое терпение.

По спине Стрельцова пробежал холодок, он выгнулся, будто под лопатку ему вошла толстая игла, когда в класс, где ему предстояло защищать дипломную работу, вошли председатель государственной комиссии —

приземистый генерал армии, за ним начальник академии, Полетов, хмурый Дубков и еще несколько человек из состава государственной комиссии. Председатель подкомиссии — молодой полковник с черной щеткой коротко подстриженных усов — без суетливости вышел из-за стола, сомкнул ноги, выпрямился и только тогда направился к генералу коротким шагом, в котором была и юношеская легкость, и ранняя, чуть-чуть самоуверенная зрелость. После доклада он подождал, пока генералы усядутся, отошел к своему столу и оттуда попросил разрешения начать защиту.

— Если капитан готов... Как фамилия? — спросил генерал армии.

— Капитан Стрельцов, — немного вскинув подбородок, ответил слушатель.

— Огневая, военная фамилия. Посмотрим, сколько в тебе огня.

Стрельцов слегка кашлянул в кулак и начал свой доклад.

От волнения голос его звучал то фистулой, то баритоном, руки противно дрожали. Чтобы овладеть собой, капитан вцепился пальцами в края переносной кафедры и лишь изредка, точно на ослепительные юпитеры, вскидывал глаза на генералов.

Внимание, с которым его слушали, ободрило Стрельцова. Скованность прошла, и он заговорил голосом, полным убеждения и веры в правильность своей работы.

Председатель подкомиссии с несколько преувеличенной серьезностью минут пятнадцать слушал доклад, отмечая в памяти, что нового по сравнению с дипломной работой внес в него слушатель. Только потом взглянул на председателя комиссии. Он знал его как ревностного блюстителя уставов. Дипломант же многое из того, что было записано в уставе, опровергал. И опровергал обоснованно. Видимо, будет бой, не случайно же на защиту пришло столько высокопоставленных лиц. Полковник упрямо нагнул голову и чуть-чуть улыбнулся: «Ну что ж, бой так бой!»

Тридцать минут пролетели быстро. Капитан Стрельцов заканчивал свой доклад. От легкой усталости лицо его побледнело.

Полковник встал и с прежней подчеркнутой неторопливостью спросил, у кого есть к дипломанту вопросы.

Члены подкомиссии задали всего по одному вопросу, председатель государственной комиссии — целых четыре и два — начальник академии. Генерал Дубков промолчал. Слушатели, у которых были подготовлены вопросы-поддавки, то есть такие, ответами на которые можно дополнить доклад, тоже промолчали: дипломант мог обойтись и без них.

По заведенному правилу первыми в обсуждении выступили слушатели. Они не только выявили достоинства дипломной работы, но и не в меру красочно расписали самого Стрельцова, вероятно считая, что перехвалить придирчивым приемщикам своего товарища не вредно, ибо сами приемщики не щедры на оценки.

Член подкомиссии — преподаватель из другой академии — пошутил над слишком усердной защитой дипломанта товарищами и высказал свое сомнение в приемлемости рекомендаций капитана.

Офицер из войск согласился с представителем от научного учреждения.

Настала очередь председателя. Мнений пять — и все разные. Надо привести их к общему знаменателю, а затем определить: дипломная работа стоит столько-то.

Не будь высоких представителей, расчет провести было бы несложно: доводы членов подкомиссии не могли выдержать серьезного опровержения. Возражения в рецензии кафедры весомы, но в них сегодняшний день. Как парировать возражения генерала армии, если он поддержит начальника кафедры?

Затянувшееся раздумье полковника заставило генерала армии поторопить его:

— По чину, полковник, дело за вами. А потом уж мне, бить капитана или хвалить. Давайте.

По голосу вроде выходило — генерал больше склонен бить, чем хвалить. Чтобы убедиться в этом, полковник взглянул на него. Но тот уже отвернулся к начальнику академии, о чем-то советуясь с ним.

Полковник в знак согласия чуть нагнул голову и подошел к демонстрационным схемам слушателя.

— Товарищи генералы и офицеры, — обратился он, переключая указку из левой руки в правую. — Мои коллеги по приему дипломной работы очень дружно показали слушателю в праве — я так расцениваю их возражения — излагать взгляды, которые перешагивают

официальный рубикон. Если мы, старшие, будем одергивать младших за то, что они высказали не то, к чему мы давно привыкли, значит, мы никогда не воспитаем мыслящего офицера. Теперь по существу.

Кафедра, члены подкомиссии считают, что продвижение небольших групп войск по направлениям неизбежно приведет к их распылению, к повторению некоторых ошибок зимнего наступления сорок первого года.

Говорить так — значит не понимать характера нашего технического и экономического развития в ближайшие 2—3 года.

Дубков потемнел: выслушивать упрек от полковника было горько. Как и Кучар, полковник был прав. «Интересно, знал он о взглядах Кучара или сам пришел к тем же выводам? А не все ли равно? Я ведь знал, знал и не согласился. Почему? Старикам труднее понять новое? В чем причина? Я не меньше их хотел и хочу добра для людей. Видно, опыт для стариков — густая сеть, которая мешает разглядеть даль. Но для чего-то люди учат историю? Значит, прошлый опыт нужен? А мой нет? Он не беднее опыта других. Значит, должен пригодиться. Хотя бы вот для того, чтобы удержать вот таких горячих от прожектерских ошибок. Этот тоже, как Кучар, собирается воевать только новыми средствами. Не получится!»

Когда полковник кончил, Дубков приподнял узловатую ладонь, прося слова.

— Я не знаю войн, — начал он хмуро, — в которых бы стороны воевали только новым оружием. Допускаю, через 2—3 года у нас будет много ракет и ядерных снарядов широкого диапазона. Но они не вытеснят дивизий и полков, которые могут и будут продвигаться по земле с присущими им возможностями и особенностями. Несколько быстрее, но все же применяя обходы, охваты и даже атакуя противника в лоб. Одним движением бой не выиграешь. Да, сейчас надо рассредоточиваться — это всем теперь ясно. Я против неограниченного рассредоточения. В ближнем бою поражение противнику будет наноситься в основном обычным вооружением. Надо его совершенствовать, учить отлично владеть им.

После Дубкова вторично выступили члены подкомиссии. За ними снова полковник. В остром споре дипломант, казалось, был забыт. Но он не был в обиде. От-

стаивая свою правоту, все спорящие признавали верность многих его рекомендаций. Вот полковник рассказывает об учении, на котором отдельные группы войск успешно действовали на самостоятельных направлениях. Его с интересом спрашивают начальник академии, генерал армии. По всему выходит, оценка будет высокой... И вдруг генерал армии вспомнил о дипломанте.

— Мы здесь деремся, а он в стороне. Не годится. Вы что же, капитан, против уставов?

Стрельцов вскочил.

— Нет, товарищ генерал армии. Устав — это коллективный ум армии и единый ее язык. Без его знания не может быть быстрого и правильного понимания между военнослужащими. Однако жизнь сейчас развивается так, что надо обновлять уставные положения через каждые два-три года. Чтобы это стало возможным, научная мысль должна с упреждением готовить свои рекомендации.

— Что ж, думаете вы верно. Благодарю вас, капитан. И вас, полковник. А вас, подполковник, — обратился он к члену подкомиссии, — нет. Капитан, защищая свою дипломную работу, рисковал всем своим будущим. Чем бы вы рисковали, если бы поддерживали его хорошие усилия?

Подполковник промолчал.

— Кто вы по должности?

— Заместитель командира полка.

— О! Не хотел бы я иметь такого командира полка в своем подчинении. Без смелости и дерзости, без умения рисковать нет боевого командира. Запомните это, если думаете стать командиром полка.

Вольфганг не смог попасть к началу защиты и ожидал ее окончания за дверью. По заключительному выступлению генерала армии нетрудно было догадаться, какой может быть оценка. «Отлично, больше того — опубликовать работу в трудах академии», — таковы были последние слова председателя государственной комиссии.

Когда члены комиссии ушли, Вольфганг вбежал в класс и обнял друга.

— Спасибо, Гоша.

— За что?

— Завтра моя защита. Брешь сделал ты. Мне остается только быстро, быстро вперед.

— Развивать успех не всегда легко.

— Нет, самое трудное — прорыв, начало. Завтра вечером зайди к нам, приехали мама и сестра. Сделаем маленькую свадьбу.

14

Приезд матери и сестры Вольфганга прибавил Светлане забот: все нужно было делать для четверых, а Ирме, сестре Вольфганга, еще и показывать Москву.

Самыми трудными для Светланы были часы, когда она оставалась наедине с вдовой Майер, совсем седой пятидесятилетней женщиной с гладкой, как у Анны Зегерс, прической и такими же как у Вольфганга грустными и добрыми глазами.

Как всякая мать, она внимательно присматривалась к невестке. Светлана находила это вполне естественным. Конечно, ей хочется знать, счастлив ли будет ее сын с той, которую выбрал. Но глаза ее... В них почти страх. «Почему? Она же видит, как мы любим друг друга, как все у нас хорошо. Поговорить бы с ней...»

Но разговор между ними, возникнув, быстро стопорился: Светлана слабо знала немецкий, а мать — всего лишь несколько слов по-русски.

Может быть, думала Светлана, неловкость в их отношениях вызывается тем, что за пять дней свекровь не познакомилась с ее родителями и вообще никто из русских к ним еще не приходил?

Чтобы рассеять натянутость, молодожены решили устроить маленький праздник в честь защиты Вольфгангом диплома, а если придут родители Светы, то назвать его маленькой свадьбой.

Подготовка к праздничному ужину началась с покупок. Ирма, в противоположность брату веселая и непосредственная, взяла свой дорожный чемодан и решительно объявила матери:

— Пойду покупать русскую водку! Целый чемодан.

Через два часа молодежь вернулась с полным чемоданом. Торжественно открыв его, Ирма поставила бутылки на стол, выстроив их в колонну по одному, с водочными во главе.

— Это мне, — показала она на две бутылки столичной, — все остальные мужчинам.

— Тебе лимонаду, — поддаваясь ее веселью, сказала мать.

— О, нет! Если не дадите за столом, я сейчас выпью.

— Не балуйся, Ирма. Помоги Светлане,

Девушки ушли на кухню. Вскоре к ним пришла и мать. Стоя у двери, она присматривалась к невестке и дочери: и та и другая не очень-то умело владели кухонными инструментами. Она молча встала между ними, забрала у дочери сырокопченную колбасу, намочила полотенце в горячей воде, обернула им колбасный батон, и через минуту кожа с нее очистилась без всяких усилий. Свете она помогла разделать селедку, приготовить салат. Совместная работа лучше всяких слов сблизила женщин.

В шестом часу Светлана начала прислушиваться к гулу лифта и шагам на лестничной клетке — она ждала родителей. Мама обещала прийти. Согласится ли папа и отпустит ли маму — в этом она была мало уверена. Чтобы не заставить ждать мать, Света вышла в коридор и оставила входную дверь приоткрытой.

Мария Петровна, не уверенная, пойдет ли в гости Кирилл Платонович, решила посетить дочь одна. Рассчитывая вернуться домой к восьми, она в шестом часу вышла из лифта на лестничную площадку, потянулась было к звонку, но заметила приоткрытую дверь. Бесшумно отворив ее, она вошла в коридор. В комнате никого не было. Из кухни доносился стук ножей, шипение горящего газа. Мария Петровна сделала три шага и увидела дочь между двумя незнакомыми женщинами. Она вспомнила намек Светы, что у них гости из Германии, и догадалась: седая — мать Вольфганга, девушка, по всей вероятности, сестра. «Дочь среди немок!» — подумала Мария Петровна и прислонилась к косяку. Всего минуту наблюдала она за работой дочери и незнакомых, чужих ей еще женщин и убедилась: здесь мир, здесь счастливое молчание.

Может быть, оттого что Мария Петровна смотрела на седую женщину, та первая увидела ее. Встретились глаза двух матерей, мужа и сыновья которых еще не так давно были непримиримыми врагами. Но сейчас между ними было лишь недоверие, которое они хотели преодолеть.

Обращенный к двери взгляд матери Вольфганга заставил повернуться и молодых.

— Мама! — испуганно и радостно вскрикнула Света и подбежала к Марии Петровне. — Познакомься. Это мама Вольфганга...

Хотя последнее «мама» прозвучало тепло и мягко, Мария Петровна убедилась, что ей Света сказала его иначе, теплее. И, отбросив последнее внутреннее препятствие, Мария Петровна шагнула к седой женщине.

— Мария Петровна, — произнесла она негромко.

— Мария Майер, — ответила мать Вольфганга, узнав в звуках свое имя.

Вскоре пришли Вольфганг, Георгий и Душкин.

— О, Николай Степанович! — воскликнула Мария Майер, идя навстречу. — О, Николай Степанович!

— Гутен абенд, гутен абенд¹, Мария, — протянув руки, приветствовал ее Душкин.

Мария Петровна удивилась, откуда этот старичок — по виду русский — и эта немка могут быть так близко знакомы.

Света подвела к ней Вольфганга.

— Это Вольфганг... — проговорила она, и в голосе прозвучала просьба отнестись к нему, как к дорогому ей человеку.

— Я очень, очень рад, что вы пришли! — осторожно пожимая ее руку, ответил Вольфганг. Не зная, что еще сказать, он представил Марии Петровне Душкина и Стрельцова.

Старшие прошли в комнату. Светлана и Вольфганг, счастливые от удачного начала своей маленькой свадьбы, проводили их радостными взглядами. Стрельцов закурил и искоса взглянул на Ирму, которая, забытая всеми, направилась на кухню.

— Вольфганг! Я знаю, что счастливым присущ эгоизм. Но надо же знать меру. — И он посмотрел в сторону кухни.

— О да, о да! Виноват, Ирма! Иди сюда, — обратился Вольфганг к сестре по-немецки. Девушка, обиженно вскинув голову, вышла в коридор. — Ты хотела видеть моего друга. Вот он.

Угрюмое выражение слетело с ее лица. Она протянула руку и назвала свое имя. Представился и Стрельцов. Тогда Вольфганг пошутил:

¹ Добрый вечер (нем.).

— Веди себя как можно лучше. Мой друг едет служить к нам в Германию. Правда, он красив?

— Да, но мужчина красив умом...

— В его уме ты убедишься, когда поговоришь с ним. Он знает немецкий.

— О! — Ирма покраснела. — Ты мог бы предупредить меня.

— Нам доставило удовольствие твое смущение.

Прошел уже час, как Мария Петровна пришла к дочери. Пора было уходить: дома, наверное, уже ожидал ее Кирилл. Но уйти, когда здесь только что начался ужин, значило обидеть добрых людей, дочь, зятя. Остаться — разозлить Кирилла. Не зная, как поступить, она заволновалась.

Выход подсказал Николай Степанович:

— Не позвонить ли Кириллу Платоновичу? Может быть, он уже дома?

Мария Петровна вышла в коридор. Набрала номер. Осторожно, будто накаленную, поднесла трубку к уху. Вот один, два, три, пять гудков. Потом строгий голос Кирилла:

— Да.

— Кирюша. Я... у Светы.

В ответ — молчание. Значит, недоволен. Надо ехать домой, но она знает — в комнате слушают ее разговор. Она ведь пообещала передать приглашение; и надо передать его. Уверенная, что он не придет, а может быть, скажет, чтоб она немедленно возвращалась, Мария Петровна все же решилась сказать мужу:

— Ты не очень устал, Кирюша? Может быть, приедешь сюда?

Опять молчание. Долгое, тяжелое.

— Хорошо, — солгала Мария Петровна. — Я посижу немного и скоро приеду.

Наконец ответ, утомленный, не злой.

— Как хочешь.

Мария Петровна положила трубку, немного постояла и только тогда вернулась в комнату:

— Знаете, — начала объяснять она, — у него на службе большие неприятности. Он очень плохо себя чувствует.

— Около него пригрелся негодяй, — объяснил Марии и Ирме Николай Степанович, — тот самый, из-за которого я очутился в плену.

Объяснение получилось вполне правдоподобное, и Мария Петровна успокоилась. Только лицо Светланы все еще выражало тревогу и недоверие — простится ли с ней отец?

15

Актный зал академии был полон. На сцену, где стояли длинный стол, покрытый темно-бордовой скатертью, и ореховая кафедра, вышли начальник академии и его заместители. Начальник внимательным взглядом обвел притихший зал и открыл заседание Ученого совета.

— Предлагается обсудить два вопроса: проблемы начального периода войны — докладчик подполковник Кучар и о научной этике при разработке коллективных трудов — докладчик Николай Николаевич Полетов. Какие будут мнения о повестке дня?

— Утвердить, — подал с места голос начальник инженерной кафедры.

— Другие предложения будут? Нет.

Начальник академии посмотрел на Кучара, приглашая его на сцену.

Подполковник не спеша поднялся на кафедру. Он удивился своему спокойствию. «Почему? — спросил он себя. — Не потому ли, что главные противники уже сложили оружие и труд нет необходимости защищать? А радость победы? Она с терпким привкусом: взяла много сил в боях, которых, казалось бы, не должно было быть, поскольку противниками были товарищи по оружию».

Доклад Кучара был коротким, чисто информационным для гостей и тех, кто не успел ознакомиться с монографией. Лишь в конце докладчик поставил несколько новых вопросов, приглашая собравшихся высказать свое мнение.

Доклад генерала Полетова занял больше часа. Как и предполагал Дубков, в основном он был построен на разборе дел его кафедры. И как ни готовил себя к неизбежному генерал, как ни старался спокойно отнестись к препарированию своих поступков и неудачного

научного руководства, слушать Полетова было мучительно. Под тяжестью собственных проступков Кирилл Платонович ссутулился, низко опустил голову.

Да, им допущена ошибка, ошибка огромная, непростительная. Ведь он догадывался, что не прав, знал, чего стоит теоретический просчет на войне. Он вспомнил случай на Висле, когда командующий их армией в угоду своему самолюбию отказался использовать успех соседа, приказал захватить для своей армии отдельный плацдарм и за крохотные пятачки земли положил дивизии. И его, гвардейскую. Тогда, не стесняясь подчиненных, он, Дубков, клял этого «полководца» последними словами. А сейчас сам поступил почти так же. «Подобное прощать даже самому себе нельзя, — заключил Дубков. — Надо освободить место».

Решение созрело, и Дубков поднял глаза. Хмурые, злые, но гордые.

Полетов снова вернулся к делам его кафедры. Правда слов докладчика трясла Дубкова, как машина при езде по ухабистой дороге. Ломило кости, перетряхивало все внутренности, казалось, вот-вот что-то оторвется, и — всему конец. Но конец не приходил... Лишь когда Полетов посадил в кузов еще одного-двух провинившихся, тряска уменьшилась. И Дубков смог проверить, все ли при нем. Не все. Что-то оторвалось, но от этого стало не больнее, а легче. Значит, отскочило ненужное.

Оттого ли, что обсуждались сразу оба доклада, или потому, что они крепко переплелись между собой, прения развернулись с завидной деловитостью.

Слушая выступающих, начальник академии делал заметки в записной книжке и на полях заключительного доклада. Иногда прерывал, уточняя мысль оратора.

Заключительный доклад длился два часа. В нем начальник академии дал широкий обзор современных средств борьбы, стратегических и оперативных концепций возможных противников, наиболее вероятных форм, в которые может вылиться вооруженное столкновение. Анализируя выступления и предложения, он намечал проблемы, далеко выходящие за пределы начального периода войны.

— Все вы были на войне, — в заключение сказал он, делая от усталости длинные паузы между отдельными

предложениями. — Знаете, как трудно солдату подняться в атаку. К солдатам я отношу тех, кто в наступлении идет в зоне действительного огня всех средств поражения. Это рядовые, взводные, ротные, командиры батальонов. Подполковник Кучар был и остается солдатом в научном наступлении. Он сделал, может быть, не особенно много, но самое трудное. Своей монографией он открыл действительно новое направление в методах исследования проблем, которые надо нам всем решать. На вашу оценку и решение, члены Ученого совета, я выношу предложение: присвоить подполковнику Кучару ученую степень доктора военных наук. Это одно. Второе. Предлагаю просить Министра обороны о создании в академии новых лабораторий, оснащенных совершенной вычислительной техникой. Третье. На всех кафедрах необходимо подобрать преподавателей, которые бы специализировались в том направлении, которое мы обсуждали. И четвертое: военная наука особая. Она складывается из оценки прошлого и представлений о бое и операции будущего многих, многих людей. Чем больше людей выскажут свое мнение, тем точнее будут наши представления о возможных действиях войск. Поэтому командование, административное навязывание идей, принципов, закономерностей недопустимо. Это понимал еще генерал Драгомиров, который как-то сказал: «В науке не должно быть генералов». Приходится очень сожалеть, почему наш генерал, я имею в виду генерала Дубкова, не мог, а вернее, не захотел понять этой неслучайной истины. Надеюсь, сегодня он понял ее.

Как только объявили перерыв, Кучара обступили товарищи. Жали руку, поздравляли со званием доктора. Счастливый, он отнекивался:

— Может быть, еще заголосуют...

Протиснулся и поблекший Алов.

— Разреши на правах старого друга? — с принужденной улыбкой протянул он руку. — Поздравляю.

— Спасибо.

— Вроде всегда были равные, потому-то и обидно было слушать твои нотации. Теперь... можно сматывать удочки.

— Куда?

— Не знаю, может быть, к себе возьмешь в лабораторию?

— Еще не начальник... — уклонился Кучар.

Когда Кучар остался один, к нему подошел генерал Дубков, молча протянул руку.

— Спасибо, — вежливо ответил Игнат.

— Не только за доктора поздравляю. И за стойкость. Вот, отнеси в урну.

Дубков положил Кучару в ладонь бюллетень и направился к выходу. В его шагах уже не было прежней твердости и уверенности. Но плечи, голова держались прямо. Кучар развернул листок — черная линия перечеркнула строку «не согласен».

16

В прошлом, когда мужа постигали неудачи, он становился злым, молчаливым, старался уединиться, и Мария Петровна усвоила: в такие минуты его лучше не трогать, ни о чем не спрашивать, не мешать ему вести себя так, как ему хочется, — иначе не избежишь упреков. Но сейчас, оставаясь молчаливым, он все время не отходил от нее, словно страшился одиночества. Мария Петровна очень хотела заговорить с ним о неприятностях в академии, о дочери, но не осмеливалась.

Кирилл Платонович тоже думал о Светлане. Думал и о том, что дальше делать. От решения уйти из армии он не отступил, хотя из слов начальника академии можно было понять, что этого от него пока не требуют. Зато стоило представить любопытные, с усмешкой взгляды подчиненных и слушателей, как появление в академии казалось ему просто невозможным. Но и сидеть дома одному, без дела, забытому друзьями, для него было равносильно смерти. Как найти выход, Кирилл Платонович не знал.

За дверью зазвонил телефон, к нему подошла Мария Петровна. С кем и о чем она говорила, Кирилл Платонович не расслышал. Наверное, с дочерью. «Может быть, помириться с ней? — подумал Кирилл Платонович. — Вернуть ее нельзя — уже не Дубкова, а Майер. Потерять навсегда — вполне возможно, если сейчас не помириться».

Вошла Мария Петровна.

— Кто звонил?

— Так, соседи. — Мария Петровна не решалась упомянуть имя Звездина.

— Не Света?

— Нет, нет.

— Она собирается к тебе?

— И к тебе, если ты захочешь.

Кирилл Платонович промолчал.

— Может, пригласить Ивана? Он давно у нас не был.

— Не придет, мы с ним... разъехались.

— Он не злопамятен. Я позвоню...

— Не надо. Побудем одни, — с несвойственной робостью промолвил Кирилл Платонович, и Мария Петровна поняла: Кирилл не соглашается встретиться с Иваном Васильевичем не потому, что не хочет. Он не уверен, вернутся ли их прежние отношения, иные же ему не нужны.

— Кирюша, согласись ради меня. Быть всегда одним... невыносимо!

Кирилл Платонович сдался.

Иван Васильевич приехал с женой. Им открыла Мария Петровна. Кирилл Платонович, укрывшийся в дальней комнате, не осмелился выйти в коридор. Звездин зашел к нему. Встретившись с глазу на глаз, они долго молчали.

— Не пора ли нам... хотя бы поздороваться? — с мягкой иронией обратился к нему Звездин. — А?

— Если готов — можно.

— Я готов. Рассказывай, как живешь, — пожимая руку и заглядывая в ожившие глаза Дубкова, спросил Иван Васильевич.

— Как? Неважно.

Кирилл Платонович зажег папиросу и добавил:

— Пропарили — голова до сих пор кружится.

— В какую сторону?

— Понятно в какую — пора в отставку.

— Значит, не в ту.

— Как раз куда следует. Время. Знаешь, идет сокращение армии. Лучше уйти мне, чем молодому.

— Не всякий молодой заменит старого.

— Кучар заменил. Неплохо. Ты заменишь.

— Тоже нашел молодого. Всего на два года.

— Саблину по плечу.

— Уже и замену подобрал.

— Подобрал. Решил, все.

— Возможно, ты и правильно решил, только не вовремя.

— Правильное решение всегда ко времени.

Звездин видел: Кирилл уперся и сейчас его бесполезно переубеждать. Остынет, можно будет вернуться к разговору.

— Оседлал своего коня, упрямец. Ладно, мы пришли не спорить с тобой. Сходи с женой поздоровайся.

За ужином Кирилл Платонович повеселел.

— Нина, — обратился он к жене Звездина, — когда ты начнешь приобретать солидность? Сколько помню, всегда как девочка, тоненькая, худенькая. Не кормит он тебя?

— Я беру пример с Марии Петровны. Она тоже не ахти какая полная. Только вот вся седея, а вы нет.

— Такие у нее волосы, наверное. — Дубков посмотрел на жену.

Мария опустила глаза и начала перебирать салатные листочки, как бы отыскивая лучший. «То, что она именно в этот момент посмотрела в тарелку, — думал Кирилл Платонович, — могло быть случайностью. Но она не случайно не улыбнулась его шутке. Нет, ее седины — его седины — об этом говорили ее печальные глаза». И он осекся. Оживление исчезло, лицо снова стало серовато-хмурым, немного виноватым.

— А может быть, здесь моих половина или больше? Скажи, Маша, уж одно к одному.

— К чему об этом...

— Если Кирилл хочет, не лучше ли сказать? — обратился к ней Звездин.

— Не надо.

— Говорите, постараюсь не обидеться.

— Я хочу тебя спросить о Свете. Ты думаешь с ней мириться или нет? — спросил Звездин.

«Что им ответить? — думал Кирилл Платонович. — Сказать: «Хочу» — значит признать еще одну свою ошибку. Но сколько их уже пришлось признать! Искололи они его, вся душа болит. Потихонечку бы освободиться от оставшихся. Сказать: «Не хочу видеть ее» — никогда он так не думал, даже в тот момент, когда толкнул ее на уход из дому. Попозже бы... Но позже нельзя — дочь вот-вот уедет. А без нее и Маша увянет, и мне будет несладко. Надо мириться со Светланой, при-

знать ее мужа. Он неплохой парень. Энгельс, Тельман тоже были немцами. И Пик, и Ульбрихт, и Гротеволь. Наши руководители с ними говорят, дела решают, как с близкими... Давай, давай — подталкивал себя Кирилл Платонович. — Ну!»

— Хочу, — проговорил он после томительного молчания.

Пока Майеры ехали к Дубковым, стол был накрыт заново. На звонок Дубков вышел сам. За порогом было не двое, а пятеро. Впереди Света и Вольфганг, за ними Мария, Ирма, Душкин. Кирилл Платонович подтянулся и, стараясь держаться так, будто никогда ничего не было, пригласил молодежь пройти в комнату, сам протянул матери Вольфганга руку и помог снять плащ.

Света едва сдерживала себя от желания обнять сильную морщинистую шею отца, поцеловать его в плохо выбритые щеки. Рядом с Вольфгангом стояла она на пороге столовой, пока не вошел отец.

Дубков остановился в двух шагах от них, посмотрел на Вольфганга, протянул руку:

— Победили. Поздравляю, принимаю. Как отец.

Первый тост произносил Николай Степанович Душкин.

— Я пришел сюда непрошеным. Говорю не для упрёка. Думал, придется убеждать, кто такие Майеры и как дороги они мне, говорить о том, что не принесут они беды Свете. Рад, что нет нужды упоминать об этом. Кое-кто из наших людей со словом «немец» связывает самые ужасные человеческие пороки. Есть немцы жестокие, меру их жестокости испытал в концлагере. Надо сказать, многие народы в прошлом слыли жестокими. Вандалы — предки ныне мирных скандинавов, монголы, турки, англичане, французы. Столетие назад мы, русские, считались самой реакционной силой в Европе. В этом веке дурная слава перешла к немцам. Сейчас ее стремятся перехватить некоторые американцы.

Я верю, лучшие люди Германии с нами. Тому порукой — молодежь, такая, как Вольфганг. За это я бы хотел выпить чего-нибудь самого крепкого...

Яркое, только что поднявшееся над домами солнце разбудило Кирилла Платоновича и напомнило о при-

нятом решении — подать рапорт об отставке. Минуту полежав с открытыми глазами, он, стараясь не разбудить Марию Петровну, встал, надел халат.

Проснулась Мария Петровна.

— Поспи. Я сам соберу завтрак.

Растягивая складки кожи, он тщательно выбрился, умылся и присел к столу. Покосился на китель, висевший на спинке стула. Достал из кармана рапорт, перечитал. «Все так, — подумал он. — Или порвать? Нет, решено. Перепечатаю и на прием».

Пока машинистка переписывала, он стоял у окна, левая рука в кармане, правая с папиросой методически поднималась ко рту и опускалась вниз.

Проверив переписанный рапорт, он выпрямился, поправил галстук, редкие белесые волосы и уверенно шагнул к двери.

— Разрешите передать рапорт? — стоя по команде «Смирно», обратился Дубков.

— Присаживайтесь, — предложил начальник академии, беря рапорт. Сел сам, прочитал, подумал.

— Обиделись за строгое взыскание или другая причина? — спросил он, контролируя глазами движение чувств и мыслей на лице генерала.

— Нет, обида прошла. Негоден я для занимаемой должности.

— Следить за собой, оценивать себя — хорошо. Плохо переоценивать и недооценивать. То и другое неизбежно при всякой самооценке. Я иначе сужу о ваших способностях и возможностях. Если по-настоящему почувствовали свои ошибки, иметь на вашем месте другого я бы не хотел.

— У меня еще одна причина, — не сдавался Дубков. — Годы. Надо давать дорогу молодым, тем, кто будет воевать, если вынудят. Окрепнуть им надо дать в мирное время.

— Для академии ваша мысль верна лишь отчасти. Здесь кроме знаний нужен большой опыт, мудрость, а они приходят только с годами.

— Для военной службы кроме ума и мудрости нужна и сила. Сдаю.

— Что же мне тогда говорить? Может быть, вы потому и залетели не туда, что у меня не было ни сил, ни времени разобраться в делах кафедры?

— И все-таки...

— На вашу отставку согласия не даю. Отпускать вас из армии побежденным... бесчеловечно. Вся прожитая жизнь будет казаться вам бессмысленной.

«Кажется, прав старик», — подумал Дубков.

— Понимаю, вам нелегко, как нелегко в любом отступлении. Так покажите молодым, как надо себя вести даже в тяжелом положении — мужественно, не вешая головы. Надо ко всему их подготовить. Простят все, спасибо скажут.

— Если так... готов:

Начальник кафедры вошел в аудиторию намеренно через верхнюю дверь. Слушатели с шумом встали и тут же замерли. Уверенным шагом генерал спускался вниз. В наступившей тишине четко отдавались его шаги.

Как всегда или даже чуть-чуть строже отдан рапорт, стукнули каблуки старшины курса, уступившего дорогу генералу. И снова безмолвие, пока не произнесены слова:

— Прошу садиться.

Десятки вариантов вступления перебрал генерал Дубков, готовясь читать лекцию. Многие из них казались хорошими, пока он был далеко от кафедры. Но сейчас все они вдруг стали никуда не годными. Заполненная слушателями аудитория дышала не тем, чем он предполагал. Ни усмешки на лицах, ни иронии, ни безразличия, ни рассеянности. Все ждут, что и как он скажет.

«Что я думаю, как намерен работать и жить, вот это я должен сказать сейчас им. Это и будет моим вступлением», — решил Кирилл Платонович. И, еще раз окинув строгим взглядом аудиторию, он начал:

— Товарищи офицеры: Есть пословица: «Жизнь прожить — не поле перейти». Для военных людей ее можно перефразировать так: в строю прослужить, не парадную площадь пересечь. Боевая жизнь военного — марш по горному бездорожью. Путь к победе — это подъем на горную вершину. Приходится долго шагать, взбираться, карабкаться. Одержим победу — радостно, все забывается, порой голова кружится. Потерпишь поражение —

по склону кубарем вниз, не знаешь, в какой стороне небо, в какой земля.

В мирное время тоже бывают и взлеты, и падения. Для военного человека самое важное — никогда не терять голову, ибо это неизбежно приведет к утрате победы или к тяжелому поражению, гибели войск, без которых все наши гениальные решения — бумажки, подхваченные вихрем.

Весь минувший учебный год на кафедре шло большое научное сражение, в котором я потерпел поражение... — Дубков остановился, чтобы перевести дух и посмотреть, как отнеслись к его признанию молодые офицеры. Их внимательные глаза напомнили генералу сотни тех, которым он в сорок первом году объяснял причины первых неудач. Они понимали и сурово прощали. Это придало ему уверенность.

— Причина? Думал, что жизнь, службу, военное искусство изучил и знаю настолько, что ошибки для меня исключены. Мне было бы легче не сознаваться вам в своей беде, но я предпочел поступить иначе. Не на мою, а на вашу долю может выпасть то самое тяжкое испытание, которое никому из нас не нужно, которого никто из нас не хочет, но к которому мы должны быть готовы, пока все оружие не будет переплавлено в мирные машины и инструменты. К такому испытанию надо готовиться основательно. И не только накапливать знания, но и тренировать свой разум и волю, чтобы умело применить их в любой, самой, казалось бы, безвыходной обстановке! Больше. Трудность должна обострять ваш ум, делать вас зорче, находчивее. Только тогда вы станете настоящими руководителями воинских масс — полководцами...

Генерал Дубков читал лекцию с тем воодушевлением и верой, которые уже через пять минут сделали его неуловимым для самого себя и почти незамечаемым слушателями, для которых он был уже не просто генерал, начальник кафедры, лектор, а пришелец из того сурового будущего, к которому они обязаны готовиться.

Кирилл Платонович видел, что мысли его глубоко проникают в сознание молодых командиров и меняют многое из того, что казалось им раньше правильным. Это доставляло ему большое удовлетворение, ведь он так хотел, чтобы они его поняли и вернули ему свое

уважение. Если будет уместно, в конце можно сказать им спасибо.

Но когда он закончил лекцию и спросил у слушателей, будут ли вопросы, в ответ совершенно неожиданно для него загремели аплодисменты. От нахлынувшего волнения лицо генерала свело судорогой, в глазах замельтешили круги. Усилием воли он преодолел охватившую его слабость и, склоняя в признательности голову, подумал: «Какой наградой можно заменить человеческое уважение? — И ответил: — Такой награды нет».

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Часть первая</i>	5
<i>Часть вторая</i>	97
<i>Часть третья</i>	202

Николай Федорович Наумов

БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

М., Воениздат, 1964, 288 стр.

Редактор полковник *Рудин М. З.*

Художественный редактор *Ключева В. Н.*

Художник *Шамро О. П.*

Технический редактор *Новикова М. Н.*

Корректор *Лапина Г. С.*

* * *

Сдано в набор 1.11.63 г.

Г-12252.

Подписано к печати 18.5.64 г.

Формат бумаги $84 \times 108^{1/32}$ — 9 печ. л. —

— 14,76 усл. печ. л. — 15,026 уч.-изд. л.

Тираж 75000 экз. ТП 64 г. № 268

Изд. № 4/5475

Цена 60 коп.

Зак. № 1222

* * *

Набрано в 1-й типографии

Военного издательства Министерства обороны СССР

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано с матриц во 2-й типографии

Военного издательства Министерства обороны СССР

Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10